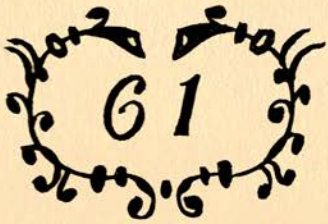
Новый Журнал



THE NEW REVIEW

Нью-Йорк

Statement required by the Act of August 24, 1912, as amended by the Acts of March 3, 1933, and July 2, 1946 (Title 39, United States Code, Section 233) Showing the Ownership, Management, and Circulation of The New Review, Inc. Published Quarterly at New York, N. Y., for October 1, 1959.

1. The names and addresses of the Publisher, Editor, Managing Editor, and Business Managers are:

Publisher, New Review, Inc., 2700 Broadway, New York, N. Y.; Editor, Prof. Nicolas S. Timasheff, 140 West 86 St., New York 24, N. Y.; Managing Editor and Business Manager, Roman B. Goul, 506 West 113th St., New York 25, N. Y.

2. The owner is: (If owned by a corporation, its name and address must by stated and also immediately thereunder the names and addresses of stockholders owning or holding 1 percent or more of total amount of stock. If not owned by a corporation, the names and addresses of the individual owners must be given. If owned by a partnership or other unincorporated firm, its name and address, as well as that of each individual member, must be given).

New Review, Inc. No stocks. 2700 Broadway, New York 25, N. Y.; President, Nicolas S. Timasheff, 140 West 86 St., New York 24, N. Y.; Secretary, Alexis Goldenweiser, 523 West 112th St., New York 25, N. Y.; Treasurer, David Shub, 920 Riverside Drive, New York 32, N. Y.

3. The known bondholders, mortgagees, and other security holders owning or holding 1 percent or more of total amount of bonds, mortgages, or other securities are: (If there are none so state).—None.

4. Paragraphs 2 and 3 include, in cases where the stockholders or security holder appears upon the books of the company as trustee or in any other fiduciary relation, the name of the person or corporation for whom such trustee is acting; also the statements in the two paragraphs show the affiant's full knowledge and belief as to the circumstances and conditions under which stockholders and security holders who do not appear upon the books of the company as trustees, hold stock and securities in a capacity other than that of a bona fide owner.

5. The average number of copies of each issue of this publication sold or distributed, through the mails or otherwise, to paid subscribers during the 12 months preceding the date shown above was: (This information is required from daily, weekly, semiweekly, and triweekly newspapers only).

Roman Goul, Managing Editor

Sworn to and subscribed before me this 14th day of October, 1959. Marie G. Maher, Notary Public, State of New York, No. 31-7667675, Qualified in New York County, Term Expires March 30, 1960.

THE NEW REVIEW
НОВЫЙ ЖУРНАЛ

Основатели

М. АЛДАНОВ и М. ЦЕТЛИН

С 1946-го по 1959-й редактор М. КАРПОВИЧ

Девятнадцатый год издания

Кн. 61

1960

РЕДАКЦИЯ:

Р. Б. ГУЛЬ, Ю. П. ДЕНИКЕ, Н. С. ТИМАШЕВ

NEW REVIEW, September 1960
Quarterly, No. 61
2700 Broadway, New York 25, N. Y.
Subscription Price $9. — for one year
Publisher: New Review, Inc.
Second Class Mail postage paid
at New York, N. Y.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Из литературного наследства И. А. Бунина 5
Георгий Иванов — Посмертный дневник 9
Бор. Зайцев — Давнее 10
Вячеслав Иванов — Стихотворение 21
А. Величковский — Шесть стихотворений 22
Б. Темирязев — Рваная эпопея 25
Д. Кленовский — Четыре стихотворения 63
Е. Петров-Скиталец — Полёт 67
Н. Туроверов — Смерть, стихи 84
В. Яновский — Заложник 87
Ирина Одоевцева — Разностопные ямбы 111
Н. Нижальский — На Араксе 114
М. Форштетер — Пять стихотворений 120
Н. Трубецкой — Ранний Достоевский 124
Г. Адамович — Наши поэты 147
Ю. Офросимов — Против течения 154

ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ:

Гр. В. Зубов — Страницы воспоминаний 160
Г. Аронсон — Записки провинциального журналиста . . . 202

ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА:

Н. Валентинов — О предках Ленина и его биографиях . . 219
Владас Станка — В. С. Войтинский 237
Ю. Денике — К диагнозу современного кризиса 252
В. Некрасов — В. И. Вернадский 266
Прот. В. Зеньковский — Л. Толстой как мыслитель 281
Н. Лосский — «Война и мир» Толстого и «Доктор Живаго» Пастернака 292

БИБЛИОГРАФИЯ:

Ирина Одоевцева — О «Ремизове» Наталии Кодрянской.
Ю. О. — В. Марков. «Гурилевские романсы» 296
Книги для отзыва 304

PRINTED IN USA BY RAUSEN BROS., 142 EAST 32 ST., NEW YORK 16, N.Y.

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДСТВА И. А. БУНИНА

Эти записи — из архива Ивана Алексеевича. Они написаны на страницах, вырванных из ученической тетради.

В. Муромцева-Бунина

Вернулся в усадьбу поздно в темноте, но той особой, что бывает в летние ночи. Далеко ходил в поле, надышался хлебной, терпко-сыроватой свежестью росистой ржи.

Вошел в темный дом — знакомый, успокоительно-родственный запах его старины. Нечто вроде запаха сухой резеды.

В темной спальне священное присутствие древних икон в божнице.

В черно-синем окне — яркий голубой брильянт большой звезды, ее мистическое великолепие.

Лег в темноте на диван. Эта свежесть ржи, ночных полей — и свежесть здоровых молодых сил в душе и в теле, ясность мыслей о каком-то счастьи, о своей работе, о Наташе...

Иногда поезд шел среди веселого летнего леса — и в лесу шелковистой белой бумагой в черных пятнах блестели стволы развесистых берез — и они чем-то напоминали ее...

Счастливая бесцельность, спокойное приволье долгого июньского дня.

В усадьбе широко, пусто — все на сенокосе.

В доме открыты все окна. И всё, что глядит в них, — зелень сада, солнце, небо, — празднично глядит и из зеркал.

Там, где рубят лес, пахнет горько и сладко — щепой, срубленным деревом, вянущей на земле зеленью их.

Миндальный запах цветущей сирени.

В запахе цветущего белым цветом жасмина запах лимона и земляники.

Запах старого деревенского дома — запах как бы сухой резеды, благородный, успокоительный...

После проливного короткого дождя.

Ослепительное, жаркое солнце на мокром, зеркальном крыльце.

Быстро ехал в поле по широкой мокрой меже на беговых дрожках, на-рыси въехал в лес по лесной дороге и поехал шагом.

Он, спиной к ней в сарпинковой косоворотке, в белом картузе, правит. Она сзади, сидит боком, свесив ноги и подол летнего платья.

Обернувшись, радостно и нежно:

— Хорошо?

Она радостно:

— Хорошо, милый!

Солнце, пестрота, мокрый блеск мокрой зелени, сладкое пение птиц. Запах срубленных деревьев, коры, трав, цветов — всё еще в дожде. На старых пнях наросты как серые грибы.

Жаркий неподвижный полдень, горячий блеск пруда.

Работники пригнали и купают лошадей.

Вороная лошадь, вся, кроме хвоста и головы, погруженная в воду, плывет странно, по-лошадиному, напряженно вытянув над водой морду, широко раскрыв ноздри, оскаля зубы. За ней, держась за ее отставленный, будто отдельно плывущий хвост, плывет белое крестьянское тело работника с загорелой шеей, с выгоревшими за лето волосами.

На другой берег лошади выходят зеркальными, темными, будто все вороные, с тонкими хвостами и шеями, с большими головами. Крепко встряхиваются — град брызг в пыль.

Конец сентября.

Перед вечером по лимонно-зеленому северному небосклону плывут сизые космы.

На закате так чисто, ясно, что соседняя деревня кажется в двух шагах, резко чернеет.

Ночи очень свежие, звездные, по-осеннему темные. Большой золотой Юпитер высоко горит в небе, сквозящем своей чистотой среди разбросанных в нем голых сучьев сада. Терпко, жолудем пахнет опавший сырой дубовый лист.

Дом светит окнами как декорация в театре.

Холодно, серо, пустынные поля, слоистые облака.

Ночной сад шумит свежо, беспокойно, торопливо. Ветер с севера. Несет непрерывно.

По черно-синим прогалинам неба идет, круглится голубая от луны вата. Среди нее жидкие звезды.

Вечер, холод, неподвижный сад. Луна ледяная, зеркальная пристально глядит в него.

Холодный блеск голых деревьев.

Утро. Сырое кряканье идущих по двору уток.

Сырое облачное небо.

Пробежал, прошумел и уж стих легкий летний дождь — запахло землей, свежестью зелени — слегка металлически... Юг Франции, виллы в садах, цветущие туго-великолепные кремово-белые лилии, а так живо вдруг вспомнилось, почувствовалось отрочество, выезд в поле из уездного города и вот такой же поспешный и короткий дождь и дождевой запах дороги, зеленых хлебов, дегтярных железных колес — вся далекая прежняя Россия, вся далекая прежняя жизнь...

(Вспомнил июнь 1924 г., виллу Monfleury).

Прошел по деревне на кладбище, сел на припеке на чей-то могильный камень возле его могилы... Как давно это было — та Пасха, его смерть, моя ранняя прекрасная молодость! Неужели еще цел вот тут в земле тот парчевый гроб, что еще до сих пор так живо помню?

Пустое поле, солнечный апрельский полдень. Печёт всё жарче — и ни звука — какое-то страстное молчание, полное незримо и неслышно кипящей жизни.. Закрываешь глаза и слушаешь, слушаешь это молчание. Стоя чувствуешь, как печет лицо, как загораешь...

Усадьба, старый деревянный дом с деревянными колоннами.

Парит. Блаженно, захлебываясь, орут грачи на осыпанных мелким молодым листом березах.

Умиленное счастье жизни.

Ив. Бунин

ПОСМЕРТНЫЙ ДНЕВНИК

1

А что такое вдохновенье?
— Так... Неожиданно, слегка
Сияющее дуновенье
Божественного ветерка.

Над кипарисом в сонном парке
Взмахнет крылами Азраил —
И Тютчев пишет без помарки
«Оратор древний говорил»...

2

Вас осуждать бы стал с какой же стати я
За то, что мне не повезло?
Уже давно пора забыть понятия:
Добро и зло.

Меня вы не спасли. По своему вы правы.
— Какой-то там поэт...
Ведь до поэзии, до вечной русской славы
Вам дела нет.

Георгий Иванов

ДАВНЕЕ

О поле, поле, кто тебя
Усеял мертвыми костями.

ЛУНАЧАРСКИЙ

Этого молодого блондина, в пенснэ, веселого, довольно благодушного встретил я некогда в Петербурге, в доме знакомых — студента-естественника и жены его, акушерки. Сам я тоже студент. Место сумрачное, где-то у Пяти Углов. Маленькая квартирка, таинственные личности, «явки». Сам Ленин там бывал (но я его никогда не видел). Совсем нет солнечного луча в этом мире, где приятельница моего детства, друг хозяев, наливала с благоговением Ленину кофе и где сильно попахивало обстановкой из «Бесов».

Но человек молод, ему все еще интересно, мир так неясно-огромен, в нем всему есть место — и жаргону с «массовками», «студенчеством», «рабочими массами» и «Путейкой», и мечтам, и тоске.

Какие-то личности появляются, довольно таинственные, шепчутся с хозяином — исчезают. Я тут случайно, из другого мира. Думаю, здешние относились ко мне иронически («не наш»). Но вот этот блондин как-то приветливей, вносит оживление, смех, нечужд искусствам — вообще впечатление от него более легкое, даже с каким-то просветом.

Петербург ушел, вместе с раннею юностью, одиночеством и заброшенностью. В Москве легче. И жизнь не та. Намечается будущий путь. Крылатым сиянием входит в него спутник — уже навсегда.

В этой ранней московской жизни, на первых литератур-

ных шагах кое-где Луначарский: воспоминание о Петербурге, но беглое. На страницах «Правды», где печатаешь первые свои рассказики и подрабатываешь корректурой, длиннейшие статьи Луначарского, странного соседа. Неразборчивейший почерк, над которым мучишься из-за корректуры, но все это только преддверие. Журнал-то марксистский, а литературой ведает в нем Бунин. Его скоро выставят. Меня тоже. Мы, конечно, неподходящие. Тут нужны Ленин, Скворцов, Луначарский, Богданов.

И вот вновь идет жизнь, о Луначарском не думаешь, вновь бываешь в Петербурге, но уже вдвоем, уже молодым писателем, совсем по-другому, и все тот же ветер молодости выносит в более просторный мир.

Весна в Париже, а там май, через Швейцарию, мимо Лаго Маджиоре скатываемся в благословенную Италию, сияющую, светозарную Флоренцию, залитую златистым, голубоватым, реющим и волшебным.

В городе этом, как из-под земли, и тоже вдвоем с молодой женою — Луначарский. Это уже не подполье Пяти Углов. И Лениным тут не пахнет. Тут друзья наши, близкие и покровители — Ботичелли, Беато Анджелико, Донателло, Кастаньо, и сонм иных. Все настоящее, мировое.

Надо сказать: Луначарскому это нравилось тоже. Он любил тоже Флоренцию, в нем была жизненность и порыв к искусству, он и сам кое-что писал по нашей части (но любительски и легковесно).

Во Флоренции мы превесело вчетвером с ним и дамами нашими заседали в разных ресторанчиках «Маренго», на via Nazionale, распивали кианти, он горячился, ораторствовал — теперь о флорентийской живописи. Пенснэ его прыгало на носу, он вдруг обнимал и целовал Анну Александровну (очень был пламенен), а потом опять кричал о Ботичелли. Единственно чем доезжал он меня тогда — многословием. Глаза соловели у слушателя, а остановить его не было возможности.

И мы ходили вместе по Флоренции, и раз очень весело

и смешно сидели на вечерней иллюминации над Арно — на парапете набережной, как-то верхом сидели, хохотали, дамы взвизгивали от фейерверков и забавлялись как хотели.

А потом мы уехали в Виареджио, к морю, и они нам очень помогли: дали адрес в рыбацкой части тогда еще очень скромного Виареджио — у каких-то синьоров Luporini. Луначарские сами жили раньше у них и оставили, видимо, по себе хорошее воспоминание: раз мы друзья «dei signori Lunaciari», так мы тоже будто свои. (Италия есть Италия). Скромная комнатка рыбацкого домика (платили, кажется, лиру в день, 37 копеек). Madonna над кроватью, с тюфяком набитым морскими травами, светло голубые крашеные стены. Стол и два стула. Да мы, собственно, мало и бывали в ней: купались, бродили, вдыхая солнце и прелесть Италии, ездили в Пизу. Провели тут недели три идиллически-райски. Потом возвратились во Флоренцию. Луначарские были еще там, но вид иной: кислый и отощалый. Дело простое: уже неделю сидели почти без гроша. Анатолий Васильевич снял пенснэ, протер, опять надел и дернул слегка за шнурок. Вид несколько смущенный.

— Не могли ли бы вы дать мне взаймы сто лир? Это бы меня очень выручило.

Сейчас кажутся те времена младенческими. Сто лир! Но комната в «Albergo Corona d'Italia» стоила три лиры, завтрак в «Маренго» лиры полторы.

Я повел всех в это «Маренго», угощал, пропили мы лир десять, у Луначарского в кармане было сто, он опять хохотал, целовал Анну Александровну, к некоему удивлению гарнизонных офицеров, столовавшихся здесь же, несколько опереточных, в голубой форме и с длинными безобидными саблями.

В окно выскакивала на улицу собака здешняя, весело впрыгивала обратно. Маленький, черноволосый Джиованни, наш приятель, вихрем носился по ресторану с макаронами, бифштексами, фиасками кианти. Только и слышалось его: «Pronti!» Все имело необыкновенно мирный вид.

На другой день мы уехали в Равенну, по пути уже домой. А Луначарские остались со своими ста лирами, ожидая подкреплений.

В Москве контора Юнкера выплатила мне эти сто лир довольно скоро.

* * *

И вот идут годы, и чем дальше, тем все менее похоже на идиллию Флоренции и Виареджио. Луначарский в это время для меня за сценой. Вряд ли даже встречались мы в России между маем 1907 и ноябрем 1917 г. Тут все фантастически изменилось. Просто другой мир. Осень 1917 г. мы проводили в деревне, тульском именьице отца. А по России шли события, значения которых мы недооценивали.

Я попал в Москву после октябрьского восстания. Москва была разбита, не столько материально, сколько внутренно. Что-то сломилось. Во всем хаос. Так чувствовали мы, интеллигенция. Победители в обмотках и с наганами наверно по-другому.

Луначарский, с которым пили мы кианти во Флоренции, теперь министр, «народный комиссар», кажется, по народному образованию.

Вот тут произошло нечто, вовсе не похожее ни на ресторанчик «Маренго», ни на споры о Ботичелли. Мы вступали в страшную и кровавую полосу, даже и не представляли, сколь кровавую — в ней воспоминание, связанное с Луначарским, вызывает через много лет усмешку.

Во время восстания снарядами большевистской артиллерии были повреждены некоторые купола соборов в Кремле и, кажется, сбит крест. Сравнительно с тем, что творилось новою властью позже, это очень мало — сколько церквей потом вовсе разрушили, начиная с храма Христа Спасителя, сколько епископов, священников замучили, сколько истребили крестьян и интеллигентов — рядом с этим шрапнельные ранения на куполах.... Но *тогда* это привело меня почти в истериче-

ское негодование. В Москве не вся еще пресса была казенная. Существовала, например, еженедельная газета «Власть Народа» (кооператоры-демократы). Думаю, именно в ней я поместил открытое письмо Луначарскому. Это было что-то невообразимое. Дорого обошлись ему московские купола. Что именно писал, не помню, но по-моему — чуть не площадная брань. Кажется, я упрекал его в сумасшествии, алкоголизме, и наверно помню, кончалось тем, что *никогда я больше не подам ему руки.*

Как могла газета напечатать такую штуку, неведомо. Но моя шрапнель била уже совсем мимо. Луначарский оказался совершенно не при чем. Мало того — и в этом черта комическая: сам он был в ужасе от разрушений, крови и насилий, в частности, и от повреждения древностей. До такой степени, что заявил Ленину о выходе из партии, за что получил такой нагоняй, что поспешил отступить. Ни мне, ни газете за письмо не попало. Луначарский же, я уверен, его и не читал.

* * *

Положение Луначарского в революции оказалось довольно неудобным. Сам он был интеллигент и человек вовсе не кровавый, а попал в очень уж теплую компанию. «Они» не весьма его жаловали. Он старался смягчать, заступаться, поддерживать артистов, писателей, налаживать академические пайки. По этой части кое-что сделал, но в террор и казни смягчения никакого не внес.

В 21-22 г.г. мы жили в самой Москве. Это было время НЭП-а, сравнительно легче. Луначарский устраивал иногда в Кремле у себя чтения и приемы, приглашал и писателей некоммунистов. (Бывали у него Вяч. Иванов, Балтрушайтис, Гершензон). Мне, после открытого письма, не так уж подходяще было-бы встретиться с ним, да и желания никакого не было. Так что пьес его я в Кремле не слушал.

Но по делам Союза Писателей приходилось нам, Правлению, ходить иногда, «в Орду» — хоть и не были мы средневе-

ковыми русскими князьями. Выхлопатывали разные льготы, пайки, охранные грамоты. Ходатайствовали за арестованных. Но тут больше приходилось иметь дело с Каменевым, тогда председателем Московского Совета. Все-таки, однажды, были и у Луначарского, в Кремле. Помню, ухитрился я как-то тогда, в группе сотоварищей своих, не поздороваться с ним. Помню, стараясь выказать свою независимость и презрение к существующему строю, я как-то особенно нагло развалившись в кресле, раскачивал его, презрительно осматривал, заставлял скрипеть, чтобы наглядно показать как ничтожно это высокое место — «кабинет кремлевского вельможи». (смешно, конечно, ребячество, но тогда делалось «от всего сердца»).

Не всегда мне так везло с Луначарским.

На Знаменке жил мой издатель и приятель давний, Зиновий Исаевич Гржебин. Был он близок к Горькому, но навастривал лыжи за границу, хотел — и устроил, наконец, собственное изд-во в Берлине начала 20-х годов. А пока занимал отличную квартиру недалеко от Румянцевского музея.

Я у него бывал нередко, по литературным и личным делам.

Помню великолепный подъезд, двойные стеклянные двери, светло, тепло, только швейцара нет, а то будто довоенный быт.

Вот подымаюсь однажды с улицы на несколько ступеней, берусь за ручку двери — она покорно отодвигает ко мне свое стекло, а выходящий из дома человек, в отличной шубе и меховой шапке, тянет к себе другую, внутреннюю дверь, тоже стеклянную. Через несколько секунд оба мы, нос с носом, в этой ловушке между дверями, шуба (наверно отобранная у буржуя) знакомым жестом поправляет пенснэ, взглядывает на меня и оказывается Луначарским.

— А-а, здравствуйте! — и приветливо, как ни в чем не бывало протягивает руку. Будто мы в Италии, сейчас начнет разглагольствовать насчет Ботичелли (только сто лир теперь ему не нужны, а там шубы такой и бобровой шапки не было).

Да, и я протягиваю ему руку. После торжественного печального заушения — вот тут, между анафемскими этими дверями и протягиваю... А потом скорей — шмыг в переднюю, в подъемник, и к Зиновию Исаевичу. Там свой мир, литература, издательство, давняя доброжелательность с обеих сторон. Рассказываю ему, он смеется.

— Анатолий Васильевич только что у меня был.

Я тоже улыбаюсь, но смущенно.

— Ведь в печати заявил, что никогда ему руки не подам.

— Мало-ли что в печати. А тут вышло непечатное.

И мы стали говорить о другом — о готовящемся нашем отъезде, о книгах моих, которые он собирался издать в Берлине.

Так всё и вышло. И в Берлин попали, и шесть томов моих выпустил он там — Гржебину, Зиновию Исаевичу, во многом я обязан тем, что попал на Запад. Его уже нет в живых. Он скончался здесь, в Париже, гораздо позже. Благодарную память о нем храню.

* * *

Я никогда больше не видел Луначарского. Он продолжал быть «Наркомпросом». Думаю все меньше и меньше подходил к эпохе, особенно когда умер Ленин и Сталин забрал всё в свои руки.

Почти все люди того времени ушли. Умер и Луначарский. Теперь, издали, улыбнувшись на многое, но и вздохнув, скажешь: «Ну, какой бы там ни был Анатолий Васильевич, слава Богу, что умер не в подвале ЧЕКА».

КАМЕНЕВ

Времена доисторические. Еще до японской войны. Москва, Университет. Был у меня знакомый один, думаю, социал-демократ, но умеренного толка. Старше меня и образованнее. Он мне нравился: простой, негромкий и приветливый, с русскою интеллигентскою бородкой.

Вот он пригласил меня к себе на вечеринку. Русская студенческая вечеринка! Не времен Герцена или Толстого юного (без мундиров и жженки), нечто *после* Достоевского. Чай с лимоном и папиросы, сизый дым из комнаты и споры, споры...

Не помню, о чем спорили, наверно о политике. Студент, довольно кудлатый, с широким, открытым лицом, с серыми приятными глазами, сняв тужурку и расположившись верхом на стуле, так что спинка служила ему опорой и кафедрой, что-то толково и неглупо говорил. Его слушали, видно было, что он здесь известен, что-то за ним есть.

Хозяин нагнул ко мне бородку, блеснул стеклами пенснэ, шепнул:

— Выдающаяся личность. Умен и начитан. Лев Розенфельд. Я вас с ним особо познакомлю.

И действительно познакомил. И действительно «Лев Розенфельд» произвел неплохое впечатление. О талантах его политических я не мог судить, да мало это и занимало. Но так, сам по себе, он мне скорее понравился.

Знакомство это не укрепилось и не удержалось. Все же в те годы мельком, то в Университете, то, кажется, у знакомого моего, я Розенфельда встречал. Но никак не думал, что почти через четверть века встречу его в условиях, тогда показавшихся-бы фантастическими.

* * *

Эти условия были — революция, о которой я тогда, по молодости лет, а может быть и дурости, вовсе не думал. Но она пришла, не спрашивая, нравится ли нам это или нет. Пришла как зверь, но и как суд над многими делами прошлого.

Фантастичность и в том, что такой Луначарский, занимавший у меня сто лир, вдруг стал министром, что кудлатый студент Розенфельд, переименовавшись в Каменева, обратился в Председ. Моск. Совета. А еще в том фантастика, что и сам зверь — так всегда бывает в революциях — сам на себя обратился, пожрал своих-же множество.

Как и Луначарский, Каменев был образованный, тоже склонный к литературе и искусствам человек. Жена его — grande dame революции, заведывала театрами, выставками картин, поэты писали ей стихи... Каменевский либерализм зашел так далеко, что как московский «генерал-губернатор» он закрыл на третьем номере «Вестник ЧЕКА», за открытый призыв к пыткам на допросах. (Номерок этот хранился у покойного Осоргина). Самый подходящий документ для человеколюбивейшей русской литературы! Толстой, слава Богу, до него не дожил. (Позволили-ли бы ему сказать громко, как некогда: «Не могу молчать»). Не дожил и Чехов. Интересно бы знать, есть этот номерок в государственных библиотеках России, сейчас, или благоразумно исчез?

В новом «волшебном» мире мы все-таки жили, копошились, даже писали кое-что, даже Союз Писателей в Москве был у нас — без коммунистов! Карабкаясь, кое-как цепляясь, стараясь пребыть независимыми, продолжали путь. На пути этом Каменев попадался не раз, в облике заступника и покровителя.

Вот я иду к Каменеву посланцем от Союза. Подымаюсь по лестнице бывшего генерал-губернаторского дворца. В светлых комнатах бегают резвые, не без развязности секретарши. За зеркальными стеклами окон, как призраки, безмолвно проплывают извозчики в санках, детишки с салазками, бредут граждане молчаливо, со своими заботами и горем.

После некоего ожидания пускают и к Каменеву в кабинет. Вот он кудлатый студент моей юности, за отличным столом, спиной к зеркальной Москве, где медленно, беззвучно, горестно идет повседневность.

Принял он меня не без любезности, с оттенком покровительственности. Удивило меня, что он поджимал под себя ноги в носках — ботинки стояли рядом: будто жали они ему, он отдыхал.

В Харькове задержали Ильина, Арсеньева и французского профессора Мазона. Союз хлопотал об освобождении их.

Каменев водит пальцем по каким-то спискам.

— За что взяли?

— Ни за что.

— Посмотрим, посмотрим...

Телефонный звонок. Грузно, несколько устало Каменев в своих носках берет трубку.

— Феликс? Буду, буду. Насчет чего? Нет, приговор не приводить в исполнение. Буду непременно.

Дзержинский. Из телефонной трубки — не райское.

Каменев положил трубку.

— Если не виноваты, конечно, выпустим.

* * *

Мне повезло. Их действительно выпустили. Меня стали считать как бы «спецом по Каменеву». Возникло мнение, что мне он не откажет, и по малым житейским случаям Союза к нему направляли меня.

А случай, например, такой: надвигается голод. Гершензон разузнал, что у Московского Совета есть двести пудов муки, как бы с неба свалившихся. Хорошо бы до них добраться.

И добрались. На этот раз ходили в Орду вдвоем: я и Гершензон. К тому же Каменеву, туда же. Гершензон, маленький, извилистый, нервный, чем-то напоминавший черного жучка, волновался вместо здравствуйте говорил «дадуте», и при всей своей высокой одаренности, духовном аристократизме, обладал загадочным тяготением к новой власти. Казалось бы, всё обратное: он индивидуалист, смиренный книжник, самый мирный человек — но вот сила и беззастенчивость, ломка и грубость действовали на него магически — быть может, на женственную сторону его души. Он бормотал что-то совсем неподходящее. Меня стеснял немножко тон этого черно-заросшего волосами худенького человечка с Каменевым — слишком он робел, чуть не расстилался. Давал повод держаться с ним снисходительно-покровительственно.

Вообще-то наша миссия была нелегкая (внутренно): но подгонял голод. Миссия удалась. Каменев держался хотя покровительственно, всё же вполне прилично. «Хлеб наш насущный» мы получили. Вскоре по зимним улицам Москвы везли из склада на салазках кульки этой муки и Бердяев, и Айхенвальд, и Гершензон, и Осоргин, и я, и другие.

Действительно, мне на Каменева везло. Позже, от Книгоиздательства Писателей, мне пришлось перед Московским Советом защищать нашу квартиру издательства — против Коминтерна! — который хотел ее у нас отобрать. К великому моему изумлению, при явном благоволении Каменева, помещение нам оставили. Помогло то, что у самого Московского Совета была тогда какая-то распря с Коминтерном. Но мы, писатели, на этом выиграли.

Так что, как и Луначарский, Каменев всегда оказывался на стороне интеллигенции. Летом 21 года он же возглавлял неудачный интеллигентский Комитет Помощи Голодающим (Кускова, Прокопович и др.).

Обо всем этом подробнее в «Москве» моей. Позволяю себе только напомнить бегло насчет Каменева. Сила и власть все же сила и власть, налагают оттенок. Помню, после одного заседания Комитета этого мы вышли с Осоргиным вместе на Собачью Площадку. В Одессе был арестован в это время писатель Соболь. Я просил Каменева выпустить его.

Он небрежно спросил:

— Какой Соболь? Который написал роман «Пыль»?

— Да.

— Плохой писатель. Пусть посидит.

В 22 году Каменев помог мне выехать заграницу после сыпного тифа, перенесенного в Москве — в Берлин «для лечения». Так что Гржебину по одной линии, Каменеву по другой я обязан — почти наверное можно сказать — сохранением жизни.

Жизнь же самого Каменева протекала в Москве и дотекла

до страшного конца. В свое время он закрыл «Вестник ЧЕКА», теперь эта-же Чека добралась и до него. «Приговор не приводить в исполнение» слышал я некогда в генерал-губернаторском доме. Так говорил Каменев. Но при сталинско-ежовском терроре кто-то сказал о самом Каменеве:

— Приговор привести в исполнение.

«Судьба загадочна, слава недостоверна». Каменев сошел в подвал Чека, как и Бухарин, Рыков, и другие. Сошествие во ад — и уж не вышел.

Бор. Зайцев

* * *

Может быть, это смутное время
Очищает распутное племя.
Может быть, эти лютые дни
Человечней пред Богом они
Чем былое с его благочинной
И несчастья, и злобы личиной.
Крыли саваном землю сугробы,
Красовались поваленны гробы,
Растопилась снегов белизна
И залила погосты *весна*.
И всплывает не в омутах ада-ль
В половодьи стремительном падаль.
Если ярость объемлет сердца
И не видно Христова лица
В человеке за мглой Вельзевула,
Не весна ли в подполье пахнула,
Не Судьи-ль разомкнула труба
Замурованных душ погреба.

Вячеслав Иванов

Это стихотворение передано нам Е. Н. Федотовой, оно записано в Киеве в 1923 году. РЕД.

ШЕСТЬ СТИХОТВОРЕНИЙ

*

Когда-то давно, на закате,
Я ехал верхом на коне:
Озера, болота да гати,
Да зарево в дальнем окне.
То было быть может весною.
В лесу меж стволов, кое-где,
Слепящее солнце, второе,
Горело в болотной воде.
Свою забывая тревогу
Дремали березы шурша.
Кричала сорока, дорогу
Кабан перешел не спеша.
Все это казалось когда-то
Обычным в болотном краю,
Теперь же сиянье заката,
Мне кажется было в раю.

*

Веселый фавн томимый ожиданьем
В часы безделья, музыку любя,
Наполнил флейту уст своих дыханьем,
Но вызвал вместо музыки тебя.

И ты поешь — «тоску мою развейте».
И чудно превращаются слова:
В зеленый луг, играет фавн на флейте,
Журчит ручей, колышется трава.

СТИХОТВОРЕНИЯ

*

Сегодня праздник: в городском саду
Стоит прозрачный день осенний.
Прислушиваясь к шуму, я иду
Дорожкой сквозь редеющие тени.

И все стараюсь слухом уловить:
Откуда этот тихий ропот веет?
Причину угадать хочу любви
К покорности, с которой сад мертвеет...

*

Днем и ночью лунной и безлунной,
Будто у рабочего стола,
Проплывают под мостом чугунным
Вечные скитальцы зеркала.

Отражают городские зданья,
Окна учреждений и квартир,
Будто учат двум существованьям
Безнадежно одинокий мир.

*

Вода боченок влагою питает,
Рассохнуться своей тюрьме мешает
Не потому, что течь охоты нет,
А потому, что так устроен свет.

Моя душа живет в такой беде
Подобно этой пойманной воде.
И не одна она — весь мой народ
В таком плену безвыходно живет.

*

Людьми не мало вещих снов забылось.
Но иногда случалось даже мне
Почувствовать, что жизнью повторилось
То, что я видел некогда во сне.
Я не скажу чтоб это было что-то
Большое, важное — скорее пустяки:
Увижу вдруг как улыбнется кто-то,
Поправит волосы, или очки.
И с этого момента вспоминая
Свой давний сон, я знаю наперед,
Что сновиденью, точно подражая,
Допустим, с полки книга упадет,
Мой собеседник чаем поперхнется,
Автомобильный загудит гудок —
И снова с повседневностью сольется
Пророчества неясный ветерок.

А. Величковский

РВАНАЯ ЭПОПЕЯ*

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

I

За окном всякая чушь: крыши, окна, кухонный ящик и, кажется, небо. Прямоугольники — небо, окна, кухонный ящик, крыши; квадраты, трапеции, параллелограммы, ромбы, кубы, параллелепипеды. Беспредметная живопись. Самое темное — крыши; нет, окна еще темнее, окна можно считать черными, поскольку всё вообще условно: свобода, счастье, красота, долголетие, сытость, добро, зло, ум. Всё, кроме смерти. Крыши светлее окон. Самое светлое, хоть и самое безнадежное — небо. В небе живут ангелы, они должны быть белыми, но они невидимы. Иногда мы принимаем за них облака, но это случается очень редко: облака часто бывают перистыми, но почти никогда не бывают крылатыми, даже и в праздничные дни.

По сю сторону окна, в комнате, тоже много прямоугольного: стены, двери, паркѐтины, книжные полки, книги, рамы, папиросная коробка, окна. В особенности окна... Любопытно, между прочим, было бы узнать, кто первый из писателей прижал своего героя горячим лбом к холодному стеклу окна?

— «Э!» говорю я Петру Петровичу...

— Нет, Петр Иванович, это я сказал «Э»!

— Сначала вы сказали, а потом и я сказал.

— «Э!» сказали мы с Петром Ивановичем.

Знают ли писатели, что странный обычай этот упоминается в Энциклопедии Ларуса? Вот выдержка:

Coller (ko-lé) v. a. Enduir de colle... Appliquer fortement: *coller son front aux vitres.*

Неверящие могут проверить.

---

* См. кн. 59 и 60 «Нов. Журн».

Автор как-то пробовал прижать свой собственный лоб к оконному стеклу, но то, что для литературных героев сделалось в определенных случаях их книжной жизнью чем-то вроде естественного отправления, оказалось делом не очень легким. Придвинув лицо к стеклу, он уткнулся в него не лбом, а носом. Для того, чтобы прижаться лбом, необходимо найти такой угол наклонения головы, при котором наиболее выдвинутой вперед частью лица становится именно лоб, а не нос, что само по себе чрезвычайно индивидуально. Чувствовать верные объемы своего тела по отношению к окружающей обстановке — то же самое, что для человека, сидящего у руля автомобиля, чувствовать его объем в передрягах и тесноте уличного движения. Вторая неловкость: на слишком близком расстоянии стекло — прозрачное тело — теряет свою материальность, свою видимость, и оттого становится трудно определить действительное пространство, отделяющее его от лица — дюйм? два? три? Естественная боязнь неосторожного толчка уничтожает непроизвольность движения и его драматический смысл. Кроме того, со слов писателей, лбы в такие минуты бывают горячие, разгоряченные, жаркие, знойные, горящие, пылающие, воспаленные, пламенеющие, в зависимости от писательского усердия. Автор даже знает одного литературного героя, который «пожаром своего лба прикоснулся к айсбергу оконных стекол». Бедняга Маяковский, и тот «плавил лбом стекло окошечное». Не удержался...

(Вы помните Маяковского? Он застрелился. В советской России.)

...Совершенно очевидно, что температура повышается по меньшей мере («пожар», «пылание», «плавление») до 39 градусов, и что в подобных случаях люди предпочитают лечь в постель, приняв жаропонижающее средство, что-нибудь вроде аспирина, нежели приникать лбом к окну и рисковать простудой.

Этому приему, по сделанным наблюдениям, скоро будет сто лет. Первые полвека можно простить за давностью, но второе пятидесятилетие ни простить, ни вытерпеть невозмож-

но. Слова склоняются, слова спрягаются, слова склеиваются в фразы, фразы превращаются в приемы, в формулы; формулы отличают писателей поддельных от писателей настоящих. У слов есть запах:

И, как пчелы в улье опустелом,
Дурно пахнут мертвые слова.
Последнее — из Гумилева.

(Вы помните Гумилева? Он был расстрелян. В советской России.)

2

Возвращаемся к началу, то-есть, — в комнату.

В комнате много прямоугольного: стены, окна, двери, паркетины, книжные полки, книги, картины, папиросная коробка, писчая бумага... Писчую бумагу, за отсутствием ангелов, можно — условно — принять за белое; белое, которое, однако, меняет свои оттенки с каждым часом дня. Эти оттенки похожи на музыку: бемоли, диезы... Строки ложатся прерывистыми линиями, слова нанизаны на строки. Сто строк — заметка или, скажем, письмо; четыреста строк — фельетон, подвал; десять тысяч — роман; двести тысяч — полное собрание сочинений. Нужны многие миллионы строк, чтобы составить маленькую библиотеку, и бесчисленные миллиарды для книгохранилищ. В каждой строке — семь-десять слов. Какое огромное количество слов! И сколько наречий! И все говорят. Даже самые молчаливые говорят. Даже глухонемые... впрочем, глухонемые не говорят, а мычат, это всё-таки менее страшно. Слова наступают, подступают, обступают. Сугробы, горы, созвездия, млечный путь слов. Выпуклые, вогнутые, шершавые, занозистые, торчащие, прыгающие, глубокие, мелкие, обломанные, надставленные, богатые, нищие — они врываются в окружающий нас геометрический строй, в прямоугольники комнат, и даже обездвиженные, застывшие на печатных страницах, они не в силах умолкнуть: постоянно слышен шорох на

книжных полках, особенно по ночам; шелест, шопот, шуршанье, шумок.

Мы без умолку говорим. Мы без удержу пишем. Даже во сне, краснобаи, мы бредим словами. Сны, слава Богу, поддаются дрессировке, как белые мыши. Раньше они, эти сны, пытались говорить спящим автором, бормотать им, кричать в нем. Слова́ заполняли горло, разбухали и никак не могли высвободиться, сложиться в законченную форму, оставались слогами, выкидышами слов. Они душили автора, и среди ночи он просыпался в тоске, в бессильной борьбе с ними, не узнавая своего голоса и не досмотрев сна до конца. С большим трудом он выдрессировал сны: они онемели, стали, наконец-то сно-в и д е н и я м и; по крайней мере филологически они теперь оправданы. Автор входит в их изогнутые зеркала, в мир совершенной пантомимы, наслаждаясь волнообразной гибкостью видений, остается там до падения занавеса и возвращается в слова только поутру. Теперь сны сделались для него перемирием, примирением.

Слова бросают на ветер; за словом в карман не лезут; ради красного словца не жалеют родного отца. Автор уважает заик: они сло́ва зря не обронят, им некогда. Слово породило ложь. Черное называют белым и потом говорят, что это было необходимо по тактическим соображениям. Такой оборот речи называется «дипломатическим языком». Есть еще язык «дипломатерный», он значительно правдивее. Человечество заблудилось в тактических соображениях, и выход на прямую потерян навсегда. Что сказано, того не вернешь; слово не воробей, вылетит, не поймаешь. Бессловесные существа не умеют лгать: цветы, птицы, звери, глухонемые. Вслед за ложью появилось «честное слово». Оно пришло, как увёртка, как прикрытие, как убежище и как признание лжи. Но и честному слову больше никто не верит. Никто не верит на́-слово, и это неверие скреплено законом. Честное слово приходится подтверждать на бумаге: что написано пером, того не вырубишь топором. Но и здесь — слово слову рознь. Против честного слова выступает слово закона, и на ложь ложится (в звуковой

путанице) новая ложь, в таком количестве, что ложкой не вычерпаешь.

В обращении со словом мы растратчики, моты. Странная разновидность мотов, где наиболее расточительные почитаются за героев. Их головы завистливо венчают лаврами. С ними носятся, как с писанной торбой, хлопают ушами, разевают рты. На них с опаской указывают пальцами, говорят: вот писатель, вот оратор. По-русски «оратор» звучит, пожалуй, иначе: говорун, говорильщик, вернее — говоритель, произноситель. К слову «писатель» мы приспособились, оно уже не кажется обидным. Профессиональность писательства должна быть оскорблением для человека, который пишет о том, что́ скоблит его совесть, пишет о том, о чем подобно Толстому, он не может молчать. Так казался бы автору оскорбительный месячный оклад священника, если бы автор верил в священников. Он не верит профессиональным писателям, как не верит в подлинность писателя, прижимающего своего героя горячим лбом к холодному стеклу.

Позвольте поговорить о совести (очень кратко):

Достоевский писал, как заика; ему тоже было некогда.

Гоголь писал, как сошедший с ума математик: всё безошибочно — точно и всё бешенно.

Толстой писал о том, о чем не мог молчать...

И так далее.

Так пишут разночинцы, так пишут баре, так пишут апостолы, так пишут рабы, так пишут смертники, так пишут пророки, так мечется Виллон, так парит Пушкин, так режет вены Есенин. Так пишут одержимые; «писатели» так не пишут.

(Вы помните Есенина? Перерезав вены, он повесился. В советской России.)

3

Самый красивый язык (для автора) — китайский, потому что он решительно ничего в нем не понимает, кроме слова «мандарин». Китайский язык представляется ему самым певучим, потому что для него он только звук. Самая красивая песня — песня без слов. Автор не ходит в оперу, потому что там музы-

ка запачкана неряшливым словом. Слово требует абсолютного слуха. Фраза почти всегда фальшивит. Разговор вызывает дрожь.

Автор предпочитает мычание.

4

Всё та же комната. Возвращаемся еще раз. Слова сбивают с пути, приходится брать себя в руки. Всё та же комната, прямоугольники, стены, паркéтины, шуршащие беспокойные книжные полки; папиросная коробка в кармане, бумажник в другом (в бумажнике всякая чушь: подписи, фотографии, печати, номера, даты и другие признаки реального существования). Стены пропитаны соком слов. За стенами безостановочный людской оркестр, в котором все инструменты расстроены, все музыканты лишены слуха. Автор любит прямоугольник двери: можно распахнуть, можно выйти. Но едва он успел потянуться за шляпой (что следует понимать исключительно как литературный прием, так как он шляп не носит), едва он потянулся за символической шляпой, как в дверь постучали (это, в общем, тоже метафора, потому что нам известно из предыдущей главы, что в квартире автора действует звонок), и в комнату, где еще чернело на стуле траурное платье Шестокович, вошел неизвестный мужчина. Он назвал автора по фамилии (с неправильным ударением), крепко пожал руку, как старому знакомому, и отрекомендовался:

— Я — бежáнец с Гитлера.

Заметив недоумение автора, незнакомец поспешил добавить:

— Вот для вас настоящего шевиёта с Лодзи...

Коротко говоря, позиции были атакованы с таким искусством, что после десятиминутного неравного боя шевиот пришлось купить.

Материя куплена — надо шить костюм. И тут посоветовал автору кто-то русского портного Мишеля: чудно шьет, «держит ателье» и сам — бывший закройщик от О'Россэна. Мишель, действительно, пришел за материалом и снял мерку.

Бывший закройщик от О'Россэна не знал ни одного французского слова, изъяснялся на костромском наречии, выдыхнул довольно отчетливый букет «ординэра» и попросил, в придачу к материалу, небольшой задаток «на приклад». Через неделю автор отправился к Мишелю на примерку. «Ателье» оказалось крохотной комнатенкой для прислуги, на восьмом этаже без подъемной машины. Закройщик от О'Россэна лежал на взъерошенной постели в мертвецко-пьяном виде и даже не смог приподняться. На полу стояла батарея бутылок. На столе сидел измученный, озлобленный подмастерье, в жилетке, с клеенчатым метром вокруг шеи, с волосами, перевязанными тесемкой и в дырявых носках.

— Примерим, примерим, — захлопотал он, вынимая булавки из-за щеки, — Мишель не в себе, вы плюньте!

Началась примерка.

— Мишка! — закричал подмастерье хозяину, — гнида! Куды ты рукав запихал?

Мишель ответил невнятной икотой.

Примерили без рукава.

Еще через неделю подмастерье мрачно сообщил, что Мишель вчера ушел куда-то с костюмом и не вернулся.

— Наверно, к девочкам, — постарался утешить автора подмастерье.

— А как же с костюмом? — спросил автор.

— Не могу знать, — отвечал подмастерье, — спросите что ли, на углу в бистро: может там знают.

Они спустились в угловой трактир. Костюм был заложен там за 200 фр. Автор выкупил его после торгов за 350, но зато трактирщик угостил его рюмкой «Бирра»...

С тех пор этот костюм из лодзинского шевиота висит у автора в шкафу без употребления, потому что одного рукава не хватает: Мишель его куда-то «запихал». В первое время автор поджидал возвращения «бежáнца с Гитлера», надеясь прикупить на рукав. Но бежáнец вернулся лишь через год, да и то не с шевиотом, а с халвой.

Глядя на костюм, автор неизменно вспоминает безрукую Венеру, и так как мысли о Венере чрезвычайно приятны, он на Мишеля не сердится.

5

Вскоре потребовался смокинг. Париж, даже после мюнхенского соглашения, настаивает иногда на смокинге. Неизбежный «кто-то» убедил автора и на этот раз обратиться к русскому портному, доказав, что рекомендуемый портной — не простой портной, а придворный, «шил на царя и вообще».

— Помнишь, как мы одевались в России? — воскликнул неизбежный «кто-то», не имевший, впрочем, никакого отношения к царской фамилии, и хотя автор помнил его только в вечной, потертой студенческой тужурке и лоснящихся диагоналевых штанах, но все же поверил и пошел.

Богатый, аристократический квартал Парижа. Бель-этаж. На дверях — небольшая мраморная дощечка с именем портного и с императорской российской короной. Портной похож на великого князя. Огромная квартира, совершенно лишенная обстановки. В первой комнате — прилавок и полки до потолка, но на полках — всего два-три отреза материи. По стенам развешены старинные гравюры, по преимуществу — виды елисаветинского Петербурга. Сидеть в комнате не на чем, и потому разговаривали стоя: о трагедии герцога Виндзорского, о традициях английской короны вообще, об усеченном цилиндре, о придворных реверансах... автор крепился и делал понимающий вид.

— Я вижу, что имею дело с интеллигентным человеком, и потому позволю себе преподнести вам экземпляр моей тезы, — сказал придворный портной и тотчас принес из глубин квартиры роскошно изданную брошюру, на обложке которой — под царской короной — золотые буквы заглавия:

ЭВОЛЮЦИЯ ШВА В СВЕТЕ НОВЕЙШЕЙ ЭСТЕТИКИ.
(опыт теоретического обоснования)

Вскоре, миновав три-четыре пустынных комнаты, они перешли в бар придворного портного. Хозяин проявил чудеса

ловкости, оперируя болтушкой для коктейлей, и прочел любопытную лекцию о том, что единственно-правильной базой для сухого коктейля может быть джин...

К счастью, до смокинга разговор в тот вечер не добрался. Впоследствии автор услышал, что придворный портной был объявлен несостоятельным должником и закрыл свое дело.

6

Лично у автора никакого «дела» нет. То-есть, дел у него очень много, но все они такого свойства, что закрыть их никак нельзя. Он всё же существует, и в его квартиру, раз в две недели, приходит даже полотер, француз, msieur Pierre. Приходит с ведерком, бутылкой «пинара» и щетками, снимает пиджак, становится на четвереньки и начинает работать, попахивая потом и бормоча в усы. На границе двух комнат делает обязательный привал, пьет из горлышка принесенной бутылки, скручивает папироску, выкуривает ее со вкусом и — айда в другую комнату.

Случайно попалось автору на глаза объявление в русской газете:

«ПОЛЫ натираю до зеркального блеска. Величаев».

Русское объявление вызвало сложные чувства, и он послал по указанному адресу вызов.

На другой день явился бородатый мужчина военной выправки и представился:

— Полковник Величаев.

Автор уважительно пожал ему руку.

— Извиняюсь, — продолжал полковник, — с кем имею честь, если разрешите?

Автор назвал себя. Полковник оживился и спросил, не является ли автор родственником ротмистра драгунского ее величества полка? Узнав, что он в родстве не состоит, полковник, тем не менее, рассказал из жизни ротмистра забавный анекдот. Потому ли, что голос полковника был неизмеримо громок для квартиры, или по каким-либо иным причинам, но

автор мгновенно почувствовал усталость, как после тяжелого рабочего дня.

Рассказав анекдот, полковник заявил, что должен ознакомиться с качеством паркета. Минут через десять, поскоблив половицу перочинным ножом, полковник гаркнул:

— Осмелюсь доложить, что дерево — дрянь.

Затем полковник попросил «франчей 60» на предмет покупки вохры и мастики. Вернулся полковник около полудня с десятком пакетов и осведомился, нет ли на кухне свободной кастрюльки, так как он готовыми материалами «принципиально» не пользуется, но открыл собственный способ приготовления мастики. Далее вышло так, что, пока полковник занимался в кухне химией, пришлось пригласить его к завтраку.

Позавтракали.

— Разрешите полюбопытствовать, где ваша щетка? — спросил полковник, вставая из-за стола и расправляя усы.

— Какая щетка? — удивился автор, испугавшись, что полковник решил после завтрака вычистить зубы.

— Полотерная щетка, — объяснил полковник.

Полотерных щеток в квартире не оказалось.

— Ай-яй-яй, какой вы, однако, нехозяйственный! — пожурил полковник, — в условиях нашего зарубежного рассеяния рекомендуется быть предусмотрительнее; ну, да ничего! Щетки, наверно, найдутся у консьержа.

Раздобытые у консьержа щетки полковнику Величаеву не понравились. Полковник Величаев объявил, что французы «ничего не понимают», что они — «ни на что не способная пустяковая, барахольная нация, разве что тряпки, да и то — не ахти что!» Полковник Величаев так увлекся, что, отложив щетки в сторону, уселся в кресло и предался воспоминаниям.

— Какие во Франции, сами посудите, модницы? Вспомните только наших полковых дам? Как стреляли глазками, как танцовали на балах, какие адские платья, какие нижние юбки, какие зонтики! Молодая Дрябкина-Куракина у меня до сих пор в глазах, чорт возьми, как заноза!

Часам к восьми полковник Величаев управился с одной из комнат и тяжело вздохнул:

— На сегодня баста!

Автор лежал без движений, совершенно обессиленный, но услыхав эти слова, вскочил с дивана и поспешил спросить полковника:

— Сколько я вам должен?

— 600, — ответил тот, не задумываясь.

— 600? Почему так дорого? Мой постоянный полотер, monsieur Pierre, берет 300 за всю квартиру, со своим матерьялом и щетками.

— Но ведь, он—француз,—возразил полковник,—у него своя клиентура; вы сами изволили сказать, что он — постоянный, и, значит, обеспечен работой. А мое дело, сами посудите, как раз наоборот. У нас — дело случая; нам, если клиент подвернется, надо брать с него, чтобы хватило на целую неделю.

К автору вернулись силы, и его голос, которого он не узнал, грозно проскрипел:

— Получите 300 франков, и не трудитесь приходить ко мне в следующий раз!

— Как прикажете, — ответил полковник Величаев и стал складывать монатки с видом человека, которого не сумели понять.

7

С мадам Дьячковой дело обстояло иначе. Она не виновата. В предпасхальные дни последней предвоенной Пасхи забежал к автору приятель, шофер-таксист, и сообщил, что квартирная его хозяйка, мадам Дьячкова, открыла «феноменальный рецепт» изготовления куличей. Цена кулича будет, правда, немного выше, чем в русской лавке госпожи Песис, но зато в смысле качества — никакого сравнения, и сдоба — абсолютно феноменальная! Приятель захватил с собой ломтик пробного кулича: тесто и впрямь было превосходное.

Автор куличами не балуется: ест их, где придется и когда

угощают. Но почему бы, в самом деле, не поддержать мадам Дьячкову, дела которой, со слов ее жильца, — «пришли совсем труба и даже не хватает на пудру»? В два дня автор подобрал сплоченную группу любителей сдобного кулича, не пожалевших слегка переплатить сверх лавочной цены, чтобы на Пасху полакомиться куличем не серийного, но домашнего производства, и отправил мадам Дьячковой денежное подкрепление в размере двух третей общей стоимости заказа.

В назначенный срок, вечером перед заутреней, группа заказчиков в полном составе собралась у автора для распределения куличей. Настроение было приподнятое (среди участников группы преобладали женщины), настроение было даже торжественное, предпраздничное. Однако, назначенный час приближался, пришел, прошел, а куличей не было. Все строили всевозможные догадки, главная из которых сводилась к тому, что с машиной приятеля-шофера случилась в дороге порча, и он, наверно, мучится сейчас где-нибудь в гараже или меняет шину. Наконец, в 10 часов, приятель прибыл — с небольшой шляпной картонкой в руке.

— Господа, — произнес он упавшим голосом, — произошла феноменальная катастрофа! Мадам Дьячкова в полной панике и даже собиралась покончить самоубийством. Желая еще больше улучшить сдобу, она переборщила в количестве яиц, и тесто... не поднялось!

Дрожащими руками приятель раскрыл шляпную картонку и вынул из нее одну-единственную, неплохо пропеченную лепешку.

Собравшиеся были потрясены. На Каролину Петровну Шлезвиг, пожелавшую было возмутиться, они цикнули с такой убедительностью, что она тотчас примирилась с происшедшим и даже пыталась улыбнуться.

8

Как видите, мадам Дьячкова, действительно, не виновна. Заказчики, в складчину, послали ей, все с тем же шофером, небольшой горшочек пасхальных гиацинтов с выражением кол-

лективного соболезнования. Женщины, вообще, очень редко бывают виноваты. Будь автор вождем, он бы непременно оправдывал всех женщин, даже когда они стреляют в вождя или втыкают в его грудь ножи, как дезертиры — штыки в землю. У женщины даже вооруженные покушения полны обезоруживающего очарования. Шарлотта Кордэ, например: один ее чепчик чего стоит...

Среди мужчин только артистические натуры могут отчасти тягаться с женщинами в этой обезоруживающей невинности. Таким примером служит обойщик Бочаренко, к услугам которого автор вздумал обратиться, решив заново обить диван и, кстати, поправить в нем пружины. Бочаренко оказался мужчиной солидного возраста и при таких роскошных усах, которые в России принято было называть «жандармскими». Он немедленно приступил к работе, содрал обивку, вспорол матрас, так что вся его начинка вывалилась наружу, и ушел «до завтра». Но ни завтра, ни послезавтра, ни через неделю обойщик Бочаренко не вернулся. Диван стоял в распоротом виде, пугая посетителей. Наконец, дней через 15, обойщик Бочаренко появился снова. Автор вежливо выразил ему свое неудовольствие.

— Разве вы не читаете газет? — удивился Бочаренко.

— Иногда случается. А что?

— Ну как же: гастроли Шаляпина! Я всегда выступаю вместе с Федрыванычем. В хоре. Федрываныч без меня никогда не обходится. Целый день — репетиции, вечером — спектакли. Окончательно пожирает время. Сами понимаете...

9

Теперь метафорическая шляпа в руке. Дверь, площадка, лестница, ступени, поворот, еще ступени, снова дверь, квадратный двор, окна, стены, кухонные ящики, небо. Сосед, прогуливающий свою собаку.

СОСЕД (автору): Слыхали? Они приехали!

— Как же, слыхал, — отвечает автор, — они не могли не приехать.

Соседу известно, кто приехал: он слыхал. Но автор не слыхал и не знает, о ком говорит сосед.

— Все давно предвидели эту историю, — продолжает он, — весь вопрос заключается в форме.

— Может быть и не только в форме, — возражает автор, — но во всяком случае очень любопытно.

— Не вижу как-раз ничего любопытного, — хмурится сосед, — тем более, что они утверждают противное.

АВТОР: О вкусах не спорят.

СОСЕД: Вкусы здесь непричем.

АВТОР: Очень даже причем.

СОСЕД: Но, ведь, когда он сделал первый шаг к соглашению, вы не возражали?

АВТОР (упрямо): Возражал!

СОСЕД: Тогда это совсем другой коленкор.

АВТОР: В том-то и дело.

СОСЕД (с горячностью): Искажение фактов! Вы искажаете факты!

АВТОР (холодно): Вы уверены? Мертвые срама не имут.

СОСЕД: Какие мертвые? Что вы их хороните раньше времени?

АВТОР (убежденно): Это несущественно!

СОСЕД: Ну, знаете, батенька, если это для вас несущественно, то, знаете-ли, батенька, я уж и не знаю!

АВТОР: Вот то-то и есть!

СОСЕД: Действительно, о вкусах не спорят... Да отвяжись ты от меня, сука!

Это — собаке. Собака не понимает лжи и молча соглашается. Но автор не согласен и вступается за собаку.

— По моему, — говорит он, — ваша сука — кобель.

СОСЕД: Ну так что ж, что кобель? Сука всегда сука!

АВТОР: Тут я с вами согласен.

СОСЕД: А я, вот видите-ли, совсем не согласен! Тем более, что это сущая правда.

АВТОР (успокоительно): Они скоро уедут.

СОСЕД: Такие не уезжают!

АВТОР: Значит, останутся.

СОСЕД (вспыхнув): они не могут остаться!

АВТОР: Уж что-нибудь да останется.

СОСЕД: Это бабушка на́двое сказала.

АВТОР: А дедушка?

СОСЕД: Чей дедушка?

АВТОР: Ничей дедушка. Ихней бабушки.

Сосед смеется и говорит:

— Здесь, пожалуй, есть доля истины: дедушка, может быть, и сказал бы.

АВТОР: Бог его знает! Чтобы да, так нет.

СОСЕД: Вот именно.

Он смотрит на автора пристально и вдруг, просветлев произносит:

— А ведь вы вероятно правы, чорт возьми! Вы открываете мне глаза. В утреннем выпуске все выяснится.

Разговор начинает звучать несерьезно. Язык наш враг наш, надо держать язык за зубами.

10

Возвращаемся во двор, потому что автор все еще во дворе. Возвращаемся с намерением сейчас же его покинуть. Ворота. Сосед с собакой остаются позади, в прошлом. Они вываливаются из поля зрения; в поле зрения теперь тротуар, прачешная, что́ насупротив, и пролетевший мимо велосипедист. Прогулка начинается. Тротуары; перекрестки; оркестр расстроенных инструментов; прохожие; встречные-поперечные; собор; геометрия готики; 14-ый век; корсетный магазин; гараж, окрашенный в желтое...

Предстоит еще одна встреча: встреча с голубыми ноздрями. Отнюдь не будучи вегетарианцем, автор тем не менее, не

любит мясных лавок, независимо от национальности и политических убеждений мясника. Автор даже переходит на другую сторону улицы, как только завидит бумажную розу или пучек салата, кощунственно воткнутые в голубые ноздри молодого, безвременно погибшего бычка, или в позвонки освеженной туши. Тем более, что волоча телят на бойню, никто не утешает их тем, что их режут во имя общего бычьего блага.

Мясные лавки отравляют пейзаж. Их следовало бы устраивать во дворах, а снаружи, со стороны улицы, обозначать маленькими вывесками с указательным пальцем.

Автор сворачивает, под вечер, с шумного Сен-Жерменского бульвара в коридоры узеньких, кривых ульченок, и, разглядывая витрины (кроме мясных) и мраморные памятные дощечки, прибитые к почерневшим фасадам, углубляется в город, не заботясь о направлении.

Лают, рявкают, рычат автомобили. На перекрестках происходит грызня. Газетчики орут голосами войн, катастроф и международных конференций. Автор минует решетку Люксембургского сада (над которым, в бледно-сером небе — темно-серая тень Пантеона), приближается к Обсерватории, крики стихают, автомобильные гудки доносятся реже. Автор пересекает ряд перекрестков, огибает углы и, в наступившей постепенно тишине, с удивлением узнает над дальними крышами звездный купол собора Спаса Преображения. Кажется Петербург. Еще не веря глазам, но уже во власти смутных воспоминаний и предчувствий, автор, ускоряя шаги ... нет, замедляя шаги, выходит с Надеждинской в Манежный переулок...

Пустые руки
Бросаю в полуночный бой
Часов, — домой
Хочу! — Вот так: вниз головой
— С башни! — Домой!

Это — из Цветаевой.

(Вы помните Цветаеву? Она покончила с собой. Вернувшись в советскую Россию).

...Конюшни Жандармского Корпуса окаймляют тротуар полукругом. Белый, упитанный, толстый собор стоит на прежнем месте, и маленький скверик попрежнему окружен несвойственной Христову учению оградой, сделанной из чугунных цепей и пушечных дул, уже запорошенных первым снегом. Темнеют на домах красные флаги. Вдали, поближе к вокзалам, перекликаются паровозные свистки...

Ночь. Падает, падает снег. Гудят провода. Гудит ветер. Трепещут огни костров...

Это — из Пильняка.

(Вы помните Пильняка? Его расстреляли. В советской России).

Рдеет утро за Невской Заставой. Смольный. Знакомая площадь. У ворот, как тогда, стоят часовые при пулеметах. Винтовки, пулеметы, обоймы нашей юности, заряженные нашими надеждами, нашими ошибками, нашей страстью... А может быть, это уже не живые? Может быть, это уже памятники на пьедесталах? Подойти? Коснуться плеча? А вдруг — именно это живо? И, может быть, автор — не больше, чем заблудившийся призрак давно умершего прошлого?

Он проходит стороной, боясь разгадки. На пустынной панели в молочном тумане, чуть сгорбившись, мочится у фонаря первый прохожий. У дверей продовольственных распределителей вытягиваются заспанные людские сороконожки. Сад, где летом зеленели клены, березы...

В дни, когда бушевавшие грозы
С корнем вырвали все не от прозы
Я свой поднял завещанный крест
Близко мест,
Где цвели вы — когда-то! — березы.

Это — из Пяста.

(Вы, наверно, забыли Пяста? Он повесился. В советской России).

Девушка взглянула на автора серыми глазами родины. Глаза не забудутся...

Санкт-Петербургский, Питерский, Ленинградский утренний послеснежный туман, желто-серый с красноватым оттенком, сгущается в городе, окутывает дома и заборы, скрывает перспективы, и на его желтеющей завесе — снова дрожит черная тень Пантеона и вновь решетка Люксембургского сада и Сен-Жерменский бульвар и моросящий недружный парижский дождь, одинаково изображающий осень, весну и зиму...

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1

«Перелетаю пространство почти в два месяца; пусть читатель не беспокоится: все будет ясно из дальнейшего изложения». Так начинал, насколько помнится, Достоевский которую-то часть «Подростка». Вот и в этой повести, разорванной военной грозой, автор перелетает известное пространство времени, только здесь пространство будет подлиньше: оно почти равняется полугоду. Пять месяцев тому назад, в июне, автор совершил свое отступление, памятное до сих пор во всех подробностях; он все еще слышит шум и грохот исхода, все еще видит, с живостью почти удивительной, лица и слезы, зелень полей и дубрав, опрокинутые и подбитые машины, которые довелось снова встретить на возвратном пути в Париж, в октябре. Автомобильные трупы успели за это время порядком заржаветь, как, впрочем, заржавел и плывший вдоль дороги осенний пейзаж. Ржавый октябрьский пейзаж проплывал в неизменном покое: серые замки на горизонте — все те же замки из сказок Перро; они возникали на далеких, сиреневых холмах и таяли за поворотом. Бронзовые перелески; влажно лиловые пашни; песочного цвета волы, впряженные в плуги; желтая пыль молотилок; тучи, набухшие сыростью октября; сороки, прыгающие по колкой щетине сжатых хлебов...

Говоря все это, автор не собирается заниматься пейзаж-

ным искусством, хотя и не скрывает, что за три месяца деревенской жизни в Новых Выселках восприимчивость его к природе чрезвычайно обострилась. Обострились и прочистились чувства, притупленные долгой жизнью в городе. Горожанин с трудом начинает ощущать разнообразие живописных щедрот земли, богатство ее запахов и звуков, без чего даже самый великолепный пейзаж остается мертвым. Но пейзаж, среди которого дорога вела к Парижу, был исполнен не только осеннего покоя. Чем ближе машина подъезжала к Парижу, тем чаще встречались взорванные, сброшенные в воду мосты, разверстые крыши домов, опрокинутые танки, приведенные в негодность полевые орудия, и — у самого края дороги — белые кресты, покрытые солдатской каской, офицерской фуражкой, детским чепчиком. Расколотые пополам дома вывертывали наизнанку, наружу, ветхую, убогую внутренность простуженных квартир, мельчайшие следы сокрытого быта, дактилоскопические оттиски горя и радости, пласты интимнейших привычек. Вот, на четвертом этаже, на случайно уцелевших половицах, подобно акробату, стоящему на трапеции, еще держится, чуть накренившись, резной буфет, и рядом с ним, на полинялых, обмокших обоях, чей-то портретик; фрагменты людского уюта под открытым небом...

Нет, автор не собирается становиться напоследок пейзажистом, но хочет сказать и даже считает за необходимость, что, обращаясь к пейзажу, ищет случая зацепиться за элементы вечности, забрызганной сегодняшней кровью. В треске, в тревожном звоне бьющейся посуды, рухнет на землю переживший бомбардировку буфет. Кресты забудутся, как это ни страшно. Детский чепчик и офицерская фуражка истлеют под дождем и солнцем ранее, чем прах, лежащий под крестом. Проезжая, автор видел, как серенькая пичуга долбила клювом золотой офицерский галун, намереваясь, вероятно, золотыми нитями украсить свое гнездо. Но песочного цвета волы с непобедимой медлительностью волокли плуг, взрезая фиолетовый жир земли так же уверенно, спокойно и тяжко, как триста, как пятьсот лет тому назад, и так же, как тогда, слепни и зеленые мухи

впивались в их потную кожу. Одним словом, автор хочет сказать, что стремится, пытается извлечь из-под обломков чинимых людьми злодейств и катастроф действительное лицо человека, то-есть собственно, и не лицо человека, потому что — сколько его не подкрашивай, оно вряд ли станет привлекательно, — но то вечное и прекрасное, что, несмотря ни на что, дано совершить человеку и что, раз совершив, он же сам пытается запакостить и разрушить. А, между тем, без многого можно прожить человечеству, без войн и без любви, без государственных мужей, без Цезарей и Наполеонов, без геройств и без международных конференций, без добродетелей и без христианства, без англичан и без Германии можно, без русского человека слишком возможно, без науки можно, без хлеба можно, без одной только красоты невозможно, ибо совсем нечего будет делать на свете! Ибо Шекспир и Рафаэль — выше гражданских проблем, выше народности, выше социализма, выше юного поколения, выше химии, выше почти всего человечества, ибо они уже плод настоящий, плод всего человечества, и, может быть, высший плод, какой только может быть! Вся тайна тут, вся история тут! Сама наука не простоит минуты без красоты, обратится в хамство, гвоздя не выдумаете...

Однако, перо снова сбилось на чужую речь: это уже пошли слова милейшего Степана Трофимовича Верховенского, его замечательнейшие слова. Достоевский стыдился пафоса и потому подарил эту речь герою почти смешному, на которого сам предлагал смотреть иронически прищуренным глазом. Но читатель принимает речь Степана Трофимовича за чистую монету, без всякой иронии, считая, что пафос нынче уместен. Теперь для этого даже не требуется становиться на цыпочки. Читатель принимает слова Степана Трофимовича за чистую монету, так как только через красоту дана человеку отдушина в вечность, а без вечности можно сойти с ума. Совершеннейшие произведения искусства предшествуют самым зачаточным формам цивилизации. Пещерные жители ледникового периода, охотники на мамонтов, едва прикрытые звериной шкурой и еще не додумавшиеся до обуви, до собственных имен, сумели

оставить нам альтамирского бизона и лоретских оленей. Современное человечество не может разгадать природу художественного творчества. Отсюда, из этой очевидной невозможности, из этого бессилья — сложилось выражение «дар божий»: человек в недоумении разводит руками.

2

Давние опасения оправдались: война раскидала героев повести, и повесть завершается без их непосредственного участия. Непрочные нити, связавшие действующих лиц между собой в начале книги, порвались. Так люди встречаются на узловой пересадочной станции, знакомятся, проводят совместно час-другой в буфете и разъезжаются, не успев даже обменяться адресами. Паровозы свистят — одни с надрывом, иные полегче, безразличнее; поезда исчезают в ночи, буфет запирается, буфетчик сматывает монатки и, зевая, прикрывает от мух и тараканов остатние бутерброды грязной кисеей: до утра. Ни счастливых финальных поцелуев, излюбленных Жиркиндом, ни бурных разрывов, ни картинных самоубийств. В жандармское отделение проведут карманщика, снятого с почтового поезда, и, в крайнем случае, со скуки, намылят ему морду.

Вернувшись в Париж и с трудом выпрастываясь из-под обломков впечатлений, автор прежде всего хотел отыскать художника Райкина, неустанно наводил справки, просиживал часы на Монпарнассе — и всё безуспешно. Редкие сведения, слухи и рассказы бывали всегда противоречивы и ни в какой степени не соответствовали замыслу автора. В молочной лавке Малю он узнал, что райкинская Форнарина погибла в дни исхода, под Этампом: она ушла пешком с собачкой Туту и желтым попугайчиком Тото. Погибли все трое. У картинного торговца, где Райкин выставлял свои вещи, сказали, что Райкин вряд ли вернется в Париж, так как он еврей и что живопись его находится на свалке. Однако, на-днях ему удалось все-таки встретить Райкина; не его самого, правда, а его картину: то был как раз портрет маленькой молочницы с отмороженными

пальцами. Впрочем, когда на голубой венецианской площади мы смотрим на статую кондотьера, разве нам не безразлично, какими подвигами отличил себя этот Бартоломео Коллеони, и был ли он в действительности похож на стоящего перед нами медного всадника, и была ли матушка Рембрандта похожа на ее портрет в питерском Эрмитаже? Ведь не кондотьер Коллеони увековечен венецианским памятником: увековечен ваятель Веррокио, биография которого могла бы ограничиться одной этой статуей, чего было бы вполне достаточно для бессмертия, да простятся эти слова Форнариной и незадачливой Малю с ее собачкой и попугайчиком.

Каким образом Райкин, уже получивший советский паспорт и значительно менее интересовавшийся войной, чем партией в покер, надел форму французского пехотинца, осталось неизвестным. Случай с Милютиным понятнее: Сережа Милютин ушел на войну добровольцем, толкаемый не столько любовью к Франции, сколь безвыходностью своего положения. Предсмертная горфункелевская афиша доконала Милютина, а добровольцы поступали на государственное иждивение. Была, впрочем, еще одна причина: беременность Мурочки, окончательно разомлевшей под влиянием нахлынувших материнских инстинктов. Таким образом, появление Милютина на фронте было скорее бегством, беспорядочным отступлением с других проигранных им позиций. Автор узнал об этом от Зины Каплун, которая, по ее выражению, завязла в Париже. Она же рассказала о том, что Тат Неусыхина-Аронова благополучно «прокатила заграницу с каким-то хахалем», о чем автор существенно пожалел... Возможно, что где-то на юге Франции еще живет художник Райкин в привезенном с собою, неотделимом от него Париже. Возможно, что в плену, за колючей проволокой, смертельно тоскует Сережа Милютин. Автор боится, что ему никогда более не удастся встретиться с ними на этих страницах, и такая утрата для него особенно чувствительна.

Автору не удалось, отойдя снова в тень, соединить героев и предоставить им без его вмешательства закончить действие. Есть все же один счастливый конец: мир, наступивший в семье

невозвращенца Акима Филипповича Колмазнина. Мурочка уже на сносях и, по выражению мужа, «вот-вот рассыпется». Жизнь наладилась. Мурочка вошла компаньонкой в бакалейную лавочку Семена Семеновича Кудрявцева, заменив собой еврейку Песис. Сам же он тоже прекрасно устроился: с первых же дней занятия Парижа немцами, он ежедневно утюжит в их казармах солдатские штаны.

— Напал на жилу, — злословят неудачники, — теперь надо только уметь сосать.

Автор выходит по вечерам в снег и ветер, подышать сумерками Европы. Уличный холод, декабрьская стыть пронизывают его. Безрадостный, ненастоящий парижский снег ложится на тротуары, превращаясь за ночь в гололедицу и сгоняя пешеходов на мостовую. Дворников в Париже нет, не существует здесь и широких деревянных лопат, обшитых жестяной полоской. Дворников заменили хмурые безработные, напоминающие русских интеллигентов времени военного коммунизма. Неумело, несподручно, без повадки они отрабатывают в снегу казенные пособия: тусклый, недружный, беспомощный труд. Вот стоит один из них, актер русской драмы Варягин, зажав между ног кирку, и потемневшими от холода пальцами крутит цыгарку. Распухшие пальцы, высовываясь из рукавов, походят на связку франкфуртских сосисок.

Улицы позеленели от немецкого сукна. Вожди исступленно решают народные судьбы. Немецкие солдаты объявили для себя право на бесплатный проезд в метро, уже пропахшем сапожным духом. Девчонки виснут на их локтях. Нищие очереди ожидают подачек у немецких казарм. Листы ограничительных декретов расклеены на углах и заборах. Масло и сахар из-подполы. Черная биржа. Сюсюканье газет: золотое сердце Геринга, Гитлер среди лотарингских детишек, подбородок Муссолини во вдовьем доме, граф Чиано и Молотов улыбаются Риббентропу, улыбающийся немецкий солдат с французским младенцем на руках.

Райкин не знает, что танцовщица Люка давно принадлежит немецкому лейтенанту. Лейтенант — чистокровный ариец гер-

манской группы, что можно было бы легко проверить антропометрическими способами или просто взглянув на его подбритый затылок. Лейтенант сентиментален и обожает Чайковского. Он задаривает Люку чулками, пирожными и обещает жениться, как только кончится война и в Европе наступит новый порядок. По вечерам Люка поджидает лейтенанта, счастливая отсутствием забот, только что вышедшая из ванны, надушенная до ногтей, приготовленная и поданная, как лакомое блюдо — что-то вроде довоенных меренг со взбитыми сливками или бисквитного торта с темнеющей сердцевинкой. Но в любви лейтенант вял и умерен. По ночам в постели, он любит доказывать Люке величие Германии и ее исторической миссии. Люка называет это колыбельной песнью. Балетные выступления Люки прекратились. Новой Европе сейчас не до балета. Сначала Люка обрадовалась, но вскоре заскучала и теперь снова бегает в танцовальные классы. Ее невесомые ноги отяжелели (как и взгляд ее, и веки, и плечи), носки утратили остроту и упругость, отражение в зеркале потеряло привычную легкость, несмотря на новый тарлатан пачек и дорогое, приятно поскрипывающее шелковое трико. Люка стала раздражительна, нетерпелива и как-то в обеденный час, она со злости сошлась с негром, что, однако, не принесло ей большого утешения.

— Я вам этого, девочки, не советую. Он оказался совсем лиловый, даже какой-то зеленый и вовсе не экзотический, а вообще какой-то никакой, — рассказывала она подругам по школе.

Автор встречал в Париже еще одну русскую девушку со странной, игрушечной фамилией Свистяшкина, именуемую для простоты «Свисточек»; развязно-застенчивая, двадцатилетняя, краснеющая при каждом обращении к ней (а имя ее сахарно-сладкое: Люли, хотя крестное имя ее — Зинаида); девственно-белокурая и с такой нежной кожей, что непременно должна растаять в постели; высокая, ладная, неотразимо привлекательная, розово-рдеющая и восхитительная на ощупь, если бы ни вечно влажные ладони, — так и эту девушку, которую многие

называли «пуговкой» (вероятно по сходству с перламутром), а иные — «петелькой» (чему совершенно нельзя найти объяснений) — и эту девушку подобрал немец из Гестапо.

Единственное огорчение Свисточка заключается в том, что ее немец носит гражданское платье, а не военную форму.

— Вот мамин немец, так тот из танковой дивизии, — рассказывает Свисточек с оттенком зависти, — мама прозвала его «мой моторизованный Дон-Жуан».

Нечто подобное произошло и с Моникой Геппенер, противницей высоких каблуков и пейзажной живописи: в день вступления немцев в Париж за ней была прислана машина свинцового цвета. Моника вышла из подъезда в дорожном костюме, с чемоданом и пледом в руках, и укатила в замок под Руаном, в замок из сказок Перро, где офицеры немецкого штаба встретили ее в большом, украшенном свастикой зале 16-го века торжественным поднятием рук и затем пили в честь ее шампанское.

Приятель Моники Геппенер, знаток скакового дела и франмасон князь Б—ский (о котором вскользь упоминалось в одной из первых глав), воспользовавшись ее новыми связями, наживает золотые горы, сплавляя немцам лошадей из еврейских конюшен. Грузинский князь Джушвили открыл посредническую контору по сбыту немцам всевозможных товаров, от стали, марганца и бензина до шеколада и женских чулок. Бывший театральный агент Сагайдачный поставляет в отель Мажестик, главный штаб победителей, женщин, желающих поразвлечься. Артисты русской драмы Тотошкин и Вышнеградская организовывают летучие концерты и театральные представления в местах расположения оккупационных частей; получают гонорар в рейхсмарках и съестными продуктами. Слухи о связи Вышнеградской с немецким интендантом преувеличены.

Князь Б—ский, князь Джушвили, Сагайдачный, Тотошкин, Вышнеградская говорят с французами по-хозяйски, свысока, и любят повышать голос. Впрочем, не только они: бывший шофер такси Мочалкин, по его выражению, теперь «орет»

на французов; бывший шофер такси Дровосеков «кроет» французов; бывший инструктор плавания Синевский «чихает» на французов; бывший приказчик из съестной лавки Николаша Топорчук «кладет» на французов.

3

Вьюжная, ураганная, морозная зима. Париж под непривычным снегом. Женщины ходят в мужских костюмах и в русских бабьих платках на голове. По тротуарам растянулись петербургские хвосты. Стоят. Сидят на складных стульчиках, на холщевых табуретках. Часами стоят и сидят на морозе в надежде получить четверть бутылки снятого молока или осьмушку конины. Конина называется «ост-бифштексом». На стенах висят воззвания, утверждающие ненависть. Лордам по мордам! На воззваниях — карандашные добавления анонимных политиков: остатки свободной печати, за которые полагается расстрел.

В зимнем небе гудят бомбовозы, разведчики, истребители. Падает порусевший и уже ставший почти настоящим снег. Безработные интеллигенты скалывают лед. В досчатом бараке за городской чертой крысы съели труп замерзшей старухи. В квартирах нетоплено. Особым декретом запрещена продажа угля лицам свободных профессий. В Советской России придет, бывало, художник в дровяное ведомство, куда-нибудь в Гос-Топ, и скажет без обиняков заведующему, товарищу Сударикову или товарищу Эпштейну: я-де, товарищ, напишу вам семейный портретик, а вы уж, товарищ, благоволите мне за это отпустить баржу на слом или хотя бы паркет в соседской квартире.

— По рукам! — ответит Судариков (или Эпштейн).

В русской революции было все-таки что-то патриархальное. Товарищ заведующий получал семейный портрет, художник топил буржуйку, сосед художника оставался без паркета.

Немцы топчат парижскую мостовую. Их можно безошибочно угадывать по походке («я милого узнаю по походке»...). Безошибочно одинаковая походка. В строю гусиным шагом

или вольно, они всегда ходят в ногу. Ходить не в ногу они не умеют. Даже в одиночку они ходят так, что слышится, будто идет человека три. Автор видел, как два немецких солдата тащили девицу за рукав в отель. Девица выкручивалась, визжала, отбивалась и крыла кавалеров нехорошими французскими словами. Но даже в этом неорганизованном происшествии немцы с безупречной одновременностью переступали ногами. Немцы в ногу маршируют по гололедице, в ногу садятся в концертных залах слушать Вагнера, Чайковского и Габриэля Форе. Французские городовые отдают честь немецким офицерам. На улицах появились рикши и вело-такси. Зеленые чины Гестапо разъезжают в машинах свинцового цвета. Мануфактурные магазины закрыты: мануфактура отобрана на нужды германской армии. Открылись немецкие книжные лавки со свастикой на свежеизготовленных вывесках. В витринах — портрет Гитлера на фоне Эйфелевой башни, и его том «Моя борьба», борьба, которую он никогда не выиграет.

Лорды держатся за Ламаншем, и французы, спустив шторы, втихомолку, упорно слушают по радио их голос. В Италии что-то не ладится; Бенито Муссолини переименован в Финито Муссолини. Студенты в Латинском квартале прицепили к петличкам макароны, обвитые траурным крепом. Троих из них расстреляли и 160 отправили в Германию на принудительные работы. Заглохший было Монмартр снова расцвел притонами и кабаками, цыганскими гитарами и балалаечной свистопляской, с шашлыками, с Шурами и Нюрами, с сарафанами, косоворотками, позументами и "man schpricht deutsch". Русская речь, притихшая в начале войны звучит сейчас особенно самоуверенно, самоувереннее французской.

Падает снег. Хвосты у лавок прикрыты тонким белым покрывальцем. Суровое небо, белые крыши, черные ветви и сучья, графика зимних дерев. В зимних сумерках есть что-то от Брейгеля. Автор еще мальчиком видел зимние сумерки через Брейгеля. Темное, охристо-серое небо, белые крыши и черные стволы, ветки, прутья, сучки, человечки, собаки, вороны, воробьи. Автор впервые увидел Брейгеля в Петербурге, на

Петербургской стороне, на Лахтинской улице — в доме своей возлюбленной, Зои Шохиной. Ему было тогда девять лет, ей — восемь. Их отцы беседовали о политике в зеленой гостиной, расположившись в капитонированных креслах черной кожи, под гравюрой брейгелевской «Зимы». А дети находились в самой картине Брейгеля, то-есть, в саду, в снегу, под сумрачным небом, среди черных дерев, на ветках которых кричали галки, а по забору прыгала сорока, осыпая с него легкий белый пушок. На мальчике был сбившийся на сторону башлык, на Зое Шохиной — красный беличий капор. Будущий автор этой повести от любви забросал возлюбленную крепким снегом, и она, плача, убежала от него навсегда, на всю жизнь — в деревянный, жарко натопленный дом, промелькнув за цветными стеклами сеней и галереи . . .

Старый Брейгель продолжает жить.

4

— Шнапс? — предлагает подавальщица.

Немец устраивается на диванчике, отстегнув кушак со штыком.

— Зубровки, перцовки или просто очищенной? — осведомляется голос из-за стойки, — зо? Одер — зо?

Ресторан Татьянушки Фаддеевны — «Березка» — существует по прежнему, разве что «меню» переправлено в «шпейзекарте», а рубленые котлеты — в «немецкий бифштекс». Разводы на стенах остались те же. Потолок, кажется, выбелен заново. Лихая тройка и шишкинские медвежата в сосновом бору — на своих местах. Треснувшее стекло на медвежатах не заменено другим. Стекло во Франции реквизировано для нужд германского вооружения.

— Вы, Марья Петровна, спросите с его побольше этикеток — снова шопоток из-за стойки: — у немцев этикеток хоть завались. Раньше были одне жиды, а теперь к им прибавились немцы . . . Павел Иванович, ну, как вы с деньгами — дыбруе?

Семейный разговор за стойкой принимает мирные столетние формы, журчит тихонько, комнатно, не мешая посетителям

обедать. Татьянушка Фаддеевна за кассой листает модный журнальчик.

— Вашей Оленьке, Татьяна Фаддеевна, конечно, всякий фасончик подойдет. А вот Марьяночка Ходюкова — не может. Давеча, за обедней, смотрю на ее: блюзочка хорошенькая, слов нет. Я шила. А лоптака-то все-таки вылазит... Рисуночек, что вы выбрали, по-моему, так себе: еще передний вид туды-сюды, а уж задний вид — совсем неинтересный. Мы лучше рукавчики смастерим кокильер, а уж юпочку — попроще.

— Нет, милая, с кокильерчиками вы уже себе оставьте, а Оленьке кокильерчики не нужны. Теперь не до кокильерчиков. Не до жиру, быть бы живу. Сошьем ей чего-нибудь голубенькое про каждый день, и слава Богу. Зиму проносит и ладно.

— Конечно, конечно. Только голубенькое к зиме как-то . . . не знаю.

— Ну да, ведь, можно и фисташковое с оттеночком, или марон-гласэ.

— Посмотрите, Татьяна Фаддеевна, пуловерчик! Пустяки фасончик! Какая-то дичь, по моему. Даже нельзя разобрать петлю: то ли пуэн-мусс, то ли тюнисьен, и — как-то глупо.

— Я, вообще, не люблю на спицах; гораздо лучше кроше. Да что там! Разговорчики в пользу бедных, все равно шерсть нынче стала совершенно энтрувабль. Немцы повезли в Берлин, а жиды — в ихний Либерзон. Прямо, как сговорились!

— Да, уж это действительно верно. Прямо как-то нереально. А тут еще, того гляди Америка ввяжется. Уж это действительно получается какой-то сплошной сиамский протокол.

В сентябре еще был в Париже борщ со сметаной. В октябре перевелась сметана, и борщ потерял свой вкус. Но и сейчас имеются котлетки, пельмени, моченые яблоки, соленые огурчики, блинчики с вареньем.

— Россия — хюпш! — говорит Павел Иванович немецкому посетителю в оправдание висящего над столиком "man schpricht deutsch", — Москва зер хюпш! Я был официрен,

кавалеристен — гоп, гоп, гоп — ферштейн? Франция — дрянь. Барахло народ. Скоро в Москву поедем — цузамен, гоп, гоп, гоп! Большевистен и жидам будем немножко чик-чик делать, давно пора. Их бин пятая колонна, ферштейт?

Павел Иванович для убедительности растопыривает пятерню левой руки, а правой хлопает по железной колонке, подпирающей потолок.

— С моей «Сиреной» — просто беда, — доносится из-за стойки, — нынче совершенно немысленно держать в доме собак. Она у меня одно жибье жрет: намедни, стерва, сожрала целого судака. Я очень дрожу за ее здоровье. Она у меня слабенькая, не вылезает из ветеринаров. Оленька сшила ей попонку, очень миленькую, из моей старой кофточки, такой пестренький ситчик в горошину...

За окном снежит серый, зимний день. Пахнет кухонным чадом. Павел Иванович подсаживается к завсегдатаям в картишки, к чаю. Здесь и князь Критский, и податной инспектор Волков, и господин де-Красильников, и невозвращенец Аким Филиппович Колмазнин и возвращенец Петр Петрович Климохин, неуспевший вернуться, но успевший заменить портретик Сталина портретиком Гитлера.

— В конце концов, что вы ни говорите, — откровенничает Павел Иванович, — а немцы нам как-то ближе, чем французы.

— Посмотрите, например, как они носят военную форму, говорит Аким Филиппович: гениально носят. Простой солдат, а у него каждое утро штаны проглажены.

— Да, — вздыхают слушатели, — это вам не здешние копеечники! Здоровый народ, нормальный народ, молодой, без химии. Таким бы — Россию-матушку на выучку!

И де-Красильников:

— Все к тому идет. Скоро, слава Богу, и мы — к пенатам. Ишь, наши дамочки приободрились, сделали индефризабли, накупили разных штучек для Москвы.

— Ныне отпущаеши...

— Какой веселенький ситец, Татьяна Фаддевна!

— Да, очень веселенький. Прасковья Федоровна, однако же, находит, что лучше, если бы клеточки были помельче и чтобы не коричневые были крапинки, а голубые... Вообразите себе: полосочки узенькие-узенькие... фон голубой и через полоску всё глазки и лапки, глазки и лапки, глазки и лапки... Словом, бесподобно!

— Милая, это пестро.

— Ах, нет! не пестро!

— Ах, пестро!

— Да, поздравляю вас: оборок больше не носят.

— Как не носят?

— На место их фестончики.

— Ах, это нехорошо — фестончики!

— Фестончики, всё фестончики: пелеринка из фестончиков, на рукавах фестончики, эполетцы из фестончиков, внизу фестончики, везде фестончики... шьется в два рубчика, широкие проймы и сверху падают снежинки, падают, падают, падают... Устанавливается мягкий санный путь. Ямщик, широко перегнувшись на спину, отстегивает полость. Под ногами в санках хрустнуло сено. Летят версты, летят навстречу купцы на облучках своих кибиток, летит вся дорога нивесть куда в пропадающую даль, гремит и становится ветром разорванный в куски воздух — — — —

— Мы с Мурочкой решили нашего мальчика (если, конечно, он будет мальчиком), назвать Адольфом, — доносится в последний раз голос Колмазнина, — Адольф Акимович, это, по-моему, очень гармонично... на данный отрезок времени... — (автор прислушивается) — ...рано или поздно, все равно придется его переименовать в Иосифа.

— Заладила сорока Якова! — долетает новый голос, и дальнейшие слова покрываются взрывом смеха, который, в свою очередь, гаснет в снегу, в крови, в реве пропеллеров, в грохоте канонад, в слезах, в человеческой истории.

5

Автор вдыхает сумерки Европы, снег постепенно темнеет, как темнеет от времени картина, как темнеет наша память, наша впечатлительность, наша совесть, — приближается ночь, мелькают ручные фонарики ослепленных темнотой парижских пешеходов.

Рукопись подходит к концу. Но прежде, чем сложить ее в потертый, старый чемодан с оторванной ручкой (вроде того, что лежал под кроватью у Данько-Даньковского), автор хочет снова вернуться к чужим словам: на этот раз — к словам Андрея Петровича Версилова. Вот что, семьдесят лет тому назад, после ужасно долгого отмалчивания, он вынудил из себя по вопросу о том, как кончатся современные государства и чем обновится социальный мир.

— Я думаю, — произнес он, — что все это произойдет как-нибудь чрезвычайно ординарно... Просто-напросто, все государства, несмотря на все балансы в бюджетах и на «отсутствие дефицита», un beau matin, запутаются окончательно, и все до единого пожелают не заплатить, чтобы всем до единого обновиться во всеобщем банкротстве. Между тем, весь консервативный элемент всего мира сему воспротивится, ибо он-то и будет акционером и кредитором, и банкротства допустить не захочет. Тогда, разумеется, начнется, так сказать, всеобщее окисление... А за сим все те, которые никогда не имели акций, да и вообще ничего не имели, то-есть, все нищие, естественно не захотят участвовать в окислении... Начнется борьба, и после семидесяти семи поражений, нищие уничтожат акционеров, отберут у них акции и сядут на их место акционерами же, разумеется. Может и скажут что-нибудь новое, а, может, и нет. Вернее, что тоже обанкрутятся. Далее, друг мой, ничего не умею предугадать в судьбах, которые изменят лик мира сего. Впрочем, посмотри в Апокалипсисе...

И вот, следуя завету Андрея Петровича Версилова, автор раскрывает Апокалипсис:

«У самого главного выхода стоял Угрюм-Бурчеев и вперял в толпу цепенящий взор... О, Господи, что это был за

взор!.. Человек, на котором останавливался этот взор, не мог вынести его. Рождалось какое-то совсем особенное чувство, в котором первенствующее значение принадлежало не столько инстинкту личного самосохранения, сколько опасению за человеческую природу вообще... На лице не видно было никаких вопросов, напротив того, во всех чертах выступает какая-то невозмутимая уверенность, что все вопросы давно уже решены... Может-быть, это решенный вопрос о всеобщем истреблении, а, может-быть, только о том, чтобы все люди имели грудь, выпяченную вперед на манер колеса... Известно только, что этот неизвестный вопрос во что бы то ни стало будет приведен в действие... Следствие такого положения может быть только одно: всеобщий панический страх...»

Электричество не горит. Свечей нет в продаже: стеарин отобран на нужды германского вооружения. При свете ручного фонарика автор перелистывает страницы.

«Город Глупов переименовывается в город Непреклонск. Над городом царит окруженный облаком градоначальник. Около него — шпион. Все дома окрашены светло-серою краской, и хотя в натуре одна сторона улицы всегда обращена на север или восток, другая на юг или запад, предполагалось, что и солнце, и луна все стороны освещают одинаково и в одно и то же время дня и ночи.

На площади — каменные здания: присутственные места и всевозможные манежи: для обучения гимнастике, фехтованию и пехотному строю, для принятия пищи, для всеобщих коленопреклонений и проч.

Всякий дом есть не что иное, как «поселенная единица», имеющая своего командира и своего шпиона и принадлежащая к десятку, носящему название взвода. Взвод, в свою очередь, имеет командира и шпиона; пять взводов составляют роту, пять рот составляют.... В каждом из этих подразделений имеется командир и шпион. С восходом солнца все в доме поднимаются и облекаются в единообразные одежды (по особым, апробированным градоначальником рисункам). Шпион спешит с рапортами. Жители идут в «манеж для принятия пи-

щи», где получают по куску черного хлеба, посыпанного солью. По принятии пищи, выстраиваются в каре и, под предводительством командиров, разводятся на общественные работы. Работы производятся по команде. Землю пашут, стараясь выводить сохами вензеля, изображающие начальные буквы имен тех исторических деятелей, которые наиболее прославились неуклонностью. Около каждого рабочего взвода мерным шагом ходит солдат с ружьем...

В этом мире нет ни страстей, ни увлечений, ни привязанностей. Все живут каждую минуту вместе, и всякий чувствует себя одиноким. Жизнь ни на мгновенье не отвлекается от исполнения бесчисленного множества обязанностей.

Жещины имеют право рожать детей только зимой, потому что нарушение этого правила может воспрепятствовать успешному ходу летних работ. Союзы между молодыми людьми устраиваются не иначе, как сообразно росту и телосложению, так как это удовлетворяет требованиям правильного фронта...

Праздников два: один весною, немедленно после таяния снегов (не 1-го ли мая?), называется «Праздником Неуклонности» и служит приготовлением к предстоящим бедствиям; другой — осенью (не в октябре ли?) называется «Праздником Придержащих Властей» и посвящается воспоминаниям о бедствиях уже испытанных. От будней эти праздники отличаются только усиленным упражнением в маршировке (к мавзолеям?).

Ночью над Непреклонском витает дух Угрюм-Бурчеева и зорко стережет обывательский сон.

Эти «поселенные единицы», все это, взятое вместе, не намекает ли на какую-то лучезарную даль, которая покамест еще задернута туманом, но со временем, когда туманы рассеются, и когда даль откроется...»

Частично туманы уже рассеялись, и многое из этих пророчеств уже знакомо на практике. Если, читая пророчества, автор настоящей повести осмеливается делать свои примечания на полях страшной и священной книги, то не потому ли,

что чтение пророчеств похоже на решение алгебраических задач, где таинственные иксы и игреки надлежит заменять привычными, понятными обозначениями, раскрывая скобки.

— Да, ведь, это совсем не Вельзевул, чорт возьми, и не Князь Тьмы, — восклицает обрадованный читатель, опускаясь на землю, — это просто Иван Иваныч Сысоев! Да и город Глупов, символизирует ли он только Россию, как думали когда-то наивные россияне? Не принимает ли он вселенские размеры?

Такие открытия ставят вещи на свои места, уничтожают трепет и душевное смятение.

Но заглядывать в слишком отдаленное будущее — преждевременно и небезопасно. У одного из героев Щедрина от подобного любопытства проистекли даже подергивания лица.

— Да-с, — говорил этот герой, — я озабочен-с. Посмотришь в эту закрытую для многих книгу — увидишь там все такое несообразное. Кружатся-с, рвут друг друга, скалят зубы-с. Неутешительно-с.

«Я знал, — добавляет от себя Щедрин, — одного мудреца, который даже зажимал нос, как только приходилось поднимать завесу будущего...»

Ночь.

Медные памятники генералов и Викторов Гюго переплавляются на нужды германского вооружения. Для тех же нужд срывают цинк со стоек в кафе и угловых кабаках. Опубликован декрет о свободной, ненормированной продаже золотых и серебряных бальных туфель и ортопедической обуви. Темные ползут слухи о том, что евреям нацепят для приметы желтые знаки на грудь, возьмут с них деньги за потраченный на знаки материал и потом будут сжигать живьем в каких-то газовых камерах.

Глухая ночь. Заглушенные удары зенитных орудий — где-то в стороне Виллакубле: лордам по мордам! Лорды держатся.

ЭПИЛОГ

Неожиданно заявился Володя Стручков. Он принес с собой кремлевский вид, выжженный на обрезке доски, когда-то, вероятно, служившей частью стола. Автор не встречался с ним больше года и признается, что забыл о его существовании. Стручков никогда не отличался полнотой; теперь худоба его была угрожающей.

— Ты, брат, что-то того, — сказал автор своему забытому герою, — вроде голодающего индуса.

— Товар малоходкий, — ответил Стручков, указав на вид московского кремля, — упал в цене. Иногда выгоняют. Бывает, что и по харе.

Они сели друг против друга и замолчали, по обыкновению. Стручков опустил голову и закрыл глаза. Автор не знал, с чего начать ненужный разговор, да и надо ли было вообще о чем-нибудь разговаривать: может быть отсидится, покурит и уйдет. По обыкновению. Но Володя Стручков не уходил.

— Я пришел к тебе рассказать, — начал он, — нет, ты постой, ты погоди, я тебя прошу! — заторопился он и даже встал со стула, заметив, что автор сделал нетерпеливое движение: — ты не имеешь права, ты автор, ты должен... Ведь, это я... это я...

Стручков заплакал. Если бы читатель видел, до чего Стручков безобразно плакал! Он выл и хрюкал, делал неистовые глотки и отрыжки, и было трудно определить, текут ли то слезы из глаз, или просто течет из носа, а с губы нависла длинная, тяжелая слюна и все никак не могла сорваться — то удлиняясь, то снова ускользая в рот, как размякшая макарона.

— Я давно хотел рассказать... как его... фрукт... художнику Райкину, — продолжал Стручков, — я ходил, я много раз... как это... Райкин не слушал... Я ходил потом к этому... к безголовому... к Даньке-Даньковскому, но он к тому времени уже повесился...

Володя Стручков рыдал.

— Это я, это я...

— Да что — все ты, да ты? Твой эгоцентризм невыносим! — крикнул, наконец, автор, не выдержав.

— Это я, — произнес еще раз Володя Стручков, заглотил окончательно слюну, так и не пожелав с ней расстаться, и перестал плакать.

Затем Стручков рассказал, что это именно он был тот небритый, что сидел подле хозяйской конторки в публичном доме за № 72 в день, когда араб Саид Бен Аршан совершил убийство, и что именно он, Стручков, в суматохе, украл из кассы 370 франков с какой-то мелочью, точную цифру которой ему не удалось установить, и что, следовательно, никто иной, как он, Стручков, является виновником незаслуженной казни араба.

— Это все? — переспросил автор, облегченно вздохнув и положил руку на плечо Стручкову: — а я думал, что ты — о чем-то серьезном. Глупый недоносок! Плюнь! Ты пришел ко мне с исповедью, я отпускаю тебе твой грошовый грех и бесплатно выдаю тебе индульгенцию. Больше того — постой! — вчера я немного заработал — мне было нечего жрать, и я загнал мою машину — так вот я даю тебе сто франчей, их тебе должно хватить на полгода. Теперь ступай, совершенствуй в тиши твой выжигательный сюжет, скоро он снова будет в моде, и ты получишь звание героя труда.

Володя Стручков взял деньги и вышел. На этом заканчивается повесть.

В комнате много прямоугольного. Автор любит прямоугольник двери: можно распахнуть, можно выйти. Площадка, лестница, ступени, поворот, еще ступени, снова дверь, квадратный двор, окна, кухонные ящики, небо, ворота. Тротуар. Прачешная что насупротив. Германский броневик. Перекрестки; оркестр расстроенных инструментов; прохожие; встречные-поперечные; солдатский обоз; собор; геометрия готики; корсетный магазин; гараж, окрашенный в желтое; картина Сальватора Дали; время; войны; эпохи; годы, которым мы так

много дали; любовь; рельсы; скорость; пространства; голубые дали; память; забвение; неверие; холод; биологический ужас расставаний; материалистическая тщета революций; заросшие пути; поросль; опушка; перелесок; роща; дубрава; бор; лес; чаща; тайга — Черное небо. Безмолвие. И Млечный путь — как продолжение пройденного.

Если, конечно, единственное слово в человеческом языке неисправимое, незаслуженное и не допускающее возражений —

смерть

(похоже на «смерч») —

вдруг окажется ложью.

Б. Темирязев

ЧЕТЫРЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

* * *

Когда я перед зеркалом стою,
Меня томит щемящее желанье
В него войти, проверить жизнь мою
Какой-то новой мерой расстоянья.

Наверно, если в зеркало войти,
Очутишься в пространствах небывалых,
Где всё не так, как на земном пути
И где быть может легче для усталых.

Там тишина конечно и покой,
А если где и сбереглись рояли —
То можно, не коснувшись их рукой,
Любое вспомнить, что на них сыграли.

Мне кажется, что там всегда светло.
Все зеркалá — хранилища сияний.
О, сколько в их глубинах расцвело
Земных огней и солнечных касаний!

Ты не найдешь там горестных могил
(Ведь зеркалам нет до трагедий дела!),
Но непременно ту, что ты любил —
Она так часто в них тогда гляделась!

Но как туда войти? Как отыскать
Запретный путь в такое новоселье?
Какое слово надо прошептать?
Поклясться чем? Хлебнуть какого зелья?

Вот так и смерть встает передо мной
На зеркало огромное похожей,
Такой же неподвижной и немой, —
И кто мне, кто в нее войти поможет?

Что если, дерзновеньем окрылен,
Я кинусь к ней и вдруг, в последней муке,
Лишь битого стекла услышу звон,
Увижу в кровь изрезанные руки?

А может быть простое слово есть?
Чуть слышное... И надо лишь неспешно
Приблизиться и слово произнесть...
И вот вошел я и уже не здесь,
А там, в краю зеркальности утешной!

* * *

На италийском мраморе плиты —
Простое имя и скупая дата.
Но почему остановилась ты
И вздрогнул я, смущением объятый?

Не потому-ль, что вновь коснулся нас
В своем захолодевшем начертаньи
На плитах всех повторенный рассказ
О жалком человеческом незнаньи?

Смотри: сквозь надпись проступает ложь!
Лгут имена! Нас всех зовут иначе!
Нам роздали их просто как пришлось!
Где то, каким в веках я обозначен?

И даты лгут! Нам миллиарды лет!
Не эти шестьдесят, не эти тридцать!
Обратно нам уже дороги нет,
Но впереди нам не остановиться.

Уйдем отсюда! Что нам говорят
Случайно здесь разбросанные плиты!
Пройдут века — и мы придем назад.
Еще мгновенье — и они разбиты.

* * *

Мы потому смотреть на небо любим,
Что поиски пространства — наш удел,
И навсегда дано в дорогу людям
Томленье душ и нетерпенье тел.

Так прежде мы на океан смотрели,
Материки предчувствуя вдали,
И бредили открытьями америк,
И в бездну вод кидали корабли.

Теперь опять томит нас жажда далей, —
Их древний зов в крови еще не стих!
И чтоб они нам звезды разыскали —
Кидаем в небо посланцев своих.

И только на какой-нибудь планете,
Где светят три смарагдовых луны,
Иль по дороге к альфе или бете
Какой-то звездной золотой страны —

Поймем мы наконец, что подвиг странствий
Загадок всех еще не разрешил,
Что мы забыли об одном пространстве —
Пространстве нашей собственной души;

Что миллиарды лет скитаясь с нею,
Мы к ней самой свой потеряли след,
И до нее нам дальше и труднее,
Чем до америк и до андромед!

* * *

Есть русское слово «родная»,
Которого нету нежней.
Где этого слова не знают —
На целую радость бедней.

В душе оно свято хранимо,
На людях его не слыхать,
И даже не всякой любимой
Его ты захочешь сказать.

Когда до последнего края,
Родная, с тобою дойду,
Когда на прощанье, родная,
Последнее слово найду —

То будет им снова и снова,
На всё мое счастье в ответ,
Вот это заветное слово,
Нежнее которого нет.

1960 *Д. Кленовский*

ПОЛЕТ

РАССКАЗ

Ершов шагал по аэродрому легко и радостно. Окружающее всегда вызывало в нем смешливое любопытство и непреодолимое желание как-нибудь созорничать, а в тот день на душе было особенно легко. Радовало, что его вызывали в штаб в самом начале скучных политзанятий, радовало осеннее средне-азиатское солнце и золотистый воздух, наполненный волнующим жужжанием самолетов. Ташкентский аэродром был его домом, вместилищем всех его интересов, служебных и дружеских. Остальной же мир, расположенный по ту сторону колючей проволоки, не имел к нему прямого отношения, и был известен «в основном» по «Правде», которую он, как молодой член партии, обязан был «прорабатывать» на уроках проклятой «словесности». Пятилетка? — здорово! Коллективизация? — очень интересно! Но всё это было чем-то «умственным», теоретическим. Захватывающую радость настоящей жизни он чувствовал высоко в небе, в вихре хлещущего, моторного воздуха, пахнувшего жженой касторкой, в фигурах высшего пилотажа или на потолке высотных возможностей своего Р-5, когда морозное небо темно-лиловое, а звезды при солнце сверкают как алмазы. Или в боевой операции, участником которой он был этим летом, когда по барханам разбегались испуганные верблюды и видны были собственно не верблюды, а только их прыгающие тени на песке и песчаные столбики от разрывов. Он не вникал, — что за восстание, да откровенно сказать и не имел времени на осмысливание. Приказано бить — значит бей. Служба, есть служба и рассуждать не приходится. Кара-Кумы он вспоминал как волнующую боевую тренировку по стрельбе и бомбометанию, но зная что списки по-

сланы, гнал от себя назойливую и, как ему казалось, непристойно-шкурную мысль: — А вдруг?.. — но тут-же успокоительно решал: — Ерунда! Не за что. Недавно шпалу получил, а тут ему и орден подавай!

По аэродрому, навстречу ему маршировал развод комендантской команды. При виде комбата, разводящий покосился на «мослов» и те затопали дружней. Ершов узнал разводящего и козырнув, хитро подмигнул ему. Именно этот белобрысый отделенный командир месяц тому назад конвоировал его на гауптвахту, когда он был еще в чине «архи-прапорщика». Дело случилось по глупости, когда они в выходной день учинили «на лужайке детский крик» в парке культуры и отдыха. Всё началось с детского воздушного шарика, соблазнительно зацепившегося за верхушку карагача. Стреляли конечно «в Божий свет как в копеечку», в шар никто не попал, зато все попали в управление коменданта города, после чего каждый из снайперов получил по двадцать четыре часа гауптвахты.

— Зачем я понадобился Вопиющему? — мысленно спрашивал себя Ершов. Он шел в политотдел, по срочному вызову комиссара бригады, того самого Вопиющего, к которому у него не было решительно никакого дела. — Неужели в связи с этим?.. Ершов отогнал неприятные мысли и постарался взглянуть на вещи юмористически. Вспомнилось красное, безбровое лицо, с приплюснутым носом и рыбьим ртом. Размахивая пухленькими кулачками и свирепо вращая свиными глазками, бригадный комиссар надрывно выкрикивал: — «За пятнадцать лет кадровой службы, я впервые вижу такое безобразие! Безобразие и позор! Каждое своевольное опоздание командование будет рассматривать как чрезвычайное событие! Это-же случай вопиющий!..»

Это было во время первого знакомства, и с тех пор вся бригада заглаза называла его «Вопиющим». Мелькнуло самодовольное чувство, что это именно он приклеил комиссару такую удачную кличку.

В воздухе загудело. Над аэродромом проходил развед-

чик с мишенью. На невидимом шнуре за самолетом неслась, сверкающая на солнце, полотняная труба. Ершов знал что сегодня стреляет третья эскадрилия. Знал он так же, что за штурвалом сидит старик Соболев. Летит как всегда один и как всегда безупречно. Неулыбающийся, с усталыми глазами, «старик» держался особняком и вся авиабригада относилась к нему по особому. По боевому опыту и теоретическим знаниям, инструктор учебного отдела Соболев давно должен был бы командовать полком, но так и остался с тремя кубарями. Бывший офицер, летчик с царских времен, он отказался вступить в партию, что со стороны орденоносца и участника гражданской войны, являлось прямым вызовом. — «Так и помрет старик в чине архипрапорщика», — сочувственно подумал Ершов.

В кабинет Вопиющего он прошел вне очереди. — Товарищ комиссар! Командир второй эскадрилии, комбат Ершов, по вашему приказанию явился!.. Вопиющий молча ткнул пальцем в свободный стул, и продолжал чтение. Ершов сел и приготовился к разносу. Его страшно интересовало, какими словами начнется разнос: «за пятнадцать лет кадровой службы», или «это-же случай вопиющий», но комиссар молчал, внимательно рассматривая бумагу. Ершов заметил что рука его дрожала и вдруг понял, что Вопиющий в панике. Мистический страх бригадного комиссара перед вышестоящим партийным начальством был широко известен и давал молодым летчикам неисчислимые темы для анекдотов. Пауза затянулась. Случайно покосившись на Вопиющего, Ершов неожиданно встретился с ним глазами. Из-за верхнего края письма его внимательно и испытующе сверлили серые прищуренные глазки. Вопиющий медленно опустил руку с письмом. — За пятнадцать лет кадровой службы... — начал он, и Ершов подавил приступ смеха, — За пятнадцать лет кадровой службы, я впервые встречаюсь с подобной петрушкой. Ты знаешь... — (ко всем подчиненным Вопиющий обращался на «ты»). — Ты знаешь, что это касается лично тебя! Приказание подписано комкором Апло-

ком!.. — и Вопиющий многозначительно поднял указательный палец. — Подписал лично комкор Аплок, начальник гарнизона!

Начальник гарнизона, долговязый латыш с тремя ромбами и страшными, белыми глазами, наводил ужас на командирскую мелкоту и объяснение с ним не сулило ничего юмористического. Ершову стало не по себе. — Отберут эскадрилию, — уверенно подумал он.

Вопиющий взглянул на часы. — Через десять минут ты поедешь на моем автомобиле в город. Но... но не в штаб округа, а вот по этому адресу. Потрудись прочесть...

В приказании значилось: «Комбату Г. С. Ершову явиться в 11 ноль-ноль в помещение ресторана гостиницы Интурист. Изготовить самолет к боевому вылету». Ниже следовала подпись: Аплок. После слов «ресторан гостиницы Интурист», в глазах у Ершова слегка зарябило. Он снова прочел приказание. Сомнений не было; он решительно ничего не понимал.

— Явиться... к кому?.. — растерянно спросил он. Комиссар смотрел на него «чубуком» и в свиных глазках застыли страх и подозрительность. — Вот об этом-то я и хотел тебя спросить. В чем дело? Почему в ресторан? Что они с ума сошли!

Ершов молчал, но в душе у него кто-то приплясывал и хлопая в ладоши подпевал: — Не отберут, не отберут, не отберут!..

Впервые в жизни он ехал на политотдельском фордике, развалясь на заднем сидении и чувствовал как всё внутри прыгает от взволнованного любопытства. Какое задание он получит? Кто встретит его там, в ресторане Интуриста и как ему себя держать перед этим могущественным начальством: рапортовать по уставу или вежливо, вполголоса, чтобы не привлечь внимания штатских посетителей ресторана. Вспоминались последние наставления Вопиющего, размягшего от великого страха. Провожая его по корридору штаба, комиссар взволнованным шопотом говорил, что это из ряда вон выходящее, чрезвычайное событие, и что Ершов может встретиться лицом к лицу с самим начальником Пуокр-а, и что может

быть даже в гостинице разместилось лицо из ВВС РККА или наркомата обороны, перед которым даже сам командующий округом, командарм второго ранга Павел Ефимович Дыбенко — человек подчиненный. И что он, комбат Ершов, как член партии и кадровый военнослужащий, должен оправдать доверие, не посрамить честь соединения и так далее. В последнюю минуту, когда он уже сидел в автомобиле, к нему снова подбежал запыхавшийся, бледный комиссар и наухо, чтобы шофер не расслышал, взволнованно зашептал: — Ко всему будь готов... Понимаешь?.. Может-быть иностранцы, военные атташе... так ты уж того... не растеряйся. И еще раз приказываю; как только освободишься — беги к телефону. Я буду ждать!.. Ершов не мог сдержать улыбку; всё это слишком смахивало на гоголевского «Ревизора». Вопиющий взорвался: — Ему, болвану дело говорят, а он ржет! Приказываю! Понятно?

Фордик подпрыгивал по булыжной мостовой Ташкента. Комбат рассмеялся. Его смешило, что он едет в ресторан Интуриста, — место заветных мечтаний молодых летчиков, манящее именно своей запретностью, причем едет по приказанию политотдела. Всё это слегка смахивало на сказку из тысячи и одной ночи. Вспомнил, что года два тому назад побывал в этом кабаке, и ему очень тогда понравилось. Зоя Грищенко, штабная машинистка учила его танцевать фокстрот, а потом выступал хор: — старинный цыганский романс: «Эх ты, Шарико, черноглазый мой». Вспомнился недавно слышанный анекдот, отражавший современный эстрадный репертуар: — старинный цыганский романс: «Эх вы, шарикоподшипники мои!»

Он еще раз мысленно перебрал все возможные объяснения этого странного приказания, и вдруг его осенило; комдив Крипа! Семен Фомич! Безусловно он! Безусловно его фортель! Как это раньше не приходило в голову.

Комбат Ершов был круглым сиротой, но был один человек, заменивший ему отца и покровителя в школьные годы, — комдив Крипа, боевой товарищ и закадычный друг его покойного отца. Они не виделись три года и не переписывались, но из газет Ершов знал что «крёстный», как он его шутливо

называл, занимает руководящий пост где-то в Киргизии и одновременно является членом реввоенсовета округа. Мальчишкой он был для него дядей Сеней, в дальнейшем Семеном Фомичем, и именно по его указаниям он стал военным летчиком.

На всю жизнь запомнилась ему удивительная командировка в Казахстан, три года тому назад, командировка тоже обставленная атмосферой тайны. Он со своим борт-механиком вылетели тогда на «удочке» в Казахстан, на озеро Балхаш, в устье Или, где расположилось бивуаком киргизское республиканское начальство для охоты на тигров. Лагерь был военизирован; саперы проложили дорожки, построили купальню и оборудовали посадочную площадку, взвод конных пограничников охранял территорию, связисты наладили радиосвязь и следили за радиоприемниками. В стороне, у опушки леса, под охраной часовых стояли автомашины, лошади для конных прогулок, собачник и ремонтная мастерская. Там же белели палатки обслуживающего персонала. Отдельно от них расположилась хозяйственная часть: кухни, склады, землянки-погреба забитые льдом, доставляемым издалека, с ледяных гор, палатки поваров и девушек-официанток из «Дома Красной Армии». Ближе стояла походная радиостанция и санитарная часть. Вся эта прислуга старательно обслуживала обитателей лагеря, состоящего из нескольких хорошо оборудованных палаток. Здесь отдыхала и развлекалась власть; пять или шесть громких имен, кому в полную собственность Кремлем была дана окраинная территория страны, именуемая Киргизской Республикой. Кто с женами, кто с секретаршами, но каждая палатка была «семейной». В одной из них расположился «крёстный», бывший тогда каким-то республиканским свадебным генералом. Это именно он вызвал Ершова, тогда еще совсем зеленого «унтер-прапорщика», для установления авиосвязи с республиканским центром. За три недели ему несколько раз пришлось слетать во Фрунзе за какими-то бумагами, требовавшими срочной подписи первого или второго секретаря ЦК или председателя республиканского совнаркома.

— Вот смотри, Ягорка, — говорил ему Семен Фомич, —

видишь всё это? Мог себе позволить такое бывший генерал-губернатор Туркестана, его превосходительство Кауфман? Нет, не мог. А мы можем!.. Потому — всё народное, государственное, дорого не стоит, да и люди-то все отдыхают здесь с радостью. Каждый красноармеец, каждый повар рад-радешынек. Отдыхай и ты, а то жизни в тебе на пятиалтынный, — на морде грусть и ребра обнажились.

Вожди катались на понтонах, купались, играли в волейбол, выезжали конным строем на охоту, но каждый вечер неизменно заканчивался великим пьянством. Водка подавалась со льдом, коньяки были отменные и как прошли эти три недели «Ягорка» отчетливо не помнил. Запомнилась сцена, когда чугунный Семен Фомич с хохотом шел к берегу, держа на весу за шивороты смертельно пьяных друзей: одной рукой — секретаря ЦК, а другой — киргиза, наркома юстиции. А кругом свист, улюлюканье и визгливый женский смех: — Купать, покойников, купать!.. Вспоминалась Клава, пышная блондинка, на которой всё трещит. Как выйдет к озеру, — радисты только вздыхают: — «Эх, хороша Маша, да не наша!..» Когда «крёстный» заночевал на охоте, она неторопливо подошла к нему и прищурила глаза: — Ну что, Ершов, все скучаешь?.. А он струсил, ушел к своему «аборт-механику» и напившись, говорил со страхом: — Да ну ее к чёрту! Спятила! Узнает старик, — голову откусит!.. Клава была секретаршей и комдив покровительственно называл ее дочкой.

С охоты привезли только кабанов. Ни одного тигра не убили, и даже наоборот, — тигр чуть не убил одного из пограничников. Республиканские вожди вернулись искусанные комарами, а пострадавшего с доктором отправили во Фрунзе. С горя вечером все так напились, что перепутали секретарш и была стрельба и визг, но на другой день порядок восстановился.

Запомнился последний разговор с комдивом; Ершов вылетал в Ташкент. Расставаясь, Ершов, на правах близкого человека, сказал, что ему удивительно что «крёстный» все еще «ходит в комдивах», и что забился в глушь, тогда как ему по-

лагалось бы жить в Москве. Семен Фомич терпеливо слушал и, как казалось Ершову, рассматривал его с ироническим удивлением. А потом из-под седых усов сверкнули золотые зубы. Улыбался он редко, но страшно, — что твой серый волк.

— Глуп ты еще, Ягорка, вот что... Подростешь — поумнеешь, — сказал он тоненьким бабьим фальцетом, с хрипотцой. Ершов хорошо знал, что это у него выработанная манера и что в случае нужды у «крёстного» появлялся голос, — «на подобие иерихонской трубы». — Москва, говоришь. Хе... А что я такое в Москве? Так себе, зауряд-генерал. Да и чинушки мне не по нраву. Кривляются с утра до вечера, выслуживаются. Не понимаешь ты этого, потому что дрессировку получил современную, вольного духа никогда не знал. А вот батька твой, тот бы понял... Окопались мы здесь, старички Божьи, живем у кормушки, выпиваем и закусываем. Да и киргиз при нас живет сыто. Не обижаем кочевника, — с кулаком воюем, а бедняка поддерживаем. Вот так-то... Москва, значит, нас за жабры, а мы скользкие, не ущучишь. Известное дело; сибирская кобылка, — ее ловить — она прыгать! Москва к нам ревизора, а мы его водочкой. Москва к нам гастролера, а мы его вокруг пальца, и от ворот-поворот, обратно в Москву. А в результате мы старички Божьи — снова у кормушки; выпиваем и закусываем.

— Ты вот пойми, — продолжал он серьезным тоном. — Мы здесь дышать можем. Друг другу доверяем, друг за друга держимся. Да и то сказать, право на то имеем; потому, — мы революцию делали, мы ее и защитили. Вот так-то... А Москва что? Да там, чисто на фронте, или скажем, на тигриной охоте; только и гляди чтоб на тебя из камышей кто не прыгнул... Нервы одни. Совести в той жизни нет. А старому поколению без совести невозможно. Потому, — за эту самую совесть, да справедливость и революция в России получилась.

Смысл сказанного Ершов понял гораздо позднее, восстанавливая в памяти и обдумывая эти слова. Тогда же он считал, что «крёстный» просто любит власть и кличку «освободителя Киргизии». По рассказам самого комдива он знал, что соб-

ственно никакого «освобождения» не было, — остатки белых отрядов без боев ушли в Китай, и популярность Семена Фомича связана с именем легендарного Фрунзе. Но он в душе прощал «крёстного» из-за состояния его здоровья. Дело в том, что при богатырской силе, Семен Фомич страдал припадками эпилепсии, — последствие тяжелой контузии. Еще мальчишкой Ершов был свидетелем этих припадков. Всегда неожиданно Семен Фомич грохался навзничь и повторялось все то же, оставившее у Ершова на всю жизнь неизгладимое впечатление; после первых конвульсий, во-время которых отец подкладывал что-нибудь под затылок своего друга, чтобы тот не разбил голову, Семен Фомич открывал безумные глаза и громовым голосом произносил зажигательную речь. Текст был всегда одинаков как на пластинке и заканчивался приказом об атаке. После припадка, «крёстного» укладывали на диван и через десять минут он виновато просил «чего-нибудь кисленького». Отец наливал ему полный стакан водки.

И хотя со временем эпилепсические припадки стали ослабевать, Ершов по-старому продолжал считать «крёстного» неизлечимо больным, чем и оправдывал его сидение в глуши. Запомнился разговор у самолета, когда он возвращался к себе в бригаду.

— Вижу, появляются у тебя проблески сознания, — говорил Семен Фомич, — хоть и дурень ты, но всё-таки уж не мальчишка. Так вот, слушай; пора тебе вступать в партию, но старайся быть достойным своего отца, и хоть трудно тебе будет, но стой за идеалы Октября, то-есть, за правду и справедливость. Вникай в смысл партийных директив, потому что не всегда они правильные. Имей свою голову на плечах и помни, что говорил твой отец; там правда, — где за простой народ.

Вспоминая эти слова Ершов мысленно разводил руками; попробуй тут «иметь». Тебе такое личное мнение пропишут, что забудешь какой губернии! Легко старому чёрту поучать... И как здесь разобраться — где они правильные, а где неправильные. Вопиющего послушать, так выходит — все директивы — лучше некуда.

Автомобиль остановился у подъезда гостиницы Интурист. Ершов не сомневался, кого он встретит в ресторане; «Крёстный» был большой мастак на всякие мистификации. Не ясно было лишь — с кем сидит комдив Крипа, — один или в компании. И Ершов представил себе как за столиком, сверкая орденами, сидит группа «зверей», вокруг которых, как обычно на почтительном расстоянии, на цыпочках ходит бледная от волнения администрация ресторана.

Он смахнул пыль с сапог, поправил пояс, и набравшись духа решительно вошел в ресторан. В полупустом зале были одни гражданские. Рапортовать было некому. Он растерянно остановился, не зная что ему делать. Подошедший официант подтвердил, что военных сегодня не было. И вдруг он увидел «крёстного». Комдив Крипа сидел в летнем гражданском пальто и перед ним на пузатом портфеле лежала «партикулярная» шляпа. Ершов наверняка узнал бы его с первого взгляда, если бы не роговые очки. Раньше «крёстный» не носил очков. Он сидел перед стаканом чая и просматривал какие-то бумаги. Ершов снял фуражку и подойдя вытянулся по уставному. Семен Фомич поднял голову и утрированно изумился: — Смотрите вы на него... Фу ты, ну ты!.. Из щенка цельный комбат получился!

Ершов сел и не скрывая радостной улыбки смотрел на «крёстного». — Ну, как в этом году на охоту ездили?.. Семен Фомич устало махнул рукой: — Какая там охота... — и взглянул на него поверх очков: — В партию-то перевелся?

Узнав что в партию «Ягорку» перевели, он удовлетворенно кивнул головой.

— Ну, а летать-то не разучился? Может-быть в штабе бумажки переписываешь?

Из дальнейшего разговора Ершов уяснил, что ему поручается разведывательный полет, что полет этот должен быть совершен сейчас же, и что сегодня вечером, на этом же месте, он должен сообщить результаты полета. Далее он понял, что это является секретным заданием, идущим от самого Средазбюро ЦК партии, и что штаб округа, непосредственно отдавая

приказание о вылете, не будет спрашивать у него результатов. Результаты он обязан доложить лично Семену Фомичу. Ершова поразило приказание о секретности задания даже от его собственного командования. Он не имел права говорить больше, чем официальную версию, что вылетает, мол, в район Кзыл-Орды, где в определенном месте обязан сбросить вымпел с секретным донесением.

— Вот твой маршрут, — говорил комдив, разворачивая карту. На карте красным карандашом была намечена извилистая линия полета от Ташкента на север, затем по берегу Сыр-Дарьи на северо-запад до Кзыл-Орды, и обратно, с неглубокими петлями на север, в Казахстан, до железнодорожной магистрали.

— Это примерный маршрут, — говорил «крёстный», — изменения его зависят от обстоятельств, которые ты сам увидишь. В принципе, ты должен лететь так далеко по берегу, как позволит бензин. Увидишь, что половина бака пуста, поворачивай домой. Пополнять горючее там негде. Не рассчитаешь, — значит назад не долетишь, а в степи сядешь — значит задание не выполнишь... и под суд пойдешь... короче говоря, к стенке. Понял? Время сейчас крутое, Ягорка, уж не взыщи. Так что, батенька, на бензин поглядывай.

— Что-же мне надо делать? В чем задание? — не выдержал Ершов.

— Считать-то умеешь?

— Ежели до десяти, то по пальцам, а коли больше, то разуюсь... — пошутил Ершов, но комдив остался серьезным. — Считать наземного врага учился, — так вот и считай. И чтобы в 19 ноль-ноль на этом самом месте лежала цифра. Понятно?

Ершов признался, что не совсем понятно.

— Ты, Ягорка, человек бывалый... Мне тут говорили, что в кандидатах на отличие ходишь, так что сам сообразишь что полагается. Прогулочка эта очень нужная... и для тебя хорошая политграмота будет. Многое поймешь, многое оценишь. Потому-то тебя и посылаю. Глаз здесь должен быть точным,

а нервы крепкими. Держись правого, северного берега и считай. Вот и всё тут. Цифру записал и дальше по бережку... Так-то, братуха. Полетишь, между прочим, один, без радиста. Понятно?

Ершов попросил уточнения; как надо вести подсчет, — целиком всех восставших или отдельно конных и пеших, и какие огневые средства в распоряжении противника, — какой высоты держаться? И почему без радиста-пулеметчика?

— Тебе стрелять не придется. Запрещаю стрелять. Зачем же тебе пулеметчик? Семен Фомич смотрел на него усталыми глазами и Ершов вдруг заметил как сильно постарел «крёстный» за это время. — А насчет кавалерии, так там ее нет... одна пехота. Так что считай и не бойся... в тебя стрелять никто не будет.

Ершов смотрел на «крёстного» бараном и чувствовал только одно, что самого главного ему не говорят.

Передавая конверт с фиктивным приказом на имя командира авиабригады, Семен Фомич сказал: — Помнишь, что я тебе говорил тогда... три года тому назад? Не забыл?.. Так вот сегодня полюбуешься как оно и что.

Через полчаса Ершов стоял перед командиром соединения и Вопиющим, и еще через десять минут поднялся в воздух, имея при себе вымпел с официальным приказом сбросить его в Кзыл-Орде. По инструкциям Семена Фомича, этот вымпел надлежало просто выбросить в реку, подальше от Ташкента.

Вернулся Ершов благополучно, на последних литрах бензина, и автоматически отрапортовав начальству, побрел к себе в общежитие. После невероятного, что пришлось ему увидеть, он чувствовал страшную усталость, в голове гудело и солнце светило как-то мутно. Всё вокруг казалось нереальным и знакомые очертания ангаров были как во сне; те, да не те. «А ведь так можно спятить с ума», с испугом подумал он. Всё это было противоестественно, нелепо и страшно. По северному берегу Сыр-Дарьи лежали трупы. Их было так много, что он сбился со счета. Местами виднелись одиночные тела, а на пе-

переправах, где обмелевшую реку можно было перейти вброд, лежали сотнями, все в одинаковых позах: лицом к воде, некоторые по пояс в воде, так что видны были лишь их ноги. Мертвые матери прижимали к себе мертвых детей, но несколько раз, когда он разворачивался и проходил эти места еще раз на бреющем полете, ему казалось, что дети шевелятся, цепляясь за мертвых матерей.

Он понял: случилось что-то страшное. В первые минуты полета над рекой он не сообразил — что за люди отдыхали на песчаных отмелях, потом вдруг понял и увидел, что весь берег до мутного степного горизонта усеян черными телами казахов. Потрясенный, он летел несколько минут без всякой мысли, и вдруг понял свое задание. Вернувшись к исходной позиции, он снова развернул самолет по течению реки, и сбросив газ на минимальную скорость, пошел над правым берегом, на северо-запад, на высоте четырехсот метров. Считал он приблизительно и каждую полсотню отмечал короткой чертой на планшете, а следующую полсотню отмечал перекрестной чертой. Получался крестик, что означало сотню. И за сотни километров проплывающей под ним панорамы, на песчанном берегу желтой реки, без конца и без краю лежали тысячи мертвых людей.

Видел он и живых. Они медленно шли на юг. Он отличал их по теням; две черных линии, под прямым углом, — вертикальная, это человек, а горизонтальная, это его тень на песке.

Когда уровень бензина приблизился к середине, он засек ориентир и развернувшись, пошел в обратном направлении. Тут, согласно приказанию, он углублялся на северо-восток, до железнодорожного пути и снова возвращался к реке. В степи он замечал отдельные трупы, но на буром фоне их трудно было отличить. Животных не было. «Съели баранов и верблюдов», пронеслось в его голове.

Но Ершов ошибался. Как это выяснилось позднее, кочевники-казахи шли на юг без животных. Верблюды и овцы были у них отобраны и согнаны в пять мест. Казахская степь немного уступает западной Европе, но немного. И в этих пяти

сборных пунктах кормить животных через неделю стало нечем. К тому же год был засушливый. Чтобы спасти положение следовало признать свою ошибку и рассредоточить табуны, но это было бы нарушением партийной директивы и грозило расстрелом. В поисках спасения от голодной смерти, казахи пошли на юг, и удержать эту лавину было выше технических возможностей. Казахи умирали от истощения; дойдя до воды, падали ничком и пили, а напившись уже не имели сил идти дальше. Из степи подходили новые толпы измученных людей, чтобы с жадностью прильнуть к мутным водам Сыр-Дарьи и оставив ослабевших, брести дальше, в заветный ташкентский оазис.

Власти растерялись. Из Ташкента приехала новая комиссия по сплошной коллективизации, и арестовав предыдущую, металась в поисках выхода. Тогда появилась третья комиссия, уже прямо из Москвы, от самого Сталина, и расстреляла предыдущую на месте. Но это никому не помогло; животноводческий, кочевой Казахстан был уничтожен.

Переодевшись, Ершов снова ехал в Интурист. Цифра держалась в уме, крестики на планшете были уничтожены.

— Вот, — говорил он Семену Фомичу, показывая по карте, и голос его, как ему казалось, противно дребезжал. — Вот здесь, у этой излучины я повернул обратно. Маршрут в одну сторону по прямой примерно четыреста километров. На этом участке — примерная цифра — двадцать три тысячи человек, а может и больше. Живых видел несколько сот; идут на юг, по берегу.

«Крёстный» кивнул и налил ему рюмку водки. — Продолжай, продолжай, только не громко...

Они сидели в пустом ресторане, за тем же столиком и казалось, что комдив весь день провел на этом месте, без движения. На самом деле у него был горячий день. Из его слов выяснилось, что никто в Ташкенте не знал что творится у них под-боком. Тревожные сигналы, связанные с ежедневной уборкой трупов казахов с площади старого базара, никого особенно не тревожили и только лично он, пролетая над ре-

кой, обнаружил размеры бедствия. Утверждения летчиков гражданской авиации подтвердились.

— Надо убирать, а убирать никто не хочет... — посмеиваясь говорил он хрипловатым тенорком, и только знавший его с детства Ершов понимал, что «крёстный» кривляется и что внутри у него все бурлит и клокочет.

— Я к Дыбенко, — дескать пошли саперный полк, Бога для, а тот, чёрт бородатый, ходит по комнате, матерится. — Не дам, — говорит, ни одного красноармейца! Ты что, — говорит, — опупел? Как же я после этого буду людям боевые патроны раздавать!.. И Ока Иваныч за него... Городовиков-то этот самый. — Иди, говорит, к Бауману, они заварили, пусть они и расхлебывают! А что Бауман? Маленький, да с пузиком! Одно слово, что Средазбюро, а как трудность, так и в кусты... Комиссию, говорит «учредил»! Хе!.. Комиссию!..

Ершова бил озноб. Все имена средне-азиатских вождей, при упоминании которых полагалось аплодировать, в простых словах Семена Фомича, становились маленькими, тусклыми и без декораций.

— Вся надежда на Файзуллу Ходжаева, — продолжал комдив, — этот парень не растерялся...

Но Ершов плохо разбирал слова. Откуда-то изнутри, медленно поднималось и охватывало его жгучее чувство стыда. Кровь ударила в голову, он тяжело дышал, не смея поднять глаз. И перед его мысленным взором панорама мертвого берега Сыр-Дарьи сменилась песками Кара-Кумов, на которых видны были не сами верблюды, а только их прыгающие тени и столбики от разрывов его бомб. Его, Жоржа Ершова!.. Боже мой!.. Что он сделал, как его обманули! Как всех их обманывают! Что это? Ведь это измена!

Он не мог точно определить — где именно и в чем эта измена, но безошибочно чувствовал это. Семен Фомич потряс его за плечо. — Вижу, вижу, Ягорка, трудно тебе... Знал я на что тебя посылаю, не пожалел. Это ничего, ничего... лучше сейчас, чем после. А что горько, что-ж... значит у тебя совесть есть, значит революцию правильно понимаешь.

Ершов овладел собой. Стараясь говорить ровным тоном, он спросил о самом главном, что буравило душу раскаленным сверлом; — Семен Фомич, скажи, — наша национальная политика, наша диктатура пролетариата, — это что — директива?..

Комдив сначала не понял, помолчал, а потом сверкнул золотыми зубами: — А, правильно... правильно вопрос поставил. Нет, голуба душа, — не директива, их приказом не отменишь.

И тогда Ершов, схватившись за углы столика подался вперед, и, пересиливая бешенные удары сердца, сказал задыхающимся шопотом: — Мне, Семен Фомич, всё равно... К стенке, так к стенке. Стыдно мне, что я русский... стыдно мне что я член партии!

Комдив метнул взгляды по сторонам, и убедившись что поблизости никого нет, успокоительно откинулся на спинку стула. — Стыдно, говоришь?..

Ершову не хватало воздуха. Все его мышцы застыли в напряженной судороге и он знал, что если этот, сидящий напротив человек, скажет хоть одно слово против, то он не выдержит и произойдет что-то страшное. Левым плечом он чувствовал привычную тяжесть револьвера.

Семен Фомич тяжело облокотился о стол; — Мне бы, Ягорка, сейчас три вещи: стенку, наган, да этого самого отца родного... — и в его глазах вспыхнули бешенные, озорные огоньки.

Ершов перевел дыхание и дрожащей рукой вытер вспотевший лоб. Всё в нем упало. Он чувствовал себя беспомощным, ничтожным, обманутым. Как в детстве, когда более сильные мальчишки отнимали у него любимую, заветную игрушку.

— Сейчас в Таджикистане восстание... — спокойно продолжал «крёстный», — Ибрагим-бек воюет. И лозунг им англичане подсказали правильный: «за свободу посевов культур». Разумеешь? Елдаши привыкли рис сеять... рис их кормит, а мы заставляем хлопок!.. Из Афганистана Ибрагим-бек пришел с двадцатью всадниками, а сейчас, через две недели, у него

пятнадцать тысяч! — Кавдивизия! Подумать только; районный центр, город Гарм взяли! Конфузия!.. Давай-ка, братуха, выпьем водочки, а то что-то морда у тебя приобрела цвет лягушки в обмороке.

Они выпили и Ершову стало неловко за себя; — «крепкие нервы у старого чёрта, — думал он, — вот с кого пример надо брать».

— Хочешь, Ягорка, я тебе смешное расскажу? Для разнообразия... Сегодня утром поехали операторы с местной кино-фабрики Чирчик-строй фотографировать. Взяли с собой инженера-консультанта и под руководством гепеушника поехали на автомобиле ГПУ на место, где через пару лет будет промышленность. Ладно... Остановились, значит, на мосту, аппараты свои расставили, смотрят, а на берегу-то мертвяки. Они в другую сторону, а там их еще больше. Санта Матрена!.. Гепеушник растерялся, — потому, никто там этого не знал, — приказал сматывать удочки, а вернувшись в город, с переляку-то, всех пассажиров прямо в кутузку! И начальству докладывает: что дескать делать; отпустить или в расход всех?.. Файзулла мне нынче рассказывал... Правда смешно?.. Вот, братуха, какие дела.

В ресторан вошли посетители, забегали официанты и «крёстный» акуратно поправил пальто, скрывавшее военную форму, затем, наклонившись к Ершову, быстро зашептал: — Помни, Ягорка, твоему поколению придется расхлебывать кашу, что мы старики заварили... народ за советскую власть, это верно... а партия свое дело сделала... пора и успокоиться, нельзя против народа идти.

Затем он сказал, что завтра вылетает назад в Киргизию, что здесь ему больше делать нечего, а во Фрунзе дел много; того и гляди там без него тоже «дров наломают».

Е. Петров-Скиталец

СМЕРТЬ

1

Хорошо, что смерть сметает
Наши легкие следы,
Хорошо, что облетают
Пожелтевшие сады;
Хорошо, что вьюга воет
Над заснеженной землей
И из всех часов покоя
Лучший, именно, зимой.
Хорошо, когда без страха,
Отжив свой недолгий век,
В прах, родившийся из праха,
Обратится человек.
Но беда, коли во злобе
И гордыне пред Творцом,
Он подумает о гробе
С исказившимся лицом;
У кладбищенской ограды
Богохульствует, крича,
Иль попросит вдруг пощады
В смертный час у палача, —
Или, ведая заране,
Все проклятья над собой,
Вдруг покинет поле брани
Потаенною тропой, —
Нет тогда ему покоя,
Безмятежного конца:
Смерть уж знает, что такое
Можно взять у беглеца.

2

Побледнею неожиданно, как мел;
Станет мало воздуха и света.
Что-то главное я сделать не успел, —
— Знаешь только ты одна об этом.
Перед казнью короток допрос,
А расправа и того короче.
Вот и жизнь слетает под откос,
Паровозом взорванным воочью.
Не о чем мне больше говорить.
Только бы пред смертью не согнуться,
А спокойно папиросу закурить...

3

Мне снился твой могильный крест,
Плющем и розами увитый;
Вокруг него лежат окрест
Одни безымянные плиты.
Нет ни ограды, ни ворот
И на заброшенном кладбище
Один лишь тополь стережет
Твое последнее жилище.
Кто здесь тебя похоронил,
Кто эти розы насадил,
В плюще цветущие кроваво?
И мне уже не жаль тебя!
Кто он, отнявший у меня
Мое единственное право?

4

В этом мире непрерывных удовольствий,
Увлечений, ликований и пиров,
Смерть приходит молчаливой гостьей
И садится у расставленных столов.
Без ответа; но и без вопроса,
Молча подвигается ко мне, —
Не уродиной костлявой и курносой, —
А соседкою приемлемой вполне.
И одной рукою наливает
В кубок драгоценное вино,
А другою крепко обнимает,
Будто мы любовники давно.
Я гляжу, не опуская взора,
В черноту ее бездонных глаз,
Неужели на вопрос мой: скоро?
Не ответит мне она: сейчас!

5

Опять приют знакомых мест.
Иду заросшею тропою.
И юный дождь и старый лес
Шумят о жизни надо мною.
Зайду под дуб, — и нет дождя.
Ах, эти капли дождевые,
Шуршащие, поющие, живые,
Победные над ветхостью плаща.

Николай Туроверов

ЗАЛОЖНИК*

Книга Вторая

Нежная кожа. Угар; семнадцать патриотов. Благословенна земля. Кошачья соседка. Китайцы. Пекло; священники и сладкое вино. «Что выражает мою сущность?» Синие слезы. Арктическая ночь. Земля будущего; собаки стали менее разборчивы.

1

Предполагалось, что Адриан вернется из своей поездки в понедельник; и Синтия, вечером после уроков, завернула к нему. Дом Адриана на Морнингсайд драйв (где черные волны Харлема размывали вулканические отроги колумбийского университета) был старинным, добротным, барским, с толстыми стенами, каких уже больше не выводят, но без лифта. Подчеркнуто легко поднявшись по широкой, отлогой лестнице на третий этаж, она у двери квартиры наткнулась на высокую, нарядную, сверкающую, северную и в то же время экзотическую женщину. Сердце Синтии дрогнуло и неверно застучало; в замешательстве, она серьезно, не по-детски требовательно уставилась на эту сухую и яркую незнакомку.

— Вы к Адриану? — покровительственно спросила Диана.

По акценту Синтия догадалась, что это иностранка и сразу успокоилась: у нее не могло быть личных счетов, борьбы, соревнования с чужими, посторонними представителями людского племени. Волноваться, внутренне страдать, ревновать, она могла только в кругу своих, понятных, равных, одноименных во всем. Синтия не играла в гольф или в бридж и естественно

---

* См. кн. 60 «Н. Ж.».

не имела притязаний на эти области спорта; но если бы ее побили в теннис — вот это уже другое дело!

— Да, а вы тоже? — ответила облегченно.

— Его нет, никто не отзывается.

— Сейчас все устроим! — весело откликнулась Синтия и, достав из коричневой сумки связку ключей, быстро отперла дверь; словно престидижитатор горделиво-торжествующе пригласила Диану пройти первой: та вежливо поблагодарила, неопределенно улыбаясь глазами.

Вскоре они решили, дожидаясь Адриана, выпить кофе. И Синтия захлопотала по хозяйству: ей доставляло удовольствие показывать другой великолепной женщине где хранится кофейник, сахар, чашки. Совершенно счастливая, даже сделала комплимент Диане и вполне искренне:

— Какая вы красавица и как вам идут эти бусы и серьги.

— Примерьте мой браслет, — с готовностью отозвалась Диана. — У вас замечательные руки, только слишком пустые, их надо оттенить.

И вот уже Синтия, сняв кофточку, уселась перед зеркалом, а Диана ей зачесывает наверх волосы, уверяя, что шею надо выставлять.

— Кожа нежная, — Диана рукой проводила по ее плечу. — Хороша, а волосы здесь вы напрасно бреете, я пришла к убеждению...

— Какие это духи? — восторженно спрашивала Синтия, целиком отдаваясь чарам и ноздри ее раздувались от запаха, похвал и прикосновений новоявленного друга.

Адриан вернулся только во вторник утром, усталый после бессонной ночи, но оживленный и даже, пожалуй, бойкий, вечером должен был состояться торжественный прием в его отделении, по случаю начала учебного года. Он рассчитывал отдохнуть и главное привести в порядок свои мысли, совершенно расползавшиеся, не поддаваясь укрощению. Адриан эти дни жил так, точно ему к определенному сроку надо обязательно что-то сообразить, додумать и принять ответственное решение! А между тем, все кругом, как в чаду, перепуталось самым без-

образным образом: любовь соседствовала с похотью и убийством, духовные волокна тянулись рядом с животными, не соединяясь и не противоборствуя. Изредка Адриан вспоминал задушенную девочку, но это не производило на него должного впечатления, все больше отступая, уходя в другой план, бледнея: мир казался состоящим из кривых, а не линейных протяжений, уводящих в совершенно незнакомое измерение. И хотя душа иногда начинала протяжно стонать, но сознание отставало и Адриан легко успокаивал себя сделанным, формальным выводом: ждать инструкций из центра.

Адриан только-только успел принять душ и расположиться по домашнему, когда раздался явно-конспиративный, двойной, короткий звонок; он сразу догадался — Диана. Она вошла торжествующая, праздничная, как этот яркий осенний день. Большого роста, она все же носила туфли на очень высоком каблуке и в комнате мгновенно стало тесно и беспокойно от запаха французских духов, которые (в противоположность гигиеническому Ярдлей, свойственному Синтии), волновали и дурманили Адриана. На ней был маленький котелок с вуалью, типа амазонки, и впечатление всадницы еще усиливалось тем, что правой рукой она помахивала ярким, оранжево-зеленым, шелковым шарфом (казалось, хлыст — только странно: не доносилось свиста). Диана сняла черную жакетку и осталась в светлой кружевной блузе с оголенными, классическими руками на которых позвякивало множество браслетов. Тяжелые серьги с зелеными камешками свисали вдоль крупного лица, придавая ему вид чрезвычайной устойчивости; а ярко накрашенные губы казались тоже декоративным придатком.

Адриан обнял ее, жадно принюхиваясь; она послушно и выжидательно застыла со смеженными глазами (от чего лицо ее сразу изменилось). Он расстегнул пуговицу кофточки и она тотчас же начала разоблачаться (опять поразило — непосредственно под юбкой, голое тело). Все было узко, длинно; чужой климат, чужой континент.

Путая французские слова с английскими, иногда вставляя немецкое «квач», Диана весело и дружески повествовала... Дело

развивается самым выгодным образом. Полиция совершенно убеждена в правильности своей первой догадки: два дня тому назад еще одна школьница подверглась нападению маньяка. Кроме того, установили, что бродяга с иностранным акцентом недавно расспрашивал в пивной о девочках, живущих по соседству: тогда на это не обратили должного внимания, а теперь вспомнили! Так что теперь самое главное ничего не предпринимать и не суетиться. Кстати, она вчера переехала уже в город, на Ист 80-ую улицу, отличная студия и дешево: — Придешь меня навестить?

— Я жду распоряжений, — неохотно, как затверженный урок, сообщил Адриан. — Пока только резвлюсь.

Это ее обрадовало. Голая, вытянутая, она была похожа на античный музыкальный инструмент.

— Сколько лет ты с нею знаком? — спросила.

— С кем? — встрепенулся Адриан.

— Cynthia.

Да, они встретились тут и сразу подружились. «Очень милая кошечка», — похвалила Диана и это весьма обеспокоило Адриана. — Я тебе должна многое рассказать про себя, — продолжала она, словно действуя по заранее обдуманному плану. — В конце концов мы тоже связаны, а ты ничего не знаешь обо мне...

О первой любви, о счастливом вторичном замужестве, о подозрительных сожителях во время войны, работавших на все контр-разведки, запутавшие и ее, так что она невольно оказалась виновницей гибели семнадцати не то евреев, не то бельгийских патриотов, о суде в Лилле и бегстве в Швейцарию (ее портрет печатался на обложке немецкого иллюстрированного журнала ввиде образца эльзаской арийки); о пристрастии к музыке: задумала оперу, где в подземельи, под звуки артиллерийской канонады, мечутся крысы в блестящих мундирах.

Адриана задело только одно место в ее повести. Мужа Дианы арестовали и она на втором месяце беременности убедила знакомого врача помочь ей избавиться от плода; но как раз в эти дни случилось так, что она сошлась с другим челове-

ком (предавшим впоследствии всех их) и решила повременить неделю-другую с операцией!.. В результате сплетения еще многих обстоятельств благополучно родила мальчика.

Он благодарно гладил ее большое, тонкое, породистое лицо с англо-саксонскими, заметными скулами и прямым разрезом утомительно светлых глаз. Диана полуфранцуженка, полунемка (или полуеврейка) с детства часто жила заграницей и так, путем мимикрии, избрала себе самую выгодную внешность для защиты.

— Какое это чудо, два тела рядом, вместе, если можешь это осилить, — неожиданно начал Адриан. — Как хороша утка с бургундским или омар с холодным шабли. Сколько благодати в пышных тропических фруктах или в северных яблоках, ягодах! А стакан эля летом, рюмка коньяку и кофе. Скач, виски, книга, когда весело пылает камин и пес со сна щелкает зубами, ищет блоху. Счастье жить, действовать, целовать, производить детей, скульптуру, фолианты, машины, открывать затерянные острова, откапывать испепеленные города, строить корабли, музеи, университеты, бороться с одним, защищать другое, из темного, сотворенного материала создавать светящиеся, небесные церкви, а потом пить вино, гулять с понятливою женщиной, воевать с близким врагом, если надо умереть на полпути или упокоиться в родном селении и знать, что всем это доступно, как открыто монаху благочестие, дипломату вежливость, торговцу прибыль, каждый может приложиться к дарам жизни, участвуя в дележе. Благословенна земля и ее святыни! — улыбаясь, он потянулся к столику и посмотрел на будильник.

Диана слушала снисходительно ласково. Она устала и не старалась его понять — только чувствовала, что это все ей метафизически выгодно и приятно.

— Но все-таки, сколько противоречий, — замедлил Адриан течение речи, словно готовясь круто повернуть в другую сторону. — Я люблю с детства Синтию, а сплю с тобою. И так у меня во всем: в религии, в морали, в науке.

— А может быть ты совсем не любишь Синтию? — горячо, но без злобы, подсказала Диана. — Что если это только

привычная ложь. Есть люди, которые не решаются переставить мебель в своей комнате, а съехать с квартиры совсем страшно! К тому же, ты можешь спать и с нею, мне это не помешает, я и тебе ничего такого не обещаю, — покровительственно продолжала Диана. — Она хороша личиком, но тельце у нее сухое, потому ты на нее только молишься. Впрочем, теперь она поумнела и начнет вешаться на шею: вот такие именно становятся развратницами.

— Не смей так выражаться! — счел нужным даже крикнуть Адриан. Но она только засмеялась.

— Поживешь, увидишь, и примиришься.

И Адриан вдруг испугался. Реально ощутил: действительно, все возможно. Он не видит больше ясного рубежа дальше которого отступать непозволено. Ведь изменения происходят постепенно, медленно, по ступенькам, по чайной ложечке, а там смотришь — до чего докатился человек и не особенно тужит! В самом деле, где гарантия, что он того то или другого не согласится перенести, уступить, понять, простить.

«А если, наоборот, перестать бороться с замерзшими призраками, дорогими, но в которых больше нет души. Отдаться течению и льдам, как в арктике. Это мудрость?» — недоуменно спрашивал Адриан.

Они вместе вышли; на лестнице почему то резче чувствовалось как нещадно палит солнце: приходилось рассекать густой, влажный и совершенно неподвижный воздух. Соседка поглядела горестно-завистливо на сытую, нарядную пару. Эта женщина во времена своего замужества занималась исключительно вязанием: даже гуляя, на улице. Адриан ее бывало встречал: слегка наклонившись вперед, стрелою несется по тротуару с клубком шерсти под мышкою и бойко-бойко, вслепую, сучит спицами. Однажды, клубок выпал из под локтя и покатился по плитам, а она бежала дальше, не замечая, растягивая за собою античную нить в лабиринте современного города. А потом она овдовела и обнаружилась ее другая страсть: кошки. Первого котенка подобрала случайно, у крыльца, изнеможденного, обиженного: через несколько недель появился при-

плод. И так далее, в геометрической пропорции. Кроме того, на пустырях слонялось множество романтических и голодных, мяукающих бродяг: надлежало поспевать и туда с горшочком требухи. Адриан ее иногда замечал в сумерках, среди требовательных и скользящих теней — она пробиралась, опасливо и тоскливо озираясь: весь околодок ополчился, жалуясь, что сбегающиеся коты мешают спать и представляют опасность для детворы. Чтобы сократить их мучения, она некоторых относила к ветеринару. Безболезненно усыпить — пять долларов. Когда ей пришлось отлучиться в госпиталь, она отдала кошек в пансион: десять долларов в неделю, со штуки. Днем соседка уходила на работу и коты бесились, дико скакали по квартире, вызывая нарекания чувствительных жильцов: она судилась с домовладельцем, так как по общей просьбе анонимов ее хотели выселить.

Для кошек она бы не задумываясь убила человека. Громко и горько жаловалась на преступность и жестокость людского рода. В связи с этими зверьми безусловно пережила некий духовный кризис и даже сделалась интегральной вегетарьянкою... Но кошки едят мясо, надо покупать печенку — эта трудная диалектика давала опасные взрывы в душе. Адриан, вначале питавший к ней чувство похожее на уважение, вскоре однако отшатнулся от этой уродливой святоши, всячески избегая ее паучье-трепетного взгляда.

Как обычно, он подчеркнуто учтиво поклонился, но соседка не ответила, возмущенно уставившись на яркую Диану.

2

Время приближалось обеденное и Адриан с Дианою очутились в знакомом китайском ресторане. Он часто туда наведывался, так что не удивился, когда хозяин, по-восточному сонно-любезно раскланиваясь, ловко оттер их в соседнюю комнатку, рядом с кухней. Там на деревянной скамье у стены, сидел прямой как доска, с бабьим лицом, плоский, рябой китаец, бледных, прозрачных красок. И вот уже Адриан с Дианой сидят за столом рядом с ним, а двое жирных, гладких китайчат,

кланяясь и точно катясь, несут дымящиеся миски с кантонскими яствами.

Диана пришла в восторг, ей все казалось частью богдыханской кухни. А Плоский беспрерывно хохоча и потирая руки, поддерживал светский разговор — то французским оборотом, то английской фразою, то, вдруг, русской поговоркою (как с козла молоко, от поклона голова не отвалится, ха-ха-ха); смех его не имел никакого отношения к содержанию речи, а скорее выражал внутреннее состояние самодовольства и восторга. Адриан, живший с отцом в Москве и в Манджурии, мог бы легко понять серого китайца, но бессмысленный страх совершенно внезапно парализовал его. Прислуга и хозяин удалились и Плоский, отхохотав, точно дав волю натуральной развязности, произнес длинную, вежливую, туманную и явно угрожающую речь (в конце опять ликующий хохот).

— Что вы хотите этим сказать? — прервал Адриан свое оцепенение. И от неподходящих ноток в его голосе, Диана сразу насторожилась и обвела внимательным взглядом подвальную комнату с толстыми решетками на окнах и тучными драконами на стенах.

— Будьте спокойны, я друг, ха-ха-ха, — всплеснул руками Плоский, и раскачиваясь точно его мотало ветром. — Поверьте, мы понимаем идеалистические побуждения. С волками жить. Но по первоначальному замыслу вы обязались донести на себя; нас удручает, что вы уклоняетесь.

— Произошла ошибка, жертва оказалась непричастной.

— Все жертвы таковы, ха-ха-ха! — его смех не выражал веселья или иронии: он был как жестикуляция, пауза или знак препинания.

— Получается абсурд, компрометирующий наше общество и поэтому я жду инструкций из центра, — аккуратно объяснил Адриан. — Как вам может-быть тоже известно, я совсем не испытываю укоров совести и это выбило из-под меня все подпорки.

— Не только из под вас: такова судьба современного общества, ха-ха-ха! — на этот раз Плоский осклабился. — И

отлично, покажем им до чего докатился пресловутый гуманизм. Кризис так называемой культуры ужасен, ха-ха-ха. Ваше преступление заставит многих отчаяться и пересмотреть соглашательские позиции. Любишь кататься, ха-ха-ха.

— Но я совсем не этого добивался, кажется! — возразил Адриан, а Диана выругалась сквозь зубы:

— Шут.

Китаец оскалил желтые зубы в сторону дамы и добавил с оттенком сожаления:

— Ха-ха, нам не хочется прибегать к угрозам, но ведь можно и донести. Чья бы корова мычала, ха-ха. Тогда обязательно на электрический стульчик, да и молодую дамочку за одно. Хотя женщине легче спастись, — галантно склонился он: — Если кстати забеременеет. Не до жиру, ха-ха.

Адриан бывал в Азии — от Владивостока до Малайского Архипелага: он знал эту сонную жестокость. От словечек Плоского, его кривлянья и порочных зубов повеяло близким, аккуратным и непреодолимым. Вспомнил так поразившую его давно, отвлеченную, вежливую бесчеловечность за которую никто не ответствен — как нельзя обвинять ветер, опрокинувший джонку. (Коричневый свет, одноименный; все плещется и все неподвижно).

—Но если вы донесете, — спохватилась Диана: — То он ведь может умолчать о всех сопутствующих обстоятельствах. Никакого кризиса не обнаружится и вы останетесь с носом.

— То-есть какие сопутствующие обстоятельства? — резко переспросил китаец, не успев засмеяться, и по его внезапному осмысленному взгляду Адриан догадался, что она нанесла правильный удар.

— Ну хотя бы что это идейное убийство, что он не раскаивается и так далее. Подумаешь, разложение общества, мало ли садистов! Накажут, а вам шиш!

«Музы, духи, святые, не оставляйте меня! — пропело в душе Адриана. — Пребудьте со мною хоть минуту ежедневно, Господь патриархов, блаженных и пророков! Громовержец

пастухов, земледельцев и работорговцев, слава Тебе! — раздавалось за кулисами. — Прекрасная дама рыцарей, монахов и менял. Отец нищих, ублюдков, шахтеров и ткачей, воров и батраков, помилуй меня. Феи сутенеров и поэтов окликните меня. Олимпийцы мореплавателей и завоевателей освятите! Ангел мой личный, веселый и сильный, явись и клянусь я стану зрячим».

— Шут, почему в китайских ресторанах такие гнусные дессерты? — донеслись издалека слова Дианы. — Вы что, у вас там совсем нет сладкого?

— Подумайте и дайте знать, — сказал Плоский, обращаясь исключительно к Адриану. — Вы меня здесь легко найдете. Нам не хочется торопить, но и слишком тянуть опасно. Как с бычком ни биться, ха-ха, — он приподнялся и низко кланяясь, как в русском театре, попятился на кухню, откуда через растворенную на мгновение дверь повалил такой пар, что непроизвольно возникало сравнение с бутафорским, средневековым адом или современным застенком.

Диана уже вполне успокоилась: она уверяла, что нашла надежную защиту.

— Я не понимаю, — думал вслух Адриан: — Они все знают, а власти ничего не подозревают и гонятся за легендарным маньяком...

Она не ответила; с озабоченным и неприступным видом накладывала крем, краску и пудру на щеки, губы, брови. Адриан улыбнулся своей мысли: вполне в состоянии теперь отправиться к другому знакомому и продолжать развлекаться. (Странное существо; трудно себе представить ее ребенком, под опекой отца, матери). Он бы охотно пригласил ее на вечеринку по случаю открытия занятий на факультете, но воздержался, так как еще утром решил, по возможности не сводить Диану и Синтию.

— Я буду сегодня работать над оперой, — заявила Диана и покровительственно чмокнула его в лоб. (Опять не условились о свидании).

Как душно; влажный, неколеблемый воздух, наполненный

химическими парами, гарью и пылью обжигает легкие. Гроза собирается что ли... Какая гроза в сентябре? Впрочем, Нью-Иорк.

Адриан опоздал к официальной части приема; предполагал сразу после речей скрыться, но теперь приличия требовали повременить. Раскланиваясь и обмениваясь замечаниями с ближайшими гостями, протиснулся к столу, где красовались бутылли с портвейном и шерри (напитки, которых Адриан терпеть не мог).

Отхлебнув из стакана, перекинувшись несколькими фразами с коллегами и убедившись, что Синтии нет (впервые за много лет), он уже ловко и незаметно, боком, отступал к дверям, когда два священника, — крупных и угрожающе приветливых, — загородили ему путь. Как записавшийся на курс полярных плаваний, я тоже присутствовал на торжестве и мог с расстояния трех шагов прислушаться к беседе.

Отец № 1 сказал:

— Если вам тяжело, церковь дает приют всем страждущим.

— В шторм только наша твердыня обеспечивает кров, — подхватил отец № 2.

Так они несколько раз обменивались ласковыми утверждениями, упорно уставившись на Адриана, словно желая показать ему фокус и требуя неослабного внимания.

Священники были влиятельными членами совета и у Адриана дрогнуло сердце. Смотрел, слушал, но не мог постичь о чем речь: впечатление, однако, создавалось, что они ободряют его и предлагают свои услуги. Рассеянно выпил залпом несколько бокалов вина, закурил чужую папиросу. Отцы внешне были совершенно различны: первый, мягких, круглых форм, второй — из резких, прямых линий... И все же в их наружности наблюдалось какое-то тождество (это действительно походило на фокус).

— Мы не совсем усвоили предметы вашего курса, — произнес уже другим тоном Шар.

— Однако, мы поддержали вас, — добавил Куб.

— Вы собирались назвать это Метафизикой Неведомых Земель...

— Но факультет не мог согласиться на такое наименование.

— Терра Инкогнита удовлетворила всех.

— А читать вы можете именно то что хотите, ваш конспект одобрен.

— Мы с любопытством будем следить за вашими лекциями.

— И не только за лекциями, хе-хе-хе.

Они закончили разговор в унисон:

— Мы желаем вам добра, у нас большие связи, доверьтесь нам.

Адриан не знал что отвечать и поэтому часто пил, подливая вино из любой подвернувшейся бутылки. Священники, вильнув шелковыми сутанами, взмыли, упорхнули, растаяли так же внезапно, как появились.

Адриану лучше бы прилечь; он давно уже не спал целую ночь на пролет в своей постели. Эта сладкая бурда, Дюбонет, китайский чай, ирландские священники. Его мутит и он боится шевельнуться: замер у пустого стола. Большинство гостей разошлось; пустые бутылки унесли, полуопорожненные заботливо спрятали. Хорошенькие студентки, щупленькие студенты подходили и задавали Адриану замысловатые вопросы: приходилось отвечать.

Ему все казалось лишним, незначительным, мелким, по сравнению с этой смертной истомою тошноты, обморока, агонии. «Вот вы говорите дух, чудо, — все-таки продолжалась работа в Адриане: — Если есть дух во мне, пусть он спасет мой организм от последствий дамского вина. Это гораздо более серьезно чем кажется. Ибо если я преобразиться теперь не могу, то тем паче позже и дальше, когда придется воспрянуть из смерти. Дух, дух! — взывал он, — Как вырваться из цепей естественного закона, причины и следствия, Фомы Аквинского и Гегеля? Разбойник сораспятый, помоги!»

И тогда к нему приблизилась Синтия: пришла, как всегда, одна из первых, но Адриан опоздал и она решила проведать больную подругу по соседству.

— Как ты, что ты, Адриан? — нежно обратилась к нему Синтия, закончив объяснение и вдруг смутилась: глаза ее удивлеиио и лукаво блеснули. Осторожно поддерживая, потянула его прочь из уже полутемного зала (бывало, она часто так уводила его от драк).

— Я очень озабочен, — важно сообщил Адриан. — Понимаешь, китайцы, потом иезуиты, все это действует на нервы.

— Да, да, сейчас, дорогой, — настойчиво теребила она его, смущенно отводя желтоватые, шаловливые глаза и подталкивая его вверх по лестнице (душный, тяжелый туман продолжал свое независимое существование). — Да, да, сейчас! — пристроила его на горячих, клейких ступенях крыльца и убежала: через минуту подкатил Олдсмобил.

— Не надо, могу пройти.

Но она усадила его и легко, плавно правя (совсем не в его стиле) домчала до дома; осторожно и уверенно повела Адриана по лестнице.

— Добл паркинг, добл паркинг, — пророчески покачивал он пальцем, гордясь своею сообразительностью.

Адриан немедленно пробрался в уборную. К счастью, он не замечал до чего душно и жарко; воздух, насыщенный раскаленной гарью, все уплотнялся и сгущался. Влажность достигала таких пределов, что казалось, еще немного жары (июльской) и город бы непременно задохнулся (иллюзия). Мертвые пары неизменно висели над камнями и одинаково тяжело было как в домах, так и на улице.

Он принял холодный душ и ему стало легче. Синтия вся засияла, заметив перемену. Попросив свежее полотенце, — болезненно чистоплотна! — тоже заперлась в ванной.

Они лежали на той же просторной постели. Пламенная духота одурманивала, парализовала. Адриан бессознательно любовался прикурнувшей рядом девушкой, которую знал и не знал почти вечность.

— Странно, — пробормотал: — Я хожу по чужим людям и рассказываю, что убил ребенка, а тебе еще не проговорился.

Она сразу насторожилась, приподняла голову с мокрыми кудрями:

— Мне Диана все объяснила.

— Какая стерва. А ты что?

— Не знаю. Кажется не совсем верю.

— И что с нею сплю с превеликим удовольствием, этому тоже не веришь?

— Нет, отчего же. Она чудная. Это я понимаю.

— Да? Вижу, что муж тебя многому научил.

— Что ты! — убежденно возразила она. — Какой муж. Мы уже разводимся: одной ночи слишком много. Я его не люблю. Я тебя люблю. И ты меня.

— А сплю с Дианой?

— Это ничего не значит.

— Убил ребенка, не раскаиваюсь и это ничего не значит? Могу красть, лгать, все делать, ничего не делать, все говорить, ничего не говорить, все думать, чувствовать и совсем не думать и не чувствовать... Что же я наконец такое, если ничто не выражает моей сущности? И почему эта сущность должна все-таки представлять из себя нечто положительное, ценное, неповторимое, божественное! Что же это такое, господа? — возмущенно обратился Адриан уже к многочисленным слушателям. — Ха-ха.

— Во всяком случае, запомни, — примирительно сказала Синтия: — Хэнк мне не муж и он это хорошо знает.

Адриан залюбовался ее обнаженными частями тела: они явно делились на две половинки — на внешнюю и внутреннюю (что его умиляло и пугало). Внешняя сторона ног, рук, плеч, была смуглая, закаленная, даже грубая; а внутренняя, — на тех же членах, — куда ветер, солнце, холод, не проникали, казалась белой, нежной, беспомощной, полной всяких чудесных возможностей повторения и размножения. Эта близость противоположностей и составляла таинственную прелесть живой плоти.

Синтия возмущенно и захлебываясь жаловалась: он не понимал о чем речь, так как не слышал начала. И вдруг Адриан в смятении отпрянул: из глаз ее быстро-быстро, словно ежики, катятся синие слезы, бегут по нежной, худенькой щеке и падают на белую наволочку, оставляя мутное, фиолетовое пятно. «Краска с ресниц», — не сразу догадался. Эти темные слезы показались по новому страшными и горькими.

Утешал ее как мог, целовал, гладил. Он совсем не заметил, что она начала краситься; и духи кажется другие (вообще, о многом не догадывается). Синтия сразу успокоилась и даже повеселела.

— Ну как ты там с Хэнком? — спросил Адриан. — Как тебе это занятие понравилось?

— Ах, забудь, это не имеет ко мне никакого отношения! — поморщилась она и встала, словно желая отряхнуться.

Она одевалась методично и быстро в свои незаметные, добротные вещи. Если бы ей заявили, что она всю жизнь покупала только самое дорогое и в двух, трех, всегда тех же, лучших магазинах, Синтия бы удивилась! А между тем, это правда. Адриан сам это сообразил только недавно, когда сопровождая Диану, начал шляться по разным закоулкам, базарам, аукционам, где продавали дешевые антики, импортированные ткани (слегка бракованные), чуть-чуть помятые знаменитые шляпы. (Диана питала страсть к таким заведениям и к разного рода дешевкам).

Синтия простодушно оправляла волосы перед зеркалом; каждая женщина имеет особое лицо для зеркала: когда критически и притворно недоброжелательно, — точно глазами посторонних, чужих, — оглядывает себя перед выходом. У Синтии такого лица не было: она смотрела на себя доверчиво и дружески, не ожидая излишней, несправедливой критики и не готовясь к отпору.

4

Адриану пришлось денька два отлеживаться у себя в чулане: была у него сзади такая полутемная комнатушка, где хранились пустые чемоданы, спортивные принадлежности и письменные работы студентов прошлых лет.(Свет ему почему то мешал, резал глаза). Синтия и Диана дружно за ним ухаживали, прикладывали лед, готовили жидкую пищу. На них эта история подействовала даже ободряюще: решили — худшее позади, надо только смириться, молчать и все уладится (влиятельные инстанции помогут). В этом духе они и действовали, что даже возмутило Адриана... «В старину, бывало, дамы настаивали, чтобы герой раскаялся и понес наказание, часто разделяли с ним горькую участь и следовали на каторгу. Теперь и это изменилось: вся душевная ткань незаметно переродилась».

По-настоящему напуган и озабочен был только один Нарцис. Впрочем, он проявил все свое искусство и поставил больного на ноги ко дню начала занятий. Опоясанный пластырем, Адриан медленно вошел в аудиторию, где его ждало десятка два студентов. Тогда я еще не слышал о всех этих предшествовавших злоключениях и поэтому меня удивила его напряженная, прусская (под корсетом) выправка и некоторая расплывчатость выражений, вообще не свойственная характеру Адриана.

Лето 1811 г., служащий купцов Лаптевых, Яков Санников, как всегда проводил на Новосибирских островах, собирая в пластах ледникового периода мамонтову кость. Сезон выдался на редкость неудачный, бивней найдено было недостаточно; но больше всего удручал Якова навязанный ему спутник — Геденштром. Ученый изъяснялся по-русски удовлетворительно, но Яков Васильич постоянно напрягался слушая его речь, казавшуюся ему подобной фокусу и от этого непривычного усилия весьма уставал. Влиял, впрочем, и самый характер бесед. Яков Санников знал, что туши мамонтов лежат в мерзлом слое уже многие тысячелетия — может быть со времен потопа... Немец утверждал, что не менее 15-ти тысяч лет и это неприятно поразило Якова, верившего, что мир сотворен 5000 с чем то

лет тому назад. Протягивая ему зеленый стебелек, Геденштром улыбаясь спрашивал: — А это что есть?.. Яков Васильич, мельком глянув, сердито отвечал:

— Травка под снегом живет, а совсем на дерево похожа.

— Сие и есть дерево, — бубнил чужой. — На родине нашей всем ведома ива: то дерево от скудной жизни и превратилось вот в сие.

Смотрит Яков Санников и действительно — ива! Малюсенькая, а все как полагается, до мелочей!

Не хорошо себя чувствовал Яков, только ждал: скорее бы лету конец! И вот раз в начале августа, в ясный тихий день, Санников, выйдя к северной оконечности острова Котельного, заметил вдруг впереди, справа, очертания неизвестного островка, а вдали (на север и немного к западу) какую-то большую и чудесную землю: высокое плато, похожее на прямоугольник, нежно подступающее к мраморному небу.

Санников в компании с немцем попытались на нартах подойти к отчетливо обозначенной «высокой» земле, но это не удалось: дорогу преграждали торосистые льды и большие полыньи. По словам Якова, им оставалось проделать только каких нибудь 20-25 километров до цели, когда пришлось повернуть. Возвратившись осенью на материк, Санников доложил по начальству о замеченной гористой земле. На первой карте Новосибирских островов, составленной в том же году, показаны два острова с надписью: — «земля виденная Санниковым». Рапорт о новом открытии был отправлен в Петербург, но у русского царя в это время оказались другие заботы: Наполеон гостил в Кремле, горела Москва и одного из императоров ждала гибель.

В 1822 г., лейтенант Анжу, составлявший подробную карту Новосибирских островов, старался пройти тем же путем к неизвестной земле, но безрезультатно. Он высказал соображение, что к неведомому острову можно пробраться только на лодке. Такая затея, по тем временам, казалась слишком рискованной; постепенно интерес к земле Санникова остыл, она исчезла с географических карт, хотя и не была совершенно за-

быта. И когда весною промышленники видели косяки диких птиц, — на Котельном не водящиеся, — тянувшие прямо на север, они неизменно улыбались и со вздохом говорили: — Вишь, на землю Санникова летят.

В 1881 г. в тех краях дрейфовала неудачная экспедиция капитана Де-Лонга, одна из самых трагических в истории Арктики. 11-го июля был замечен остров неподалеку: после 18 дней гомерических усилий удалось подойти к берегу. В сохранившемся дневнике Де-Лонга имеется следующая запись: «I have to announce to you that this island towards which we have been struggling for more than two weeks is newly discovered land. I therefore take possession of it in the name of the President of the United States and name it Bennett Island. I now call upon you to give three cheers».

Достойно внимания, что никому из этих усталых людей, самоотверженно прокричавших трижды ура, не суждено было вернуться домой.

Но остров Беннета, открытый Де-Лонгом на 76°38′ северной широты, вполне совпадает с островом, виденным Санниковым к северо-востоку от Котельного и обозначен на русских картах 1811 года. Если данные Санникова верны в одном направлении, то не значит ли это, что и «возвышенное плато» к которому он приблизился на расстояние 25 километров, тоже существует... Так опять ожила Земля Санникова.

В 1881 г., серьезный ученый, исследователь полярных областей, барон Толль, находясь на северной оконечности Котельного, увидел вдруг отчетливые контуры четырех плоских столовых гор, к которым с востока примыкало низкое предгорье. В 1893 году, во время своего вторичного путешествия, Толль опять узнал эту землю: четыре плоские высокие горы, покрытые снегом. Он запеленговал их. Именно в это время, барон, помог Нансену запастись остяцкими собаками и соорудил два продовольственных склада на островах Котельном и Малом Ляховском (на случай катастрофы с Фрамом).

И в том же году, Фритьеф Нансен отплыл на своем легендарном корабле. Чтобы разрешить трудное полярное уравне-

ние, Нансен намеревался раскрыть скобки и переменить все знаки на обратные: не бороться со льдом, а всецело отдаться его воле... Враждебная стихия окажется вдруг попутною; льды помогут ему, а не помешают, продвинуться дальше, дальше на север, быть может к самому полюсу (а если нет, то течение должно вынести Фрам к Шпицбергену, куда выбрасывает обломки потерпевших крушение полярных судов). Мысль простая и достойная подражания в других плоскостях жизни и смерти: исследователи, экспериментаторы, пророки, воины, поэты, биологи, астрономы, в трудных положениях, меняйте знаки на обратные!

«Все идет хорошо и если так будет продолжаться, — заносит Нансен в дневник: — То мы достигнем земли Санникова, до сих пор еще не исследованной».

Фрам плыл к северо-западу, вдоль кромки массивного льда и экипажу чудилось, что земля совсем близко — так как встречалось множество различных птиц. Они видели перелет куликов, следовавших некоторое время за кораблем, а затем продолжавших свой полет на юг: ясно, что птицы летели из страны, расположенной к северу! Но из за полога тумана, висевшего над льдами, ничего похожего на остров различить не удавалось. Несколько раз попадались стаи маленьких куликов, свидетельствовавшие о близости земли; но и в последующие дни, хотя погода прояснилась, берег так и не обнаружился. Они достигли уже 77°44′ и Нансен заносит в дневник: «Мы находимся теперь гораздо севернее того места куда барон Толль перенес на карту южный берег земли Санникова и приблизительно на той же долготе».

Впоследствии, ознакомившись с этой записью, Толль объяснил, что Нансен в это время находился не севернее, а южнее земли Санникова, так как на его черновой карте 1887 г., положение острова было указано неточно... Соображаясь с формою и высотой виденных гор, барон рассудил теперь, что плато Санникова должно отстоять на 175 километров к северу от Котельного и его южный край находится примерно на 78°.

А между тем, Фрам все крепче и звонче вмерзал: кругом

льды, льды, льды и классическое полярное небо — мутное отражение молочных ледяных полей.

«Я никогда не мог постичь почему эта область осуждена оставаться пустынной и необитаемой? — сознается Нансен. — К чему вся эта прелесть, если нет существа способного ее оценить? Но теперь я начинаю постигать: это земля будущего! Тут соединилась красота и смерть, но для какой цели? Требуйте ответа, если угодно, от усеянного звездами небесного свода».

Здесь поставлен вопрос, выходящий за пределы кассического школьного курса, но которому мы должны будем уделить внимание. Пока отметим следующее... Льды являются несомненным прошлым земли и ее вероятным будущим. Они прекрасны; но если нет разумного существа, способного оценить это великолепие, то все становится сразу бессмысленным и даже страшным. «Для какой цели соединилась красота и смерть?» Кто ответит? Звездное небо над нами и нравственный закон в нас? Это немецкая выдумка, Нансен по старой привычке ссылается на нее, но она его уже не удовлетворяет.

Однако, не случайно, Нансен, сын противоречивого века, впоследствии посвятил себя делу защиты беженцев: кормил их, одевал, даже паспорт эмигрантов носил его имя. Ибо, если не спасти, не сохранить человека, способного оценить величие, красоту и добро жизни, осаждаемой смертью, то к чему же тогда и величие и красота и добро...

Дальше, пытаясь достигнуть полюса, Нансен, с несколькими спутниками, покинул благополучно дрейфующее судно и на нартах двинулся прямо на север; ему пришлось кормить свои упряжки собачьим же мясом: таким образом, он рассчитал, удастся продержаться в пути около 50 дней.

«Вчера вечером мы убили больную собаку; трудновато было снять шкуру. Это первая собака, которую необходимо было убить; потом такие случаи участились. Это оказалась самая неприятная задача из всех выпавших на нашу долю; особенно вначале, когда было так холодно. Мы разрезали первую убитую собаку на куски и разделили их между псами, но некоторые из них предпочли голодать всю ночь и не притронулись

к мясу. Однако, с течением времени, когда изнурение достигло большей степени, собаки стали менее разборчивыми и приучились к этой пище, хотя мы потом уже не давали себе труда сдирать шкуру с убитого животного и обрекали его на съедение вместе с кожей и шерстью».

В этом кратком отрывке скрыты символы нашего развития за последние пятьдесят лет. Дневник Нансена полон отступлений, характерных для 19-го века. «Когда я вспоминаю, о всех этих великолепных животных, которые безропотно трудились для нас пока они были в состоянии шевелить мускулами... я испытываю горькие упреки совести... Вчера мы не убили ни одной собаки, так как еще оставалось две трети убитой накануне Улейки».

Романтический век, век преступлений и раскаяния, угрызений совести, самоистязания, показных и искренних слез. На смену ему пришло нечто попроще. Больше нет раскаяния и тем самым нет преступлений. Лицемерие, ханжество, притворство! где вы? Как уютно было жить под вашей сенью. Но вперед, вперед, мы путешествуем по тотальному графику и не можем тормозить у каждого живописного полустанка.

В 1911 г., Р. Амундсен, — моложе Нансена всего на девять лет! — ринулся открывать южный полюс. «В расписании, составленном перед окончательным отправлением на полюс, — свидетельствует он; — Я точно установил день, когда следует застрелить каждую собаку, то есть момент, когда она переставала служить средством передвижения и начинала служить в качестве продовольствия. Это обстоятельство явилось главным фактором успеха и нашего счастливого возвращения к исходной базе». Так было положено начало плановому хозяйству.

Действительно, Амундсену удалось обогнать экспедицию Скотта (джентльмена явно уже не ко времени); он достиг полюса на целый месяц раньше англичан и считался победителем. У ледника, носящего колоритное имя Дьявола, между 85° и 86° южной широты, Амундсен убил 24 собаки и оборудовал большой продовольственный склад. «Раздался первый выстрел. Я не нервный человек, — считает нужным сообщить

Амундсен. — И я лично дал пример и начал это дело. Выстрелы следовали за выстрелами... Это место мы назвали Бойней. Мы решили провести здесь два дня: отдохнуть и подкрепляться собаками... Мясо, разрезанное на части, выглядело очень аппетитно. По совести, никакая мясная не могла бы похвалиться лучшей витриною... Мясо на вкус отличное и одна котлета за другою уничтожалась с молниеносной быстротою: конечно, хотелось бы, чтобы они были помягче, но нельзя требовать слишком многого от собак. За этой первой трапезою, я сам уничтожил пять котлет и напрасно заглядывал в пустую миску, ожидая добавочной порции»,

Все остальное развивалось согласно плану и судно с экипажем в целости и сохранности вернулось на родину. Защищаясь от некоторых скучных упреков, Амундсен писал: «Капитан Роберт Фолкон Скотт и его спутники погибли по дороге назад с полюса не потому что они были потрясены тем, что мы их опередили, а от буквального истощения, ибо они не сумели обеспечить себя достаточными запасами провизии».

В палатке, где замерз Скотт со всей полярной партией, сохранился обожженный морозом дневник капитана. Эти записи по сей день испускают тепло. «This method of using dogs is one which can only be adopted with reluctance. One cannot calmly contemplate the murder of animals which possess such intelligence and individuality, which one has learned to regard as friends.»

Великие физиологи и экспериментаторы прошлого разумеется все прибегали к вивисекции. Но вопрос этот разрешался ими не без борьбы и колебаний. В этом разница. И в старину совершались преступления, но они признавались за таковые и творились только in extremis; теперь же государство их заранее планирует, используя как часть своего золотого запаса и узаконивает их. Клод Бернар, Пастер, Павлов любили очередную, знакомую подопытную собачку, обезьянку, свинку, лично встречали их, даже грустили расставаясь. Но о какой печали может быть речь теперь? В большой фабрике лекарств ежедневно прививают культуры тысячам животных.

Штаб ученых занят главным образом письменной деятельностью; нанятые девицы за 35 долларов в неделю впрыскивают все, что им дают в руки, куда им велят и как прикажут. Барышни при помощи счетных машин классифицируют результаты; техники пересылают отчеты администраторам. Кто занимается глобальной вивисекцией? Рокфеллер, дающий деньги? Директор правления, подписывающий бумажки? Начальник отдела рекламы, инспектор, инженер, машинист, негр, моющий стекла или баба, подкармливающая бесхвостых белых мышей? Кто ответствен? Кто автор труда, сыворотки, атомной бомбы? Кто страдал, сомневался, молился, рисковал жизнью, кто наконец победил? Творческая отвага, отчаяние, отрада? Глупости. Канцелярия. Больше нет личной ответственности; исчезают контуры совершаемого зла и вместе с этим исчезает и состав преступления. В одну осеннюю ночь, инженер или художник убивает ребенка или жену и убеждается, что это совсем просто и принципиально знакомо по предыдущей деятельности.

Во время нюрнбергских процессов, я встречал так называемого Бельзенского Зверя, главу образцового немецкого концлагеря; до 1932 г. Иосиф Крамер служил бухгалтером и все знавшие его тогда в Аугсбурге засвидетельствовали, что он почитался там примерным отцом и мужем. Покойного г-на Крамера обвиняли в убийстве сотен тысяч несчастных. Ряд очевидцев подтвердили, что в определенную ночь он умертвил газом 80 тысяч душ. Г-н Крамер отрицал... Из этих 80-ти тысяч он в лицо видел только 800, а лично убил не больше 180: все они, согласно существовавшим законам провинились и подлежали наказанию. «Представляете ли вы себе место, которое занимает такое количество трупов? — заявлял Крамер. — А время, которое потребуется для их уборки?» Как можно обвинять одного человека! «Я душил их газом, подавая ядовитую жидкость в камеры, — объяснял Крамер. — Эти бутылки мне дал профессор Hirt. Я получил соответствующий приказ и выполнял его. В таком духе меня воспитали».

В безличной современной фабрике смерти тонет все: и

грех и палач и быть может жертва. А на кого работает время указывают вещие слова Нансена, недостаточно оцененные: «Когда мы разрезали первую убитую собаку на куски и разделили между ее товарищами, то некоторые из них предпочли голодать всю ночь и не притронулись к мясу. Но с течением времени, когда изнурение достигло большей степени, собаки стали менее разборчивыми и приучились к этой пище». Что здесь речь идет не только о собаках видно из дневника Амундсена: «Некоторые из наших спутников в начале не соглашались принимать участие в пиршестве. Но с течением времени, под влиянием голода, они изменили свое отношение. А на обратном пути, за несколько дней до прихода к складу, прозванному Бойней, мы все думали и говорили только о собачьих котлетках, о собачьих бифштексах и тому подобном». И тому подобном.

На этом Адриан закончил первую лекцию. Студенты, собравшиеся на его не совсем обычный курс, были с разных факультетов: одни изучали социологию, другие психологию, а некоторые даже словесность; учеников океанографической школы можно было отличить по их чрезвычайной моложавости, поджарой сосредоточенности и еще по тому, что они почти не вели записей, считая сведения интересными, но не обязательными.

Что касается меня, то я старательно отмечал в тетради все относящееся, хоть в какой то мере, к этой таинственной стране Санникова.

В. С. Яновский

РАЗНОСТОПНЫЕ ЯМБЫ

1

Я говорю слова простые эти
Сгорая откровенностью — до тла:
— Мне кажется, нельзя на свете
Счастливей быть, чем я была.

Весельем и волненьем ожиданья
Сияет каждый новый день и час.
Без сожаленья, без воспоминанья,
Без пышных фраз,
И без прикрас,
Всё для меня всегда, «как в первый раз».

Я жду всегда несбыточного чуда:
Волхвов,
Даров,
Двугорбого верблюда,
Луны, положенной на золотое блюдо
И, главное,
Читательской любви.

2

Печальнее печального,
Реальнее реального,
Сознанье — жизнь прошла.

Ну, что-ж? Поговорим
О доблести, о славе —
Троя... Рим...

Вот дни мои и все мои дела:
Как мало доброго, как много зла —
Не то я делала, не так жила...
И ясно, что я лучше быть могла.

От одиночества и от усталости
Прилив горячей, нежной жалости
К себе и прочим тварям на земле,
Как уголек краснеющий в золе.

Печаль похожая на вдохновенье
И драгоценно каждое мгновенье,
Когда уже отсчитаны они —
На счётах звонких и магических —
Мои пустынные, торжественные дни...

...Но раз в стихах лирических
Нельзя без «личного»,
Без «точки зрения»
И «собственного мнения»,
Мне кажется комичнее комичного,
Банальнее банального,
Сусальнее сусального
Высокий этот тон
Раскаяния, сожаления
И старческого просветления
Предпохоронный звон,
Полупоследний стон,
Благословляющее — «ах»!..

— Нет, старость мудрая, прости,
С тобою мне не по пути —
Ни в жизни, ни в стихах
До самой смерти!

3

Лепестками вечности
Вьются мотыльки,
Холодком беспечности
Тянет от реки.
Квакают лягушки на
Топком берегу.

Вспоминаю Пушкина.
Вспомнить не могу
Что, зачем и почему
С целию какой
В роковой его судьбе.

Ты о нем с тоской
Бредил умирая.

Неужели ни ему,
Ни ему и ни тебе,
Не увидеть рая?

Ирина Одоевцева

НА АРАКСЕ

ОЧЕРК

Тихо. Окутанные голубоватой дымкой стоят горные массивы Давалийских высот. И невольно кажется, что это оттуда, из бездонных глубин сверху, где горят звезды и плывет бледный месяц, источается эта непередаваемая тишина. Лишь внизу, спокон веку как шумел, так и шумит неумолкающий Аракс, говоря про библейский Арарат, про нахмурившийся Алагез, про эту неповторимую страну Армению.

Едешь горной тропой, оглянешься вокруг и зайдется сердце. Нигде в свете не увидишь такой голой страны, такой обнаженной вздыбленной земли. Точно перед глазами распростерся первородный хаос... Провалы, пропасти, как сплошной громадный каменный амфитеатр, как будто развернутая до глубин геологическая карта мира — все это, повидимому, есть только в Армении, в ее горной глуши. И только в Армении, как в дантовом аду, такое неисчислимое количество змей.

В одном из таких глухих горных местечек, где еще с давних времен императорской России стоял пограничный пост, теперь царствовали тишина, змеи и Трофим Железняк. Трофим Железняк по внешнему виду совсем обыкновенный человек. Жизнь его простая и ясная. А символ веры и того проще. Он веровал в советскую власть, в интернационал, во всемогущество Чека и в непререкаемую силу вороненого дула тяжелого длинноствольного маузера. Да как же ему было и не веровать, когда на ореховой коробке его маузера извилистой вязью выгравировано: «Несгибаемому чекисту — старшине пограничных войск т. Т. Железняку за боевые заслуги в день десятилетия ВЧК-ОГПУ». Боевых маузеров не дают в подарки кому попало. Их дают большим мастерам заплечного дела, тем, кто умеет проливать людскую кровь, и кто об этой

пролитой крови умеет не думать. Вот почему Трофим Железняк и стал начальником пограничного поста, что прилепился как раз под Давалийскими высотами на берегу Аракса, отделяющего мутною бурливою полосою армянскую землю от иранской.

Всегда по-военному подтянутый, педантично-аккуратный, непререкаемой дисциплиной державший подчиненных в твердом кулаке, Железняк воспринимал мир самоуверенно, никогда не колеблясь и ни над чем не задумываясь. На счету его поста не числилось ни промахов, ни просчетов, ни упущений. До прихода на пост Железняка пограничная вольница не особенно церемонилась с переходами через Аракс. Находились охотники ходить и с одной, и с другой стороны. Но Трофим вчистую сломал контрабандистскую «малину». Завел свои порядки. В заставы на бродах стал ходить сам. И постовой бюрократией не забавлялся. Протоколов писать не любил. Как ястреб-стервятник выслеживал пачкарей «на деле». Вороненой мушкой следил за нарушителем. И когда приходил нужный момент, не окликал и не заворачивал... В тишине звучно и отчетливо бил верный маузер. Глубины Аракса служили надежным похоронным бюро. Так вот Железняк и сводил свой «баланец» с контрабандистами. Поэтому-то и прозвали этот пост «железным». А это на пограничном жаргоне что-нибудь да значило.

Но вот произошло нечто необычное. Железняка как будто кто волшебной «черной росой» покропил. На глазах изменился человек до неузнаваемости. Ни с того, ни с сего несгибаемый начальник сбился, как говорится, с ходу, начал задумываться. Даже рядовые пограничники обратили на это внимание. То спросит что-то невпопад, то, не дождавшись конца рапорта, повернется да уйдет, точно к нему этот рапорт и не относится. Не удивительно, что и авторитет Железняка среди бойцов пошатнулся. Весельчак и любимец поста, балагур Коштоянц стал изображать рассеянного командира с таким неподражаемым мастерством, что пограничники за животики хватались.

Так или иначе, а Железняк упал духом. А ведь, «когда человек падает духом, его конь не может скакать» — говорит восточная пословица. Сослуживцам покоя не давала мысль: что же такое стряслось с Железняком? Долго не могли доискаться причины, но на маленьком посту нет ничего тайного, что, в конце концов, не стало бы явным. И наконец дознались, что «каменное спокойствие» начальника поста унес Амед-бек, отважный контрабандист, недавно появившийся в этом районе. Дерзкий нарушитель ключем смелости открыл границу. Как бы издеваясь над Железняком, несмотря на то, что граница вот уже годами была на замке, Амед-бек теперь ходил в Иран точно к себе домой. И он не только переходил границу, перенося в Персию валюту, старинные серебряные и золотые изделия — бесценные образцы старинного армянского искусства, а оттуда, пачкуя шелка, дорогие пряности, валютную мануфактуру. Амед-бек ухитрялся переводить через Аракс и породистых коней. Всего лишь две недели тому назад не кто иной, как он перевел в Иран трех не просто дорогих, а драгоценных племенных жеребцов-карабахов, которых прямо среди бела дня увели с государственного племенного завода. Начальник областного Земельного управления Нагорного Карабаха, узнав про это, чуть с ума не сошел. Их, этих красунов, редчайшей, волос к волосу золотой масти, месяцами разыскивали по всему Закавказью, заплатили за них такую непомерную цену, — и вот они точно в воду канули! И хотя об их таинственном исчезновении начальство не хотело поднимать шума, все же было ясно, что эта слава и гордость Нагорного Карабаха попала-таки в руки персидских офицеров. Но горше всего было то, что, по оперативным данным, выяснилось, что этих чудесных карабахов злоумышленники перевели через бешеный Аракс, именно там, где-то около «железной заставы» Трофима Железняка.

Слов нет, Железняк мог бы опровергать эту версию начальства. Ведь, как говорится, «не пойман — не вор». Да и не обязательно, чтобы этот контрабандист Амед-бек только в этом месте и «гулял» через границу. Может быть, у него

есть и другие броды. Сам дьявол не знает, что задумает этот неугомонный сорвиголова! Но ковровые мешки? Курджины? Неопровержимое доказательство. Как ни крутил себе голову Железняк, а должен был признаться, что от этих доказательств никуда не денешься.

Почти после каждой удавшейся операции удалых контрабандистов на левом берегу Аракса пограничники находили брошенные как бы в суматохе одну-две курджины. А в этих курджинах чего только не было. Буквально дары из другого мира. Засахаренный миндаль, жирное, тающее во рту печенье, до приторности сладкие чудесные сушеные фрукты, пахучая нуга, рахат-лукум, низки сушеных дынь, густое, как кровь, пахучее вино, не говоря уже про превосходный табак, такой ароматный, что бойцы-пограничники могли курить такой разве только в мечтах. Что же это было, если не «визитные карточки» старого пограничного волка Амед-бека? Он выкидывал «такие коники» еще и при старом режиме. Бывало, когда его поджимала погоня, он всегда выбрасывал по дороге курджины с дорогой контрабандой, чтобы отбиться от преследователей. Расчет на человеческую слабость был верный. Пока пограничники обшаривали курджины, пограничный фарис бросался со скал с конем в стремнины Аракса и исчезал на персидском берегу. А там его и поминай как звали. Вот и теперь, зная, что у пограничников даже сахару в достатке нет, он дарит им курджины.

К бойцу Кондрату Остапчуку приехала на побывку жена и поселилась в ближайшем армянском сельце. По неписаным законам всемогущего блата Остапчук получил от Железняка позволение посещать жену, да и похаживал на гостины, вызывая завистливые улыбки сослуживцев. И что же бы вы думали? Как раз на своем участке Остапчук и нашел снова проклятые курджины. Взял было передать на пост, да попутал нечистый. Распустил очкур и, на свою беду, вытянул из их недр Остапчук чудесную вещь — шелковые персидские женские шальвары. Нежные на ощупь, заманчивого карминового цвета. Такие шальвары носят только богатые персиянки, и

лучшего подарка для жены и не придумаешь. Аж под сердцем ёкнуло у Кондрата, когда надела эти восхитительные штаны его темнобровая, кареоокая Ганнуся...

Собственно, после случая с персидскими шальварами и затосковал начальник пограничного поста Трофим Железняк, запечалился над изменившей ему фортуной. «Несгибаемый чекист» Железняк да еще начальник «железного поста» — и тут тебе — женские штаны из Ирана! Куда дальше? Нет, он этого не подарит Амед-беку. Он должен положить конец издевательствам. Двоим нет места на этом свете.

Начальник поста отдал строжайший приказ: из обнаруженных курджин ничего не брать, курджины передавать только ему и в том виде, в каком найдены. Ясное дело, что приказ этот не особенно понравился пограничникам. Немало благ перепадало им из этих курджин; но служба есть служба, а дисциплина пограничников не разбавляется дискуссиями.

Дальнейшие события стали разворачиваться с неожиданным ускорением. Как-то агентурная сводка сообщила, что Амед-бек будет переправлять в Иран партию старинного серебра. По приказу Железняка на ночную смену пошел усиленный наряд. Дозорные залегли в «секреты», главным образом, на участках мелей на Араксе. Таким приказом бойцы были внутренне даже обрадованы. Около воды все как-то веселее, чем в непролазной гущавине, да и от гадюк куда безопаснее. А их же, этих гадюк, тут сила-силенная.

...Пришла полночь, понемногу и звезды стали примеркать, а там и предрассветным холодком потянуло с Давалийского хребта. Это, собственно, и есть наиболее опасное время на границе. Утомленные пограничники обычно в это время начинали кунять (придремывать), а Аракс затягивается густым, как молоко, предрассветным туманом. Ну, а это только и нужно контрабандистам! Дело ясное, что Железняк был осведомлен обо всем этом наилучшим образом. И поэтому-то он и заявился на заставу сам. Промелькнули какие-то незаметные мгновенья, а потом с правой стороны лежавших в секрете бойцов, где-то вверх по течению Аракса, как бы скинулась —

хлюпнула водой какая-то крупная рыба. Сон слетел с глаз бойцов. «Секретчики» насторожились, проверили карабины и винтовки, но за опаловым предутренним туманом многого не увидишь. Нутром они безошибочно почувствовали, что кто-то — Амед-бек или кто-то из его верных слуг — где-то переходит Аракс. Но где? Актер за туманным занавесом чувствовал себя, повидимому, совсем спокойно. Но призрачное счастье контрабандиста изменчиво. В минутном разрыве туманной завесы пограничники неожиданно увидели, как около самого иранского берега вынырнуло погрудье коня, а около него человек. Контрабандист видно нащупывал место, где бы ему выскочить на отвесный, крутой берег. «Не пропусти решительную минуту, нарушитель! Она может стоить тебе жизни!» Ведь за тобой следят десятки глаз. И не успел контрабандист нырнуть в спасительный туман, как с советского берега треснул один выстрел, потом ухнул второй, дублетный. Выстрелы разорвали туман и замерли. Это бил маузер Железняка, и бил хорошо... Хотя и не честно. Явно нарушая пограничные правила, Железняк выстрелил в Амед-бека, когда тот был уже за серединой Аракса, на иранской стороне. Но для Железняка игра стоила свеч. Тело тяжело раненого Амед-бека оторвалось от коня, и быстрое течение стало отбивать и его и скакуна от берега. Скоро в водоворотах Аракса исчезли и джигит и его конь.

Н. Нижальский

ПЯТЬ СТИХОТВОРЕНИЙ

ОКТЯБРЬ

Как молот, тяжкие удары
в свинцовых глохнут небесах,
и врассыпную на рысях
куда-то пьяные гусары.

Фуражки сбиты набекрень
и лица напряженно-дики.
Издалека несутся крики
сквозь тускло-сумеречный день.

Пустая улица черна,
зияют подворотен жёрла,
и судорогой сводит горло,
когда посмотришь из окна.

Забор, слепые фонари,
и дали заревом разъяты...
Сойди по лестнице горбатой,
тихонько двери отвори —

и слушай: шелест дождевой
пронзают выстрелы глухие...
Сегодня падшая Россия
скорбит над мертвою Москвой.

(1917)

ОФИЦЕРАМ ЛЕЙБ-ГВАРДИИ СЕМЕНОВСКОГО ПОЛКА

Труден подвиг самоотреченья,
но светло сжигающее пламя.
В грозный день слепого завершенья
опустилось золотое знамя.

Заповеди верные Христовой
исполняют доблестную клятву.
По дороге тягостной и новой
вы пошли на каменную жатву.

Как в былые славные походы,
пел рожок и выстрелы гремели,
и на приступ брошенные взводы
разворачивались на панели.

Одинокие в борьбе весенней
ледяной скалою вы стояли, —
вы, храня обет повиновенья,
против братьев шли и умирали.

Пусть заветы прежние неверны
пусть перед Россией вы неправы,
наречет вас век нелицемерный
рыцарями гибнущей Державы.

(1917)

КРЕСТОВИК

Как встарь, размеренный и точный,
он в черный свой замкнется круг,
когда ударит бой полночный —
уйдет, как в сеть свою паук.

Вот мертвые повисли нити,
да паутина уж не та!
Дорога пройденных наитий —
как спутанная пустота.

Но только в час свободы мнимой
дотронешься ты сети — вмиг
в свой черный круг нерасторжимый
тебя затянет крестовик.

Не разорвать позорной сети!
Паук окрутит, припадет, —
лишь кругом оплетенный этим
ты переступишь в Новый Год.

ТРИ АНГЕЛА

Три ангела предстали мне в ночи,
один — золотокрылый, свет нагорный,
другой — как лунный лик, а третий — черный,
и от него шли черные лучи.

И, Первого узнав, пред ним поник
в испуге я: «Прости, что брел бесславным
путем под именем твоим державным».
Но не ответил мне Архистратиг.

Второй сказал, и голос пел, как медь:
«Ты не давал и не нарушил слова,
моим огнем не будешь ты гореть».
Он замолчал. Но я не знал Второго.

А Третий улыбнулся мне едва:
«Спасу тебя от радости и муки,
и жизнь твоя пройдет тиха, мертва,
и будет смерть, как легкий час разлуки»...

ПОСЛЕДНЕЕ

Спокойно разлитой туман
всё бытие кругом завесил...
Но я не грустен и не весел,
я смертью подступившей пьян.

Как в радостно-блаженный миг,
мое остановилось время, —
оно еще скользит за теми,
кто всех пределов не постиг.

Тщету и суетность и прах
изведав, не преодолею, —
в звериной жизни цепенею
и молча бьюсь в ее когтях.

Михаил Форштетер

РАННИЙ ДОСТОЕВСКИЙ*

I

Достоевский впервые выступил на литературное поприще в 1845 г., первым его произведением был роман в письмах «Бедные Люди». Это переписка между немолодым, очень бедным мелким чиновником, Макаром Алексеевичем Девушкиным и такой-же бедной, как и он, молодой девушкой, сиротой, Варварой Алексеевной Доброселовой. Девушкин, отдаленный родственник Варвары Алексеевны, любит ее самоотверженной отеческой любовью, сквозь которую просвечивает робкая влюбленность. Ему хотелось бы каждый день видеть свою Вареньку, что было бы вполне возможно, так как она живет в соседнем доме, но он боится, что слишком частые посещения могут скомпрометировать молодую девушку в глазах ее сожителей по квартире. Поэтому он сводит до минимума личные встречи и заменяет их письмами. Этим мотивируется форма романа.

Так как письма должны были заменять личное общение, они написаны не эпистолярным, а свободным разговорным стилем, и содержание их чрезвычайно разнообразно: описание всевозможных происшествий повседневной жизни, излияния чувств, общие рассуждения, суждения о литературных произведениях, наряду с этим советы, просьбы, поручения и т. д. Но переписка была не единственной формой общения между обоими корреспондентами и время от времени они встречались, некоторые события из их жизни в письмах не описаны, о них упоминается только вскользь. Так же и о прежней жизни обоих читатель узнает не очень много, и то большей частью из намеков или коротких замечаний. Правда, Варенька посылает Девушкину первую часть своих воспоминаний, где она описывает свое детство и отрочество, но эти воспоминания вдруг обрываются и наиболее важный, послед-

---

* См. кн. 48 и 60 «Нов. Журн.»

ний период ее жизни читатель должен реконструировать из отдельных фраз, намеков и упоминаний.

Из всего этого выясняется, что после смерти родителей Варенька попала в руки некоей Анны Феодоровны, которая внешне проявляла к ней участие и желание помочь, на самом же деле была сводней, старавшейся торговать невинной девушкой; что один из клиентов этой Анны Феодоровны, землевладелец Быков, обесчестил ее; что каким-то образом она встретилась с Девушкиным, который спас ее из ее ужасного положения. Все эти события, поскольку их удается восстановить, непосредственно предшествовали началу переписки.

О предшествующей жизни Девушкина мы узнаем еще меньше. Нам известно только, что он происходит из бедной семьи, всегда был беден и боролся с нуждой, что он не получил образования и потому не имеет шансов на повышение по службе, что он мелкий чиновник, переписчик, с нищенским окладом, и всегда останется таковым.

О внешних событиях жизни обоих корреспондентов во время переписки известно тоже довольно мало. Макар Алексеевич рассказывает о своей безуспешной попытке занять деньги сперва у товарища по службе, потом у ростовщика; еще рассказывает он, как его превосходительство, начальник канцелярии где он служил, узнал о его бедственном положении и подарил ему в награду за усердную службу 100 рублей. Этим и ограничиваются непосредственные сообщения о внешних событиях жизни Девушкина. О том, что он одно время запил с горя, придя в отчаяние от своего безвыходного положения, мы догадываемся только по намекам. Все же остальные события, о которых рассказывает Макар Алексеевич, относятся не к его жизни, а к жизни его сожителей по квартире. Такова, например, история бедного, обремененного большой семьей Горшкова, который все свои надежды на лучшее будущее возлагал на благополучный исход какого-то процесса. Но в тот самый день, как процесс им действительно выигран, Горшков, потрясенный этим известием, умирает, его истощенный долгими годами ожидания и нужды организм и расшатанные нервы не выдерживают слишком большой радости.

Жизнь Вареньки во время переписки тоже небогата событиями. От времени до времени у нее появляются клиенты Анны Феодоровны с нечестными предложениями, что каждый раз приводит ее в ужас и отчаяние; она видит опасность своего положения и всячески старается найти занятие, которое доставило бы ей материальную независимость. Макар Алек-

сеевич со своей стороны старается оказать материальную помощь Вареньке и именно благодаря этому попадает в то тяжелое положение, из которого его выручает только щедрость начальника. Но несмотря на все старания, ни Варенька, ни Девушкин не могут найти выхода. Выход находится сам собой: тот самый помещик Быков, который за год до того обесчестил Вареньку, появляется вновь, но на этот раз с целью жениться на ней. В связи с получением какого-то наследства, он должен непременно жениться, безразлично на ком, и тут он вспоминает об оскорбленной им девушке. Он может обещать ей только материальное довольство и приличное положение в обществе; решить она должна быстро, т. к. он не может ждать: свадьба должна быть через 10 дней, и молодые сейчас же должны уехать в свое имение с тем, чтобы уже никогда не возвращаться в Петербург. Вареньке много выбирать не приходится, она соглашается, выходит замуж, и навсегда покидает столицу и бедного Девушкина. Роман заканчивается тем жалобным воплем отчаяния, который Макар Алексеевич посылает ей вслед в своем последнем письме.

Итак внешняя фабула романа очень бедна, особенно по сравнению с его длиной. Бо́льшая часть писем не имеет прямого отношения к действию. И, в сущности, роман является гораздо более описанием «жизни бедных людей вообще», их взглядов и чувств, чем определенной историей из этой жизни, последовательным изложением событий. Некоторые критики сочли это недостатком; они находили, что роману недостает внутреннего единства, что оба корреспондента пишут более друг для друга, нежели для читателя.

В действительности это не так. Несмотря на кажущуюся пестроту содержания, переписка несомненно представляет собой единое целое, и притом в разных отношениях. Если внимательно вглядеться во внешние события, ясно видно, что они расположены по известной контрастирующей схеме, постепенно ухудшаясь и кончаясь душевной трагедией. В начале все благополучно, но вскоре Варенька заболевает, так что переписка на некоторое время прекращается и Макар Алексеевич тратит последние деньги на то, чтобы помочь Вареньке. Затем следует довольно долгий спокойный период, без особых событий, который сменяется серией неудач и бед; когда они достигают кульминационного пункта, наступает внезапный поворот к лучшему, благодаря подарку начальника. Одновременно у Девушкина появляются какие-то надежды на улучшение своего и варенькиного положения, но

тут наступает заключительный эпизод, варенькина свадьба, после которой Макар Алексеевич остается один, брошенный и несчастный. И в самом периоде нагромождения несчастий, можно заметить наличие принципа контраста: за каждой неудачей следует какая-то возможность улучшения, которая однако быстро рассеивается и новая беда всегда хуже предыдущей.

Таким образом весь рассказ о событиях можно изобразить в виде хотя и зигзагообразной, но постепенно опускающейся линии, ведущей от весеннего оптимизма первого письма (от 8-го апреля) к осеннему отчаянию последнего (от 30-го сентября). Рассказы о других «бедных людях», разбросанные по всем письмам, или подогнаны под ту же контрастирующую схему, или служат для усиления впечатления от основной фабулы. Напр. рассказ о несчастном Горшкове, умирающем в момент исполнения его желания, идет непосредственно за рассказом о щедрости начальника, т. е. тогда, когда положение Девушкина как будто улучшается, и служит как-бы предчувствием приближающейся катастрофы. О чахоточном студенте Покровском и его опустившемся пьянице-отце, страстно любящем сына, Варенька рассказывает еще в начале романа; но заключительный эпизод этого рассказа, рисующий нам образ оборванного, полубезумного старика, бегущего за гробом сына, запечатлевается в памяти, и невольно вспоминается при чтении отчаянного письма Девушкина, посланного им вслед уехавшей Вареньке, и это воспоминание усиливает действие заключительного момента.

Эмоциональная сторона писем тоже представляет собой единое целое, построенное по определенному плану. Первое письмо Макара Алексеевича написано в очень нежных, лирико-поэтических тонах, сквозь которые проступают чувства влюбленного. Но из ответа Вареньки Макар Алексеевич видит сразу, что в этом тоне ему продолжать нельзя. Второе письмо носит уже несколько иной характер, нежность остается, но приобретает отеческий оттенок, причем постоянно подчеркивается разница лет между ним и Варенькой. Этот тон сохраняется до конца, как общий фон, но эмоциональная окраска каждого отдельного письма находится в контрасте к непосредственно предшествующему: за жалобой следует утешение, за оптимистическим настроением — пессимистические сомнения, за тревогой — успокоение и т. д. Таким образом возникает колеблющаяся, непрерывная эмоциональная линия. Свою влюбленность Девушкин целомудренно скрывает, о ней

можно только догадываться, и лишь в последнем отчаянном письме, после отъезда Вареньки, вновь прорывается тон глубокой, настоящей любви: это уже не оптимистическая лирика счастливого влюбленного, а жалобный крик несчастного человека, чья жизнь, благодаря разлуке, утратила всякий смысл и всякую цель.

В письмах Вареньки господствует тон меланхолического разочарования, печальных предчувствий, вместе с нежной благодарностью к бескорыстному защитнику и другу.

То, что придает роману наибольшее единство и целостность — это стилистическая сторона. Оба корреспондента, Макар Алексеевич и Варенька, очень определенно стилистически охарактеризованы. Варенька пишет довольно отвлеченным литературным языком; это обычный стиль писем образованной, воспитанной девушки, он совершенно нейтрален и одинаково далек, как от непринужденного разговорного языка, так и от поэтического пафоса, не имеет индивидуальной окраски и не дает социальной характеристики пишущего. Когда она рассказывает или описывает, ей недостает пластичности — ее нет ни в лирических описаниях природы, ни в изображении людей, у которых она описывает только чувства и душевные движения, оставляя без всякого внимания их наружность, манеры, жесты и т. п. Только в рассказе о старике Покровском она пользуется совершенно иными приемами: тут, наоборот, с чрезвычайной яркостью описываются детали наружности, одежды, жестов; речь старика передается тоже не безличным обычным языком писем, а чисто разговорным, с сильной индивидуальной окраской. В контексте отвлеченно-лирического, бесцветного стиля варенькиных воспоминаний, эта натуралистически описанная фигура старого Покровского воспринимается как нечто постороннее и потому особенно глубоко запечатлевается в памяти.

Характер писем Девушкина совершенно иной. Его язык — разговорный язык полуобразованного мелкого чиновника, переписчика, каких в старину много служило по петербургским присутственным местам. Это смесь простых, порою тривиальных полу-простонародных выражений с канцелярским слогом, что нередко производит комическое впечатление. Речь Девушкина пестрит ласкательными и уменьшительными словами, характерными для человека, привыкшего всю жизнь смиряться и стушевываться. Типично также для Макара Алексеевича его многословие. Для более или менее отвлеченных и возвышенных мыслей ему нехватает точных выражений, и

ему приходится заменять их сложными объяснениями; кроме того, он, как всякий приниженный и забитый человек, неуверен в себе, боится быть непонятым, и потому прибегает к повторениям, повторяя одну и ту-же мысль разными словами или переставляя слова в одной и той-же фразе. Он пересыпает свою речь всевозможными ограничительными, извинительными, смягчающими словами, постоянно перебивая самого себя и начиная снова. Это же многословие господствует и в рассказах, и в описаниях Девушкина: он задерживается на мелочах, описывает незначительные подробности, упуская при этом самое существенное.

Ко всему этому присоединяется еще одна черта, с которой мы и дальше будем встречаться у героев Достоевского. Девушкин постоянно пишет так, как будто он с кем-то спорит или защищается от чьих-то нападок и возражений. Этот «кто-то», этот воображаемый противник, не существует вовсе, но Макару Алексеевичу чудится его присутствие и он старается защитить свое достоинство в глазах этого несуществующего лица. Вот пример: «У меня кусок хлеба есть свой; правда, простой кусок хлеба, подчас даже черствый, но он есть, трудами добытый, *законно и безукоризненно употребляемый*. Ну что-же делать, я и сам знаю, что немного делаю тем, что переписываю, да все-таки я этим горжусь: я работаю, я пот проливаю. Ну, что-же тут в самом деле такого, что переписываю? Что, грех переписывать, что-ли?» И дальше: «Ну, так я и сознаю теперь, что я нужен, что я необходим, и нечего человека вздором с толку сбивать. Ну, пожалуй, пусть крыса, коли сходство нашли, да крыса-то пользу приносит, да за крысу-то эту держатся, да крысе-то этой награждение выходит — вот она крыса какая» и т. п. Ясно, что невидимый противник находится в самом Девушкине, что он защищается против собственного комплекса неполноценности. Все вышеупомянутые особенности придают языку Девушкина особый индивидуальный отпечаток.

Этим своим стилем Девушкин говорит о всевозможных вещах, рассказывает эпизоды из своей и чужой жизни, философствует, жалуется, утешает, выражает целую гамму чувств, которые все преломляются в призме одного и того-же языкового оформления. За время переписки стиль Макара Алексеевича претерпевает некоторые изменения, вбирая в себя все более и более элементов образованного языка; эти изменения мотивируются тем, что Девушкин читает много беллетристики и вообще интересуется литературой; на самом

деле это просто известная уступка нормальному литературному языку, и эти изменения недостаточно значительны и недостаточно многочисленны, чтобы изменить основной характер его стиля, который своей яркой личной и социальной окраской, продолжает резко отличаться от нейтрального стиля Вареньки.

Вызванная эпистолярной формой романа постоянная смена двух стилей является одним из важных архитектонических принципов романа. Стиль Девушкина занимает в нем первое место и составляет главную его массу, т. к. письма Макара Алексеевича и многочисленнее, и объемистее, и разнообразнее по содержанию, чем письма Вареньки. Но, разумеется, целый роман выдержать исключительно в этом стиле было-бы совершенно невозможно — это было-бы слишком однообразно, да и самое впечатление, производимое таким стилем, в этом случае несомненно притупилось бы и читатель перестал бы воспринимать его своеобразный характер. Поэтому письма Вареньки, обычно довольно короткие, совершенно необходимы в строении романа — они позволяют читателю отдохнуть от монотонности языка Макара Алексеевича, в то-же время подчеркивая своеобразие последнего, его отличие от нормального литературного языка.

Смена обоих стилей необходима также для *членения* романа. Каждое письмо представляет собой единое целое и по содержанию, и по эмоциональной окраске, а так как содержание и чувства неизбежно влияют на лексику и синтаксис, то можно сказать, что каждое письмо является разновидностью индивидуального стиля каждого из корреспондентов. Благодаря тому, что такая разновидность одного стиля всегда сменяется разновидностью другого, разница между ними выступает яснее и ярче, и подчеркивает их разнообразие. Без этого постоянного прерывания письмами другого стиля, отличия между различными оттенками языка Девушкина не выступали бы так ярко, членение не было бы так четко и все произведение слилось-бы в стилистически недифференцированную массу.

Таковы содержание и строение «Бедных Людей». Какое место занимает это произведение в русской литературе сороковых годов? Каково было его отношение к тогдашней литературной традиции?

В «Бедных Людях» соединяются две традиции — сентиментализма и натурализма. Сентиментализм был в то время уже более или менее изжит; он вновь ожил в первом произве-

дении Достоевского. Переписка между двумя корреспондентами, мужчиной и женщиной, с благородными и возвышенными душами и несчастной судьбой, была одной из излюбленных литературных форм сентиментальной школы. В письмах должны были выражаться благородные, возвышенные и в то же время трогательные чувства обоих корреспондентов; слишком сильные чувства и страсти не допускались. Точно так же и события, о которых в переписке шла речь, не должны были быть слишком яркими или волнующими — напротив, самые обыкновенные случаи из повседневной жизни, дающие однако повод показать благородство, самопожертвование, нежные тонкие чувства обоих корреспондентов, должны были составлять содержание писем. Высказываемые в них мысли и суждения не должны были быть слишком глубокими или сложными, но трогательными и задушевными. Главной задачей писателя-сентименталиста было создать трогательное, меланхолическое настроение, вызвать в читателе чувства жалости и сострадания, вместе с восхищением перед душевной красотой простых, но добрых людей. Отсюда отвлеченное описание душевной жизни героев, без углубления в материальные и социальные условия их жизни, без внимания к внешним подробностям; поэтому-же и участники подобных переписок большей частью бесцветные отвлеченные фигуры, алгебраические знаки для «хорошего человека вообще».

Таких романов в письмах было великое множество, особенно французских и английских; многие из них были переведены на русский, да и в русских подражаниях не было недостатка. Хотя в сороковых годах ведущие литературные круги уже отошли от сентиментализма, некоторые из таких романов все еще пользовались большим успехом, оставаясь любимым чтением известной среды, еще не затронутой новыми литературными веяниями.

Достоевский довольно точно сохранил форму «сентиментального романа в письмах». Согласно традиции этой литературной формы, душевную жизнь одного из двух корреспондентов полагалось изображать подробнее и рельефнее чем душевную жизнь другого; зато те немногие происшествия, которые составляли фабулу романа, имели центральной фигурой второго корреспондента. Также и его предшествовавшая переписке жизнь описывалась подробнее, при чем большей частью уже в одном из первых писем он описывал своему другу более или менее подробно свое прошлое. Эту схему мы находим и в «Бедных Людях»: душевная жизнь Девушкина

описана гораздо подробнее, в то время как вся фабула относится к Вареньке; последняя посылает Макару Алексеевичу свои воспоминания, в то время как о предыдущей жизни Девушкина не говорится почти ничего. Сентиментальной традиции принадлежит и весь эпизод со сводней Анной Феодоровной — это был один из излюбленных мотивов сентименталистов. Вообще весь образ Вареньки взят из сентиментальной литературы, также как и ее стиль с его отвлеченной меланхолической лирикой.

Что же касается Девушкина, то он принадлежит к другой литературной тридиции сороковых годов, так называемой натуралистической, в которой был хорошо известен образ мелкого чиновника бедного, старого, полуобразованного. Особенно в произведениях Гоголя этот тип достиг высшей степени совершенства. Это была, в сущности, комическая фигура — по крайней мере она так сперва изображалась натуралистами, в соответствии с художественными приемами этой школы. В противоположность писателям сентиментального направления, натуралисты придавали главное значение описанию наружных подробностей, причем они совершенно устраняли из своей схемы изображения всё красивое, изящное, поэтическое, также как и все романтические или экзотические элементы, словом все то, что чем-нибудь могло выделяться из рамок повседневной жизни. Полуобразованный, бедный, мелкий переписчик был вполне подходящей темой для этой школы: он всецело принадлежал повседневной жизни и был наименее поэтической, наименее изящной фигурой, какую только можно себе представить. Описание его наружности — потрепанной одежды, красного носа, сгорбленной спины, также как и его нелепых, застенчивых жестов и приниженных манер, давало писателям возможность широко применять излюбленную натуралистами детальную живопись. Речь мелкого чиновника, неуклюжая, с искаженным и путанным синтаксисом, с комическими выражениями, отчасти вульгарными, отчасти черезчур торжественными или старомодными, тоже отвечала требованиям натуралистов — она была полной противоположностью поэтичной или изысканной речи. Писатели натуралистической школы ею охотно и пользовались: хотя чиновник в их произведениях говорил мало, но если уже он говорил, то именно таким языком.

Изображение в литературе некрасивого и непоэтичного может развиваться в двух направлениях: комическом или вызывающем в читателе отвращение. Русский натурализм сороковых годов шел преимущественно по пути комизма и, следо-

вательно, мелкий чиновник стал комической фигурой. Но повесть Гоголя «Шинель» произвела в изображении этой фигуры переворот. Герой ее, Акакий Акакиевич, все тот же мелкий чиновник, с его смешной наружностью и смешной речью, но он возбуждает к себе жалость, и эта жалость к несчастному, бедному и смешному человеку и составляет главное содержание повести. Натуралистическая манера изображения была Гоголем сохранена, но ей была придана другая установка, давшая традиционному образу трогательные, вызывающие жалость *обертона*. Это произвело известный сдвиг и в языке повести — мы находим в ней два стиля, сменяющие друг друга: с одной стороны юмористический, остроумный, с воспроизведением неуклюжей речи полуинтеллигентного человека, с другой — серьезный, патетический, отвлеченно-морализирующий. «Шинель» указала писателям новый путь, и эта новая разновидность натуралистической повести сейчас же нашла многочисленных подражателей.

Образ Девушкина отвечал именно гоголевской новой манере изображения мелкого чиновника. Его язык и его наружность очень напоминают Акакия Акакиевича, в нем есть что-то смешное, но вместе с тем и глубоко трогательное, вызывающее жалость. Все рассказы Девушкина выдержаны в том же духе гоголевской натуралистической традиции; его манера описывать только внешние подробности, опуская самое главное, о котором читателю приходится только догадываться, вполне соответствует натуралистической технике изображения, и в то же время ему удается растрогать читателя, вызвать в нем сострадание — как Гоголю в «Шинели».

Итак, «Бедные Люди» являются своего рода синтезом обеих литературных традиций сороковых годов; но не следует представлять себе это слишком схематически и просто, считая Вареньку носительницей сентиментальной, а Девушкина носителем натуралистической тридиции. Дело обстоит гораздо сложнее, синтез принес с собой сдвиг в обеих традициях, давший совершенно новые результаты. Так напр. в сентиментальных воспоминаниях Вареньки образ старика Покровского нарисован натуралистически; эта натуралистическая техника в сентиментальном окружении создает принципиально новый род стиля, и поскольку эпизод со старым Покровским является кульминационным пунктом всего рассказа Вареньки, он бросает несколько иной свет на все ее воспоминания, приближая их к рассказам Девушкина. И наоборот, у Макара Алексеевича попадаются постоянно лирические излияния, и выраже-

ния чувств, которые хотя и выдержаны *в соответствующем натуралистической традиции языковом стиле*, но по содержанию подходят гораздо более к сентиментальной традиции.

Есть и более глубоко идущие изменения. В обычном сентиментальном романе в письмах, героиня является тем из корреспондентов, чья душевная жизнь подробно изображается (вообще сентиментальная школа интересовалась более женскими образами, чем мужскими), между тем, в «Бедных Людях» главная фигура не Варенька, а Девушкин. Вследствие этой перемены ролей, не герой, а героиня рассказывает о своей прежней жизни, и ход романа определяется событиями из ее, а не его жизни. Также нарушена и схема натуралистической повести о бедном чиновнике. Мелкий чиновник натуралистической школы почти бессловесен, он говорит только когда это совершенно необходимо, и уж конечно никакому натуралисту не пришло бы в голову позволить ему философствовать или рассуждать о литературе. Этот говорящий Акакий Акакиевич, с собственным мировоззрением, собственными взглядами на социальный порядок, мораль и литературу — был чем-то совершенно новым, небывалым, это было коренным, решительным изменением натуралистической традиции.

Итак, своеобразие первого произведения Достоевского заключалось не в простом синтезе двух традиций, а в существенном изменении обеих. Всмотревшись внимательно в это изменение, можно понять его внутренний смысл, а также и значение «Бедных Людей» как литературного произведения. Как мы уже видели, Гоголь открыл в комической фигуре мелкого чиновника натуралистической повести новые стороны, благодаря чему она вступила в новую фазу развития и стала образом человека социально обездоленного, но достойного сожаления и сочувствия. Теперь оставалось сделать шаг дальше, углубить «человеческое» в этом образе, и для этого нужно было изобразить его внутреннюю жизнь. Для такого изображения существовала готовая форма — сентиментальный роман в письмах. Правда, в нем до тех пор изображалась душевная жизнь героини, доброй и благородной девушки, но без индивидуальности и довольно бесцветной. Благодаря изменению функций оказалось возможным переменить роли, дать мужскому корреспонденту традиционное положение женского и путем применения натуралистических приемов обрисовать этот образ индивидуально и рельефно. Таким обра-

зом героем романа в письмах стал бедный чиновник, и задача его «очеловечения» была разрешена, ибо как раз эпистолярная форма давала возможность описать душевную жизнь героя, осветить изнутри образ, до тех пор изображавшийся только снаружи. В этом был смысл «Бедных Людей».

Найденное разрешение задачи Достоевский проводит очень последовательно и систематически. Он как бы сам вселяется в своего героя, Макара Девушкина, и смотрит как на него так и на окружающий мир, его же собственными глазами. Из *объекта* изображения Достоевский превращает его в *субъект*, т. е. делает *его* мыслителем и автором. Мысли и взгляды, высказываемые Девушкиным в письмах, принадлежат точно ему, а не Достоевскому, который не берет на себя за них никакой ответственности так же как за язык, слог, манеру выражаться. В одном из своих писем к брату, Достоевский объясняет ему это, говоря, что обыкновенно писатели показывают в произведении свое лицо, а он этого нигде не сделал, и этого-то критики не хотят понять. Они недовольны стилем, выражениями, многословием, ставя их в упрек автору, совершенно забывая, что так говорит не он, а Девушкин. Особенно характерны в этом отношении суждения Макара Алексеевича о литературе. Бедный чиновник, бывший до тех пор объектом литературного изображения, став субъектом, сам начинает судить о литературе. Ему очень нравятся произведения его соседа по квартире, Ротозяева, которые он часто цитирует — бездарные сочинения в *преувеличенно-патетическом* стиле, с изображением сверхчеловеческих страстей, в духе бульварного романа, или столь же бездарные подражания юмористике Гоголя. Зато гоголевской «Шинелью» Макар Алексеевич недоволен — он воспринимает ее как насмешку над собой, его возмущает комическая и внешняя сторона изображения, и он совершенно не замечает, что именно самое главное в этом произведении — пробуждение у читателя жалости и чувства справедливости. Вся социальная философия Девушкина, его мысли о бедности, о положении обездоленного человека и т. д., принадлежат тоже всецело ему, а не Достоевскому: это характерные представления маленького, забитого человека, который хотя и страдает от своей бедности и приниженности, не восстает против них, и, сохраняя психологию мелкого чиновника не может даже вообразить себе радикального изменения социального порядка. Сам Достоевский в то время был гораздо радикальнее. Таким образом, писателю удалось совершенно скрыть свое «я», свое лицо, и нарисовать душевную жизнь

мелкого канцеляриста не издали, не в перспективе, а в непосредственной близости.

Успех романа был огромный. Тогдашняя критика, с Белинским во главе, держалась взгляда, что задача литературы — в правдивом изображении общества и вскрытии и обличении социальной неправды. Со времени «Шинели» требовалось еще, чтобы бедных людей изображали с участием и жалостью, требовали одухотворения образа бедного человека. Достоевский мастерски разрешил последнюю задачу и стал героем дня. Нашлись молодые писатели, ставшие подражать ему, и молодой автор (ему было тогда 24 года) при первом своем выступлении на литературном поприще, стал сразу главой школы. Все ожидали от него дальнейших, еще лучших, произведений в том же духе. Но уже следующая повесть Достоевского не оправдала этих надежд.

II

Вторым произведением Достоевского была повесть «Двойник», появившаяся в 1846 г. Герой ее снова мелкий чиновник, по имени Голядкин. В противоположность Девушкину он не особенно беден, у него приличная квартира, есть даже слуга, он может себе кое-что позволить: ездит на извозчиках и один раз даже нанимает на целый день экипаж и сажает на козлы своего слугу, одетого во взятую на прокат ливрею. И служебное положение его выше, чем у Макара Алексеевича. Но Голядкин честолюбив, хочет сделать карьеру, подняться на высшую ступень в обществе, стать чем то бо́льшим, чем он есть на самом деле. Его внутренняя жизнь двойственна. С одной стороны он скромный, застенчивый человек, старающийся стушеваться, уступающий каждому дорогу, пассующий перед каждым сколько-нибудь решительным и уверенным человеком. Сам он нерешителен, предпочитает всегда осторожные действия и окольные пути; он всегда боится, что его задевнут и обидят, и всего приятнее ему оставаться незамеченным. С другой стороны, ему хотелось бы быть совсем другим человеком — самоуверенным, самонадеянным, независимым, знающим себе цену, прямым и смелым, идущим своим путем не глядя на других и не позволяя наступать себе на ноги.

Это раздвоение ведет к постоянной внутренней борьбе с самим собой, со своим комплексом неполноценности. Голядкин непрестанно старается доказать самому себе, что он независимый человек, человек с достоинством и весом, человек

как все другие, который может себе позволить все, что позволяют себе другие. На самом же деле, ему постоянно приходится убеждаться в противном. Каждый раз, что ему нужно проявить себя, он оказывается не на высоте, не выдерживает экзамена, каждый раз приходит в негодование на самого себя, но сейчас же старается себя убедить в том, что это собственно было одно недоразумение, что ничего особенного не произошло, и он все-таки тот самый решительный и самоуверенный человек, каким ему так хочется быть. Он старается вытеснить из сознания свой комплекс неполноценности, и хотя все его действия определяются почти исключительно этой главной пружиной его душевной жизни, она у него постоянно остается скрытой в подсознании. Комплекс неполноценности всегда связан с неуверенностью в себе, порождающей в свою очередь недоверчивость и подозрительность. Голядкин всюду подозревает интригу, направленную против него, приписывает какому-нибудь врагу всякую неудачу, вызванную его собственной неловкостью или боязливостью, сваливая таким образом всегда вину с себя на других.

Такое состояние несомненно болезненное — Голядкин душевно больной. Болезнь постепенно развивается, и вскоре начинаются у него галлюцинации. Внутренняя раздвоенность получает внешнее воплощение, и ему кажется, что он встречает своего двойника. Это чиновник, как две капли воды на него похожий, носит то же имя и служит в той же канцелярии. Второй Голядкин сперва воплощает застенчивую и неуверенную сторону души героя, настоящий Голядкин вступает с ним в дружбу, ободряет его, покровительствует ему — словом, проявляет решительную и уверенную сторону своего характера. Но внезапно роли меняются — двойник становится воплощением, и даже сильно преувеличенным воплощением того независимого и решительного человека, каким Голядкин сам себе представляется: он дерзок, фамильярен, не считается ни с чем, ставит себе целью унизить настоящего Голядкина, выжить его из канцелярии и занять его место, что ему легко и удается благодаря их внешнему сходству. Настоящий Голядкин с отчаянием борется с своим двойником, но терпит полное поражение и кончает сумасшедшим домом.

Вся эта трагедия разыгрывается в душе самого Голядкина. Но наряду с этим в повести есть и внешняя фабула, и предшествующая история героя. Последняя не рассказана подробно, на нее только намекается, и намеки настолько неясны, что восстановить ее довольно трудно. Дело идет о лю-

бовных перипетиях — повидимому, у Голядкина было намерение жениться на Кларе Олсуфьевне, дочери чиновника более высокого ранга чем он, но нельзя выяснить, делал ли он ей уже предложение. Во всяком случае, Клара предпочитает ему другого, племянника непосредственного начальника Голядкина, с которым она как-будто уже помолвлена. Где-то на заднем плане еще другая история — Голядкин был раньше жильцом у некой Каролины Ивановны, немки, которой видимо сильно задолжал и, чтобы успокоить ее, обещал на ней жениться. Это обстоятельство как будто стало известно отцу Клары, который отрицательно отнесся к намерениям Голядкина.

Внешняя история героя повести, развертывающаяся перед нами, также мало ясна, как и предшествовавшие события его жизни. Подлинные происшествия и галлюцинации так тесно переплетены друг с другом, что их невозможно разделить, нельзя разобрать, что происходило на самом деле, а что в воображении Голядкина. Читателю хочется в этом разобраться, но автор не облегчает ему этой задачи. Все рассказывается с точки зрения самого Голядкина, для которого проблема различения между действительностью и вымыслом не ставится вовсе, он все свои галлюцинации считает действительностью.

Вся повесть описывает только четыре дня. В первый день Клара Олсуфьевна празднует свое рождение. Голядкин, еще не совсем потерявший надежду жениться на ней, готовится нанести ей поздравительный визит. Он оделся по праздничному, нанял на весь день экипаж, взял на прокат ливрею для своего слуги и отправляется по магазинам, повидимому, чтобы купить подарок для Клары. Он выбирает самые дорогие вещи, торгуется с продавцами и в конце концов ничего не покупает. Затем он едет к Кларе Олсуфьевне и звонит у дверей. Слуга, отворяющий ему, объявляет, что господа не могут его принять, и дает понять, что они вообще не считают его больше в числе своих знакомых. Совершенно пораженный Голядкин удаляется и на лестнице встречает своего счастливого соперника, направляющегося к Кларе Олсуфьевне. Затем следует описание званого вечера, который отец Клары дает по случаю дня рождения своей дочери. Голядкин, разумеется, не приглашен на вечер, но он проникает в дом по черной лестнице и сперва подсматривает через полуоткрытую дверь залы, а затем решается войти в нее, и совершает ряд бестактностей, так что в конце концов его выпроваживают сперва за дверь, а потом и из квартиры. В страшном волнении он бегает по пе-

тербургским улицам, в ужасную ноябрьскую погоду, под снегом и ветром. И тут-то он встречает своего двойника. Сперва он появляется перед ним и исчезает, как какое-то привидение, несколько раз, а когда Голядкин входит в свою квартиру, он входит за ним.

Что происходит между ними дальше — мы не знаем, т. к. рассказ на этом месте прерывается, и дальше следует уже пробуждение Голядкина на следующее утро. Возможно, что весь эпизод, начиная с появления на вечере у Клары Олсуфьевны, был только галлюцинацией, но для Голядкина он абсолютная реальность, и т. к. у него страшный насморк, что может легко стоять в связи с ночными похождениями, он еще более укрепляется в своей уверенности. Он отправляется в свою канцелярию, где встречает вновь поступившего чиновника, в котором он узнает своего двойника и которого тоже зовут Голядкиным. Как это ни странно, никто не удивляется поразительному сходству обоих Голядкиных; сосед настоящего, сидящий с ним за одним столом, замечает сходство только когда Голядкин сам обращает на это его внимание, но не видит в этом ничего необыкновенного. По окончании занятий, новый чиновник подходит к Голядкину, знакомится с ним, и просит разрешения проводить его до дома. Он кажется очень скромным и совершенно безобидным человеком; герой повести очень этим доволен, становится экспансивным, приглашает двойника к себе ужинать, пьет с ним пунш, рассказывает ему все свои тайны и оставляет его у себя ночевать.

Утром второго Голядкина нет — он исчез не простившись, что кажется настоящему Голядкину подозрительным, и он глубоко раскаивается в том, что слишком много наговорил накануне. Придя в канцелярию, он встречает в передней двойника, который его почти не узнает и вообще совершенно переменился: это уже не вчерашний скромный и безобидный молодой человек, а дерзкий карьерист, ни с кем и ни с чем не считающийся интриган. Когда начальник канцелярии требует к себе дело, которое было поручено разработать Голядкину, двойник хитростью овладевает делом, относит его к начальнику, как будто это он его разработал и получает благодарность за отличную работу. По окончании служебных занятий, двойник позволяет себе по отношению к Голядкину глупые и нахальные остроты, высмеивает его перед чиновниками. Возмущенный Голядкин возвращается домой и пишет двойнику письмо, но в это время сам получает от одного сослуживца письмо, из которого видно, что все его товарищи

по канцелярии настроены теперь к нему враждебно, и что виной этому двойник. Голядкин проводит ночь очень беспокойно, его мучат тяжелые неприятные сны. И когда он на следующее утро приходит к себе в канцелярию, он узнает от слуги, что его стол уже занят новым чиновником. Один из сослуживцев рассказывает ему, что многие вещи, которые он под влиянием пунша говорил своему двойнику известны стали всем, и что его увольняют из канцелярии. Голядкин идет к двойнику, чтобы объясниться с ним, и тут, в разговоре, тот опять ему кажется совершенно безобидным человеком; он уже радуется что вновь обрел друга, но внезапно двойник отпускает какую-то глупую остроту, смеется ему нагло в лицо и убегает. Растерявшийся Голядкин бродит по улицам и вдруг находит у себя в кармане письмо от Клары Олсуфьевны, умоляющей его освободить ее от власти ее врагов, которые тоже его враги, спасти ее и в ту же ночь бежать с ней.

Голядкин спешит домой, укладывает свои вещи для бегства и уже хочет ехать к Кларе, но передумывает и едет сперва к начальнику канцелярии, чтобы протестовать против увольнения и искать защиты от интриг двойника. Это ему не удается — его выкидывают из квартиры начальника, он отправляется к Кларе Олсуфьевне, и остается на дворе ее ждать, но она не выходит к нему. У ее отца опять гости, кто-то из них замечает на дворе Голядкина и приводит его в залу. Все смотрят на него с каким-то странным выражением — не то удивления, не то жалости. Двойник тоже находится среди гостей и проявляет к Голядкину неискреннее участие. Все ждут чьего-то прихода; внезапно раскрываются двери и появляется врач, Христиан Иванович, у которого Голядкин когда то лечился. Он берет героя повести за руку, выводит его из квартиры, оба садятся в карету и едут в сумасшедший дом.

Рассказ ведется в третьем лице, но очень большое место занимают в нем разговоры Голядкина с самим собой, ведущиеся в первом лице. Остальное состоит из немногочисленных речей Голядкина, произнесенных вслух и обращенных к другим людям, еще менее многочисленных реплик этих людей, из описания автором душевных состояний и переживаний героя и, наконец, из рассказа о событиях. Язык, которым пользуется Голядкин как в разговоре с самим собой, так и с другими, в основе своей все тот-же язык мелкого канцеляриста, который нам уже знаком по письмам Девушкина, но в отношении словесного состава он на более высоком уровне

— в нем больше элементов официального канцелярского слога и меньше простонародных выражений. Особенность его — частое неточное употребление слов, нередко приводящее к комическим эффектам. Что касается синтаксиса и стиля, то они совершенно различны в разговорах с самим собой и в разговорах вслух. Говоря с другими, даже со своим слугой или с извозчиком, Голядкин настолько застенчив и боязлив, что не в состоянии договорить до конца почти ни одной фразы. С одной стороны, он как-бы предполагает, что собеседник уже знает, о чем идет речь, уже отгадал его мысль и потому нет надобности эту мысль целиком высказывать; с другой — он всё время боится, что его все-таки неправильно понимают и потому ищет наиболее точного выражения, старается высказаться с возможно большей осторожностью, что практически приводит к тому, что он поминутно поправляется, вставляет пояснительные или смягчающие слова и часто вся его речь состоит исключительно из таких слов, как, например: «я полагаю, вы меня, конечно, понимаете, я думаю, то-есть, я только хотел сказать, впрочем, вы должны сами признать» и т. п. Это речь косноязычного, человека страдающего болезненной затруднительностью речи. К этому присоединяются еще некоторые особенности — известные лица, предметы, имена для Голядкина настолько неприятны или страшны, что он не может их произнести и заменяет их описательными выражениями, как-то «известная особа женского пола». Затем еще он выработал несколько готовых словесных формул, которыми постоянно пользуется, даже и там, где они совершенно не подходят.

Таковы главные черты языка Голядкина, когда он говорит вслух; благодаря этим чертам, слова его большей частью остаются непонятыми, и ответы собеседников состоят из просьб повторить или объяснить: часто Голядкин и его собеседники говорят каждый как бы сам для себя, вовсе не понимая друг-друга. Один двойник понимает Голядкина с полуслова, что впрочем и неудивительно.

В разговорах Голядкина с самим собой фразы построены несколько стройнее и мысли не так запутаны. Большинство задержек и затруднений, тормозящих его речь и делающих ее столь непонятной, отпадают сами собой при отсутствии слушателя. Словесные «табу» и готовые формулы остаются и в молчаливых диалогах Голядкина — они здесь даже более уместны, так как изобретены были именно во время разговоров с собой. Но чисто синтаксические недостатки речи —

повторения, постоянное перебивание самого себя, поправки, обрывание начатой фразы — отпадают в мысленных диалогах Голядкина. Таким образом мысли его гораздо понятнее его речей.

Интересны два характерологических типа выступающих в разговорах героя повести. То говорит человек застенчивый, скромный, нерешительный — то человек гордый, решительный, независимый. В разговорах вслух, с другими, всегда господствует первый тип (за немногими исключениями разговоров Голядкина со своим слугой); иногда он заимствует у второго какой-нибудь решительный или энергичный оборот, но сразу чувствуется, что этому обороту здесь не место, и он не принадлежит к репертуару говорящего. В мысленных диалогах выступает преимущественно второй, энергичный и решительный Голядкин, который уговаривает и подбадривает первого, или опровергает его возражения. Из двух голосов ведущих диалог, один мы слышим громко и ясно, второй же как бы под сурдинку.

Мысли и душевные переживания героя описаны не только им самим в его разговорах с собой, но и автором; эти описания тесно примыкают к диалогам, как бы составляя их продолжение, язык их очень похож на язык Голядкина, и хотя он несколько менее индивидуально окрашен, в нем встречаются характерные голядкинские словечки и выражения. Очень часто можно отличить слова автора от предшествовавшего им мысленного диалога только по отсутствию кавычек и по употреблению третьего лица вместо первого, что конечно несколько изменяет интонацию речи. Во всяком случае, изображение, даваемое автором не объективно, а всегда субъективно — оно дано с точки зрения Голядкина. Достоевский никогда не говорит о душевной жизни своего героя ничего такого, чего тот сам не мог бы сказать: граница между автором и Голядкиным совершенно стерта. И если в мыслях последнего мы всегда различаем два голоса, то слова автора являются как-бы третьим голосом Голядкина. Проявления душевной жизни других людей, с которыми Голядкин сталкивается, тоже описаны большей частью с его точки зрения.

Зато жесты, движения, действия героя повести описаны с полной объективностью, вернее было бы сказать, что они просто регистрируются автором, без малейшей попытки осмыслить или объяснить их, так что Голядкин производит впечатление марионетки или автомата. Таково же и изображе-

ние других лиц. Вся внешняя физическая сторона событий кажется какой-то кукольной комедией. И только время от времени субъективная оценка этой внешней стороны, оценка с точки зрения Голядкина, выраженная каким-нибудь его словечком или формулой, вкрапливается в объективное описание.

В этой манере изображения есть что-то каррикатурное, какая-то смесь комичного с трагичным. Для самого Голядкина переживаемые события — трагедия. Его душевное состояние изображается в преувеличенных, патетических тонах, и в момент достижения высшего напряжения, автор вводит описание какого-нибудь маловажного действия, никак не подходящего ко всему этому пафосу, какого-нибудь незначительного марионеточного движения, что производит комический эффект. Но несмотря на такие *отдельные эффекты*, общий тон описания остается серьезным.

Такова структура второго произведения Достоевского. Оно воспринималось современными ему читателями в контексте многочисленных рассказов натуралистической школы, описывавших сумасшествие честолюбивого чиновника, в частности, — некоторых сочинений Гоголя. Связь «Двойника» с Гоголем, особенно с повестью «Нос», не подлежит никакому сомнению. Даже собственные имена совпадают с гоголевскими — напр. слуга Голядкина называется Петрушкой, как слуга Чичикова, его прежняя квартирная хозяйка — Каролиной Ивановной, как хозяйка в «Шинели»; сцена у начальника канцелярии, когда Голядкин приходит просить помощи и защиты, очень напоминает такую же сцену в «Шинели»; некоторые детали в разговорах и действиях Голядкина почти буквально совпадают с отдельными местами из «Мертвых Душ» или «Носа». Самый литературный жанр гротеска, в котором трудно отличить фантастическое от реального, или угадать подлинное намерение автора, напоминает «Нос», особенно мотив двойника. Описание вечера у отца Клары Олсуфьевны выдержано совершенно в стиле Гоголя, как и некоторые другие описательные части рассказа. Наконец, Гоголь написал «Записки Сумасшедшего».

Современники отметили все эти черты сходства, но переоценили их, не поняв глубокого своеобразия «Двойника» — для них он был простым подражанием. Благодаря непониманию, критики считали недостатком именно отсутствие объективности: в повести рассказана история душевной болезни, однако нигде этого не сказано, об этом нужно дога-

дываться. В гоголевских «Записках Сумасшедшего» ключ к пониманию рассказа дан уже в заглавии, затем сумасшедший говорит такие несуразные вещи, что каждому его сумасшествие должно быть ясно; момент заболевания ясно показан читателю и во всем дальнейшем рассказе все время можно отличить галлюцинацию от действительности.

Совершенно иначе обстоит дело у Достоевского. Только при первой ночной встрече с двойником можно с полной уверенностью сказать, что дело идет о галлюцинации, во всей остальной повести очень трудно отличить, где кончается реальность и начинается галлюцинация, и читателю автор нигде не объясняет, что он описывает сумасшедшего. Визит Голядкина к врачу в первый день еще ничего не доказывает, т. к. врач тоже не говорит, что он считает его душевнобольным. На протяжении всей повести нельзя с уверенностью сказать простой ли это гротеск вроде «Носа», или описание душевной болезни. Эта неясность, медлительный процесс отгадывания, раздражали читателя; читатель требовал объективного изложения, требовал, чтобы автор объяснил ему свою точку зрения, сказал прямо, что его герой сумасшедший. Тут произошло то же недоразумение, что и с «Бедными Людьми»: читатель привыкший всегда видеть в произведении «лицо» писателя, не мог понять, зачем Достоевский скрывает свое. Но в «Бедных Людях» было очень много других сторон и свойств, заставлявших читателя забывать об этом мнимом «недостатке»; в «Двойнике» же таких «смягчающих обстоятельств» не было. Кроме того у критики того времени была установка на социальные проблемы, и не находя их в «Двойнике», они считали всё произведение пустой болтовней, неудачным подражанием Гоголю. После всех ожиданий возлагавшихся критикой на Достоевского, это было большим разочарованием.

Но если мы посмотрим на «Двойника» в другом контексте, посмотрим, какое место он занимает как в творческом пути самого Достоевского, так и в более поздней литературе, то мы увидим, что он имеет большое значение. Тот же самый прием превращения объекта в субъект, с которым мы впервые встречаемся в «Бедных Людях», здесь выступает еще ярче. Техника описания в непосредственной близости, эта специфически «достоевская» техника, достигает здесь уже высокой степени совершенства. В «Двойнике» мы находим и многое другое, что впоследствии было развито и разработано писателем. Внутреннее раздвоение, борьба против собственного комплекса неполноценности, воплощение одной из сто-

рон душевной жизни в виде искаженного изображения своей личности — все эти мотивы встречаются вновь в зрелых произведениях Достоевского. Две массовых сцены на вечерах Клары Олсуфьевны являются прототипом тех массовых сцен со скандалом, которые играют такую большую роль в позднейших произведениях писателя; в «Двойнике» автор пользуется ими совершенно так же, как и в больших романах — они отмечают кульминационный и поворотный пункт в повествовании.

Но сравнение с позднейшими произведениями показывает и недостатки «Двойника». Главный из них тот, что сама личность Голядкина слишком незначительна, чтобы возбудить и удержать интерес читателя. Метод описания предмета не издали, а в непосредственной от него близости, создает возможность очень правдивого изображения; специалисты говорят, что с психиатрической точки зрения, описание душевной болезни в «Двойнике» не оставляет желать ничего лучшего (чего нельзя сказать о других произведениях такого рода, особенно о «Записках Сумасшедшего»); но читателю не специалисту-психиатру, читать «Двойника» скучно. Вообще вышеупомянутый метод сам по себе уже тяжеловесен и связан с большой подробностью изложения. Чтобы читатель не терял интереса, нужно сочетать этот метод или с интересной фабулой или с интересной личностью героя или с оригинальными идеями и взглядами — ничего этого в «Двойнике» нет и читать его скучно. Это и было главной причиной провала «Двойника».

Сам Достоевский был очень удручен этим провалом, особенно после громадного успеха «Бедных Людей»; последующие годы не принесли ему в этом отношении никакого утешения. Все его произведения следующих четырех лет были приняты читателями так же равнодушно или враждебно, как и «Двойник».

Причину этого нужно искать в самом писателе. Его произведения этого периода отличаются одинаково характерными особенностями формы, не облегчавшими чтение и неделавшими его приятным; в то же время это не компенсировалось ни интересной фабулой, ни глубокими мыслями. Достоевский еще находился в периоде поисков. Он искал способы проявить и развернуть всё своеобразие своего творчества; самоутверждение своей творческой индивидуальности становилось у него самоцелью, а это, конечно, не могло найти отклика у читателя или увлечь его. Все произведения этого времени носят характер опытов, все это короткие ве-

щи (рассказы или повести) и только в 1849 г. Достоевский начал длинный роман, оставшийся неоконченным. Но хотя произведения 1846-1849 остались незамечены публикой и были отвергнуты тогдашней критикой, для историка литературы они имеют громадное значение, именно как опыты, как та лаборатория, в которой вырабатывалось творчество писателя. В них лежит исток дальнейшего художественного развития, зародыши позднейших литературных приемов, эмбрионы будущих тем.

Н. С. Трубецкой

НАШИ ПОЭТЫ

II

ИРИНА ОДОЕВЦЕВА

Ей было «восемнадцать жасминовых лет», когда я впервые ее увидел, — и эта строчка ее стихотворения, написанного совсем недавно, верно и метко передает впечатление, оставшееся у меня в памяти. «Восемнадцать жасминовых лет...» Я был старше ее, даже значительно старше, но все мы тогда были молоды, как молод был и Гумилев, усердно старавшийся в качестве «мэтра» казаться умудренным жизнью, опытом, мыслями, отягченным глубокими знаниями, — и вдруг неожиданно превращавшийся в обыкновенного «русского мальчика», по Ивану Карамазову, очень талантливого, но несколько простодушного, наивного и в себе неуверенного.

Встретил я Ирину Одоевцеву, зайдя именно на те «студийные занятия», которые Гумилев вел с поэтами еще совсем юными, не начавшими печататься. Он священнодействовал, он как будто приоткрывал какие-то великие и важные тайны, — даже если речь шла о том, что в ямбе ударение приходится на втором слоге, а в хорее на первом, — он холодно отводил возражения и любил вскользь, с небрежным видом, упомянуть, что однажды он указал д-Аннунцио на метрическую ошибку в его строчке, а что Киплинг, помнится, особенно был благодарен ему за другое указание. Гумилев был в жизни приверженцем «театра для себя», причем преувеличивал людскую доверчивость или преувеличивал собственный свой авторитет и престиж, — что и привело к тому, что его считали в Петербурге человеком не умным. Это теперь многих вероятно удивит, но подтвердить это могут все, помнящие те времена и ту литературную среду. Гумилев способен был с серьезным и важным видом говорить, что намерен уединиться, чтобы посвятить лет десять, а то и больше, созданию поэмы, где с математической точностью, на основании им одним полученных сведений, будут изложены грядущие судьбы все-

ленной, или что он готов отправиться во главе отряда добровольцев на завоевание Индии, если «Его Величество даст на эту экспедицию свое высочайшее согласие». Но он был умен, даже редкостно умен, когда переставал ломаться, т. е. с глазу на глаз или в обществе двух-трех приятелей, на которых, — как он твердо знал, — его комедианство не действовало. Гумилев наделен был даром особой убедительности, правда, — не столько логической, сколько внутренней, духовной, трудно поддающейся определению. Не случайно же он стал «мэтром», в сущности без других к тому данных, кроме способности убеждать в своей правоте и даже непогрешимости. Он был к такой роли предназначен и играл ее с веселым задором и блеском, хотя, что скрывать, мало кто из его окружения считал его действительно большим поэтом или, проверяя его суждения о поэзии немедленно вслед за разговором с ним, признавал эти суждения столь же верными, как показались они полчаса тому назад.

Недостаточно было бы сказать, что к Одоевцевой Гумилев благоволил. Он сразу выделил ее из числа других своих «студисток», он обращался преимущественно к ней, если нужно было вспомнить что-нибудь из Пушкина или из Тютчева, он с улыбкой выслушивал ее соображения по поводу прочитанного, дополняя или опровергая их. Не знаю, действовала ли на него «жасминность» ее восемнадцати лет. Но нет сомнения, что он уловил и почувствовал ее одаренность и предугадал то ее творческое своеобразие, которому ни в каких студиях научиться нельзя. В литературных разговорах он любил со своим привычно-горделивым видом, слегка прищурившись и растягивая слова, упомянуть о «моей молодой ученице Ирине Одоевцевой», но это входило в игру: надо же было дать понять профанам и непосвященным, что учиться у него, Гумилева — большое счастье, исключительная удача. Надо было намекнуть, что если Одоевцева уже пишет стихи, обращающие на себя внимание, то потому, что ею именно он руководит. Но в глубине души он прекрасно знал, что после того, как Одоевцева усвоит стихотворную азбуку и таблицу умножения, ей никакие уроки больше не будут нужны. Гумилев был слишком проницателен, чтобы не видеть, что в «ученицы» Одоевцева не годится: она сама не могла бы дать себе отчета, почему одно стихотворение написала так, а другое совсем иначе, забыв о его наставлениях и советах, подчиняясь только внутреннему влечению.

Если бы однако я стал рассказывать всё, что удержалось

у меня в памяти, связанного с первыми выступлениями Одоевцевой в печати или в застигнутом революцией врасплох петербургском литературном мирке, воспоминания мои растянулись бы на десятки страниц. Помню, например, «вечер поэзии» в Доме Искусств на Мойке, когда Е. П. Леткова-Султанова, долголетняя приятельница Михайловского, сидевшая рядом с Акимом Волынским, слушая Одоевцеву и любуясь ею, шепотом повторяла:

— Аким Львович, посмотрите... да ведь это совсем наша Зина! Наша Зина!

Зина — это, конечно, Зинаида Гиппиус, лет за тридцать до того появившаяся в Петербурге, и одних смущавшая, других обольщавшая и стихами, и внешностью. Помню фельетон Льва Троцкого в «Известиях» о новейшей поэзии: все оказались в нем буржуазными отщепенцами и жалкими эпигонами, но кончался фельетон неожиданным комплиментом по адресу Одоевцевой. «Продолжайте, mademoiselle» — или что-то в этом роде. Смысл фразы был в том, что хотя сейчас Одоевцева — лишь буржуазная барышня, из нее может выйти толк: не в пример другим, она очень даровита.

Но оставляю прошлое, перейду от того, что «было» к тому, что «есть». Сейчас имя Ирины Одоевцевой — одно из виднейших в нашей поэзии. Перечитывая, повторяя наизусть некоторые ее стихи или хотя бы отдельные строчки, случается — спрашиваешь себя: что именно отличает их от всех других современных стихов? В чем их оригинальность, их прелесть? Ответ в первую минуту представляется легким. Однако, чем больше вдумываешься, тем неуловимее оказываются нужные слова и определения.

Одоевцева — подлинный мастер, хотя мастерство ее не имеет почти ничего общего со стремлением к стиху «как будто кованному» (Брюсов о Лермонтове) или с поисками незаменимых эпитетов. Она — мастер приблизительности, произвольности, легкости, не окончательной точности, и сознательно или безотчетно, она следует верленовскому принципу, согласно которому поэт в обращении со словом не должен обходиться «sans quelque méprise». Вот, например, та же строчка о «восемнадцати жасминовых лет»... Отчего «жасминовых»? Едва ли Одоевцева искала именно это прилагательное, едва ли зачеркивала другие, уже написанные, взвешивала, сравнивала, сопоставляла, — как обычно делают мастера, как делал Пушкин. Нет, слово повидимому пришло само собой, слетело с языка, и сразу прельстило, обрадовало, хотя вооб-

ражение могло бы подсказать и другое слово, которое тоже прельстило бы. Конечно, поэту менее искушенному или менее талантливому «жасмин» не пришел бы в голову, а если бы и пришел, то был бы отброшен, как бессмыслица: но у Одоевцевой, в прихотливейшем контексте всей ее поэзии — сплошь сотканной из догадок, намеков, скачков, перебросок, неожиданностей, непредвиденностей, отступлений, — у Одоевцевой эти «восемнадцать жасминовых лет» возникли органически, как будто без них и обойтись было нельзя, как будто место в стихотворении было им давно заготовлено. Объяснять нечего, да объяснять ничего и не надо, поскольку мы перенесены в мир, где закономерность феерическая и фантастическая полностью вытеснила порядок, основанный на представлениях для нас более привычных.

Она начала с «баллад», жанра, ставшего в ранние советские годы сразу популярным: нечто вроде рассказа в стихах, с современным, даже злободневным фоном взамен романтически-рыцарской бутафории, как бывало в балладах прежних. «Баллада о толченом стекле», «Баллада об извозчике», — кто из посещавших тогдашние петербургские литературные собрания не помнит на эстраде стройную, белокурую, юную женщину, почти что еще девочку, с огромным черным бантом в волосах, нараспев, весело и торопливо, слегка грассируя, читающую стихи, которые заставляли улыбаться всех без исключения, даже людей, от улыбки в те годы отвыкших? Потом она выпустила сборник «Двор чудес», хорошо и метко названный, поскольку чудеса в поэзии Одоевцевой совершаются сами собой, ежеминутно. Потом, со своими советскими бытовыми воспоминаниями и своим ирреалистическим умственным складом, она оказалась на Западе, в Париже, в годы, когда французский сюрреализм был еще окрылен молодым вдохновением и молодыми иллюзиями насчет какой-то «новой страницы» в творчестве.

О сюрреализме я говорить не буду: в нескольких словах о нем все равно ничего не скажешь. У большинства русских литераторов сложилось убеждение, что это была просто-напросто очередная снобическая блажь, ничего кроме пренебрежения не заслуживающая: это, конечно, не верно, — хотя с русской точки зрения сюрреализм действительно трудно было бы объяснить, как трудно было бы его и оправдать. Он понятен только, как давно подготовлявшееся, может быть даже неизбежное явление в той культуре, которая породила Декарта и считала себя в течение трех веков оплотом, твер-

дыней разума, отождествляемого со светом. Открытие, — или точнее, постепенно усиливавшееся подтверждение старых догадок, — что претензии разума на всесилие не вполне основательны, должны были вызвать потрясение, а крайности ведь заложены в человеческой природе, и сюрреализм по существу и был литературным проявлением этих крайностей, своего рода новым «штурм унд дрангом». Но еще раз: бегло и мимоходом об этом сказать что либо трудно.

Не думаю, чтобы Одоевцева испытала прямое влияние французских сюрреалистов. Нет, она вероятно лишь уловила то общее, что носилось в воздухе и что соответствовало ее собственному литературному стилю и внутреннему строю. Ее стихи не стали сюрреалистическими в строгом смысле слова, она не соблазнилась так называемым «автоматическим письмом», т. е. бесконтрольной записью всего, что проходит в сознании. Но скачки и перебои в ее поэзии участились, окраска стала прихотливее, логика и последовательность тематического развития оказались еще больше урезаны в правах, а случай все очевиднее торжествовал над необходимостью. Не раз в нашей критике указывалось, что Одоевцева — одна из немногих женщин-поэтов, полностью избежавших творческого воздействия Ахматовой, и это — бесспорная истина. Но дело не столько в другой мелодии стиха, в отсутствии той женственно-напевной, приглушенно-печальной, а то и протестующей интонации, которая у «златоустой Анны всея Руси» — по Цветаевой — создает впечатление, будто пишет она от имени тысяч и тысяч не совсем счастливо любивших женщин, сколько именно в а-логичности построения: у Ахматовой, строка за строкой, образ за образом, все движется по намеченной линии, у Одоевцевой же линии нет, а если линия неожиданно и обнаруживается, то можно быть уверенным, что тут же она судорожно исказится, взовьется, упадет, разобьется, заведя и читателя, и самого поэта туда, где оказаться им и не снилось.

Если поэзия Одоевцевой все же облегчает и радует, то потому, что с ней мы на минуту-другую уходим, ускользаем из мира трех измерений, мира, где дважды два — четыре, а пятью никогда не будет, уходим от всего того, словом, что в практическом преломлении непреложно отведенных нашему сознанию возможностей обуславливает обыденщину, длящуюся тысячелетиями и прерываемую, — но обманчиво прерываемую, — войнами, революциями, переворотами и прочими встрясками. Я умышленно употребляю слово «радует», хотя

выражение это давно уже набило оскомину: оно лживо и лицемерно, ибо всякий знает, что критик, будто бы «обрадовавшийся» хорошей книге на самом деле, никакой радости не испытал (а о чувствах братьев-писателей лучше и не говорить). Но поэзия Одоевцевой радует не как литературная удача, или — делаю уступку — не только, как литературная удача. Она создает мираж освобождения: кажется, что никакой плотно завинченной крышки над нами нет, кажется что ночью, в насмешку над законами природы, может блеснуть солнце, кажется, что можно жить, как порой хотелось бы, улететь куда вздумается, носиться в голубом эфире рядом с какими-нибудь потусторонними райскими птицами или даже ангелами. И хотя твердо знаешь, что ничего этого нет и никогда не будет, радость иллюзии остается.

«Стиль», как всем известно, «это человек». Правда, мысль Бюффона, которому изречение это приписывается, была несколько иная: Бюффон сказал, что стиль «о т человека», т. е. представляет собой личный вклад в творчество, где многое другое должно быть отнесено на счет влияний и заимствований. Но как иногда в истории литературы случалось, ошибочная цитата оказалась оригинальнее и глубже подлинных авторских слов, и в таком виде она и удержалась в памяти. Можно, однако добавить: «ритм — это человек», и даже больше, чем стиль. Ритм нельзя подделать, ритм фразы или стиха, — как, например, у Некрасова, — бывает неизмеримо значительнее дословного смысла того, что сказано, ритм — это основа, начало, скрытая сущность творчества, ключ к нему.

Безошибочно можно бы признать, вслушиваясь в стихи Одоевцевой, что родилась она для наслаждения жизнью, для беззаботного веселья, для смеха, счастья, любви, баловства, успеха, беспечности: в этом смысле ритм ее поэзии достаточно красноречив и убедителен. Однако в целом поэзия Одоевцевой гораздо менее беззаботна и беспечна, чем повидимому надлежало ей быть, — и тут я касаюсь той особенности ее творчества, которая по моему отчетливее чего либо другого его определяет. В глубине почти всего, Одоевцевой написанного, лежит, с каждым годом усиливаясь и будто приближаясь, какой-то «древний ужас», самому поэту непонятный, но и неотвратимый. Стихи, рвущиеся к свету, стихи ритмически и прирожденно веселые, бойкие, будто обрываются при виде тьмы, — и обрывается голос поэта, обрывается мелодия, внезапно сменяющаяся глухой жалобой... О, я не хочу ничего преувеличивать, не хочу по инерции пользоваться словом

«трагический» (слово, коробившее непогрешимый слух Толстого, согласно удивительной цитате из него, приведенной в «Русском языке» Виноградова), и делать из Одоевцевой, этого очаровательного в своей умственной непоседливости, в своей духовной неугомонности поэта, какого-то акмеистического Эсхила. Ужас, в ее поэзии присутствующий, — не тема, а видение. Она не ждала его, не предчувствовала, не искала его, она на него натолкнулась, и отступает в растерянности. «Так вот что такое жизнь?» — будто спрашивает Одоевцева в горестном изумлении, — «а я надеялась на другое...»

Но поставим здесь точку. Нет ничего более пустого и тщетного, пожалуй, даже бессмысленного, чем пересказ своими словами того, о чем написаны стихи, — как по традиции делается в наших учебниках литературы. «Поэт верит в Бога» — и тут же две строчки в иллюстрацию этого, «однако его смущают сомнения» — новые две строчки, «и если бы не благостное воздействие природы» — еще две или три строчки, — и так далее, на нескольких страницах, будто цитатами можно что либо в поэзии доказать, будто единство и сущность поэзии, подлинный «лик» ее не возникает лишь из сожженных, переплавленных, преодоленных, исчезнувших в ее костре противоречий! Поэзию Ирины Одоевцевой нельзя свести к логически стройным утверждениям. Оттого-то это и поэзия, оттого-то стихи Одоевцевой и надо читать. А прочитав, помнить — и признать, что их нельзя ни с какими другими спутать.

Георгий Адамович

ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ

(О ПОЭЗИИ ВЛ. КОРВИНА-ПИОТРОВСКОГО)

Думается, что не без некоторого всё же запоздания начала отмечать наша «большая» критика Вл. Корвина-Пиотровского, поэта несомненного и своеобразного. Поэтому, прочтя новый сборник поэзии Корвина-Пиотровского, было бы неправильным (да и не справедливым) не вспомнить его творчества более раннего, оставшегося почти незамеченным.

Первые сборники его стихов — «Полынь и звезды», «Каменная Любовь» — во многом, понятно, были еще незрелы, и не всегда характерны. Но вышедшие в берлинском издательстве «Слово» его «Драматические поэмы» уже полностью имели в себе все те особенности, на которые только теперь — тридцать лет спустя — по заслугам обращено внимание. «Обогащает и ум, и воображение, и чувство» (вспоминается, что именно за это поэзия Корвина-Пиотровского была близка и такому взыскательному и тонкому ценителю, как Григорий Ландау), — «Мастерски владеет формой», — «Задержка или вызов всяким модным причудам. А ведь какая при этом изощренность в игре и в смещении двух планов, реального и другого, призрачного...» — всё это отмечается теперь по поводу последнего сборника Корвина-Пиотровского «Поражение». Но всё это в самой своей основе уже заключалось в его «Драматических поэмах».

Среди особенностей, склонной к философии, музы Корвина-Пиотровского в первую очередь хочется отметить следующие ее черты. Когда предреволюционная эпоха русской литературы, подойдя к концу, оставила нашим поэтам в наследство натурализм, футуризм и символизм, Корвин-Пиотровский ,после некоторых скитаний в первых своих сборниках, очень скоро целиком обращается к первоначальным, чистым родникам нашей поэзии.

«Поэтический Берлин» тех времен, когда созревало дарование Корвина-Пиотровского, был совершенно вне «парижских» веяний, не интересовался ими и в высшей степени харак-

терно для творчества Корвина-Пиотровского, что ученичество его у Пушкина — без всяких посредников; к великому своему учителю подошел он вполне самостоятельно, чрезвычайно бережно, с любовью и благоговением, преломив его восприятием человека современных чувствований и ощущений. При этом, конечно, творчество Корвина-Пиотровского совершенно чуждо какой-либо стилизации и тем более слепой копии. Другое поэтическое преклонение Корвина-Пиотровского — Шекспир. Пушкин и Шекспир — это высокое соединение определяюще проходит через всю его поэзию, не только через «лирические драмы», но и через стихи, и через поэмы, проявляясь и в тоне, и в манере, а порою и сюжетно. Так, в прелестной драматической поэме «Смерть Дон-Жуана» Корвин-Пиотровский прямо отталкивается от Пушкина, начиная свое действие с пушкинского финала. Другая драматическая поэма «Король» имеет под собой несомненно шекспиро-пушкинскую основу и одновременно совершенно новый подход к теме «преступления и наказания».

В ряде стихов далее мы то и дело наталкиваемся на образы Шекспира, порою на образ самого Пушкина, а в последних своих поэмах Корвин-Пиотровский вводит иногда любопытнейшим приемом даже целые пушкинские строки.

Персонажи и герои «Драматических поэм» Корвина-Пиотровского — плоть и кровь нашего времени, их проблемы, сомнения и стремления, как сомнения и стремления и самого поэта, входящие часто вводным лирическим раздумьем. Меньше всего Корвин-Пиотровский гонится за историческим реализмом, подчеркивая это щедрыми анахронизмами. Через маски героев Ренессанса всюду проступают черты людей современных с владеющими ими чувствованиями и страстями... — Словно для того, чтобы сочнее и ярче оттенить черты времени нашего — гораздо удобнее Корвину-Пиотровскому глядеть из той, другой эпохи, более ему понятной и близкой, чем наша. И кажется мне, что и в дальнейшем своем творчестве продолжает глядеть он на наше время из эпохи другой и в этом лежат начала его типичного романтизма.

Излюбленный размер Корвина-Пиотровского — тоже пушкинский: классический ямб. Можно сказать, что большинство из написанного Корвиным-Пиотровским написано ямбом. Однако, совершенно неуместен был бы упрек в музыкальной однотонности: выработавшись в подлинного мастера ямба, Корвин-Пиотровский умеет дать ему звучания разнообразнейшие, ямб подлинно играет у него всеми красками

и в его руках размер строго классический без всякой навязчивости, убедительнейше делается размером самым современным.

Необходимым кажется отметить еще и следующие совершенно особые черты дарования Корвина-Пиотровского, тоже уже совершенно ясно обозначившиеся в «Драматических поэмах» и составившие основу всего его творчества. Прежде всего — это тяготение к большим формам. Это было достаточно неожиданно, и смело: не представлялось ли, что такие формы ушли целиком в прошлое, ныне же, «в нашу эпоху стремительности и динамизма» для них нет ни времени, ни покоя? Кроме того «Драматические поэмы» насыщены не только чистой лирикой, но тяготеют и к героике и если не всегда, то очень часты в них «плащи да шпаги, да лица полные воинственной отваги»... В соответствии тому и тон «Драматических поэм» — мужественный полный голос.

Свежий воздух, веющий в «Драматических поэмах», самый размах их тем, явились полной противоположностью царившему сравнительно долгое время модному парижскому учению о поэзии «малых форм», упершемуся в конце концов в интимные дневниковые записи, противоположностью той «школе» поэтического шопота и полутонов, которая тематически ушла в кропотливый самоанализ и, тщательно отгородившись от живого внешнего мира, предпочла пары искусственного парника притокам свежего воздуха.

Яркое, но одинокое явление музы Корвина-Пиотровского оказалось в свое время совершенно против течения, не только ни на какую школьную полочку не укладываясь, но еще и расшатывая «школьные» уставы. Не потому ли оценка поэтических достоинств Корвина-Пиотровского и оказалась отложенной до тех пор, когда «школа», переименовавшись сперва скромно в «парижскую ноту», потом оказалась вовсе «распущенной», с предоставлением бывшим ученикам полной свободы. Впрочем, ученики сами «выбрали» ее... А бывшие наставники, отказавшись от нетерпимости, начали, после всех ухищрений, утверждать единственное естественнейшее пожелание: чтобы стихи были хороши. Этому ясному пожеланию поэзия Корвина-Пиотровского давно отвечает. Но все же, как и для многих, не прошла даром и для Корвина-Пиотровского «парижская школа». В творчество Корвина-Пиотровского, уже казалось бы вполне определившееся, внесло некоторую кривую переселение в Париж и в первом выпущенном там сборнике «Воздушный змей» в достаточ-

ной мере отдается дань требованиям царившей тогда «школы». В противоположность большим формам и глубокому дыханию появляется отгораживание от мира внешнего и создается мир искусственный. Вместо стремления к крупным темам, задачам и характерам — типичный для русского поэтического Парижа микрокосмос и разглядывание его и себя во всех подробностях... Все окутывается флером серого пессимизма, былая героика вот-вот готова перейти в типичный парижский шопот. Формальный блеск иногда становится самодовлеющ и тогда кажется, что наш поэт предается какой-то формальной игре, сходной с волхвованием, заключив свою поэзию в реторту. И хотя благим залогом оставались в «Воздушном змее» несколько истинно великолепных стихотворений, в которых основные черты музы Корвина-Пиотровского не стерлись, всё же тяжко, мучительно давит ее в этом сборнике нависший пресс «школы».

Тем радостнее появление последней его книжки «Поражение. Поэмы и стихи о России». В ней Корвин-Пиотровский становится снова самим собой и легко и уверенно освобождается от того наносного, что стесняло его и движения, и дыхание*. Снова, не смущаясь уже в выборе главной темы своего сборника — о России, о войне — движется Корвин-Пиотровский против течения: надо припомнить, что когда писался этот сборник, как раз в это время достаточно категорически гремели наставления вроде того, что «военная тема приелась, наскучила, независимо от того, хорошо или плохо написаны подобные вещи», от тем о России отмахивались, будто действительно все они исчерпывались надоевшими «березками и церковками»... И вот именно этими осмеянными и «запрещенными» темами вдохновляется Корвин-Пиотровский.

Россия переполняет новые поэмы и стихи Корвина-Пиотровского. О ней «Золотой песок» и «Ночная прогулка» — на фоне жизни нынешней воображаемое путешествие вглубь детских лет; она и в тематически к этим поэмам примыкающем «Возвращении» — задушевном рассказе о судьбе ев-

---

* Весьма характерно, что и основоположник «школы» только много лет спустя после того, когда «школа» естественно прекратилась, только тогда, после долгого молчания, смог вернуться к писанию стихов, стихов без всякой программы и канона, а просто — очень хороших стихов!..

рейского эмигранта, с которым судьба привела Корвина-Пиотровского разделить в Париже камеру смертников; Россией, но не «Золотого песка», а другой, страшной, исполнено и «Поражение» — тоже мысленное путешествие, но в кошмароподобные годы гражданской войны.

Кроме темы общим для всего сборника является и размер — все тот же излюбленный Корвиным-Пиотровским ямб. В открывающей сборник поэме о «счастьем меченых днях» далекого детства льется этот ямб такими легкими, словно прозрачными строками, что кажется действительно видишь этот струящийся, сияющий, пересыпаемый из одной детской ладони в другую песок «розовой Роси» и вся эта поистине прелестная вещь, внутренне чистая и радостная, словно проникнута отблесками солнечного трепетания. Совсем иное звучание того же ямба в соседствующем «Поражении», размер которого явственно передает то тяжкий, утомленный шаг пехоты, то легкую кавалерийскую иноходь. И совсем опять по иному, в один выдох, вырываются стихи в цикле о России.

Заключенный в этих ямбах поэтический язык Корвина-Пиотровского всегда точен, краток, силен и, вовсе лишенный новшеств, отличается каким-то духовным изяществом, истинным аристократизмом. Поэтические образы, сделанные несколькими строчками, иногда словно мимоходом, так предельно отчетливы, что точно сочный рисунок углем сразу видим мы «вихрастого штаб-трубача», ротмистра, жующего «табачные усы» и «еврейского мальчика в шляпе рыжей»... В романтической полуреальности стремятся видения через страницы Корвина-Пиотровского, принимая иногда черты истинно апокалиптические, как в поэме «Поражение», когда суровым пафосом насыщен стих, а в звуковом сочетании ясно слышится звук страшной трубы. Но, — да разрешено будет отметить и это, — одно из видений вызывает некоторое недоумение: как-бы слияние «Всадника Медного — На вздыбленном своем коне» с «тем, другим, следящим за ним неутомимо-узкими глазами». «Есть сходство грозное в руке — С той, устремившейся куда-то...» — В мечте о подобном «сходстве», в воскрешении миража двадцатых годов — не чересчур ли безоговорочное следование пушкинской обмолвке, какой «прости, Господи», должна быть поэзия?

Характерно для поэм сборника еще и то, что Корвин-Пиотровский, подобно опытному лектору, оживляющему свой предмет более легкими вводными вставками — в свою «эле-

гию и эпопею» вводит чудесные лирические отступления и не чуждается и «огня нежданных эпиграмм». Как, например, метко, буквально двумя штрихами очерчены бдения в монпарнасском кабачке. Какая дразнящая ирония в перечислении «литературной родни» на книжной полке поэта!

Наконец, еще нечто объединяющее сквозит во всей этой книжке. Сам Корвин-Пиотровский определяет это так: — «Живой материал ..... где бьется — Без гофрированных прикрас — Живое сердце в добрый час».

Это высказано чрезвычайно верно. Действительно, в «живом материале» здесь бьется «живое сердце», предохраняя, чтоб скорбная меланхолия и скептицизм не перешли бы в отрицание и нигилизм, и сообщает творчеству Корвина-Пиотровского столь ныне нечастый элемент положительности и утверждения.

Словно в стороне от поэм стоят в этом сборнике несколько стихотворений о России. После законченности, высказанности поэм — уже в самой манере этих стихотворений есть что-то словно нарочито неоконченное, невысказанное или недосказанное. Со стороны кажется, что это какие-то опыты именно с той «магией стиха», о которой не без иронии говорил Корвин-Пиотровский в «Золотом песке», попытки «божественное косноязычие» возвести в некий поэтический принцип. — «Увы мне! Я заблудился в собственных умствованиях!» — восклицает один из героев эврипидовской трагедии.

Давний ценитель поэзии Корвина-Пиотровского от души желает, чтобы ему удалось такого восклицания избежать.

Ю. Офросимов

СТРАНИЦЫ ВОСПОМИНАНИЙ

I. ГАТЧИНА

С первых дней февральской революции временное правительство назначило бывшего председателя 2-й Думы Ф. Головина уполномоченным по делам бывш. министерства Двора. К кругу его ведения, разумеется, относились и загородные дворцы. Очень скоро стали поступать тревожные слухи об опасностях, которым они будто бы подвергаются. Исторические памятники сами по себе, они к тому же содержали большое число предметов искусства высокого качества; невозможно было оставлять их без надзора. Было решено послать комиссии специалистов для охраны художественных ценностей, по крайней мере в самые важные дворцы: Царское Село, Петергоф и Гатчину. Павловск в то время был еще частным владением наследников вел. князя Константина Константиновича, которые там и жили.

В первых числах мая в Гатчину были направлены директор музея и художественной школы Штиглица, бывш. тов. министра иностранных дел Александр Александрович Половцев, редактор-издатель художественного журнала «Старые Годы» Петр Петрович Вейнер и я. Думаю, что в эту минуту и моим друзьям и мне было не совсем ясно, как нам следует организовать работу. Надо ли просто пересмотреть содержимое дворца, упаковать все художественно ценное и отправить в центральные музеи, или оставить на местах под нашим управлением. Самое название комиссии «по приемке и регистрации» могло быть истолковано различно.

Нам, однако, очень быстро стало ясно, что дворцы представляют собою исторически сложившиеся организмы, тесно связанные с происходившими в них событиями, и памятники художественных вкусов последовательных поколений. Разрознивать их было бы крупной ошибкой. Их надо было сохранять как самостоятельные культурно-исторические и художественные музеи.

Начать следовало во всяком случае с приемки. И тут сказалась наша неопытность. Мы занялись составлением инвен-

таря, в то время как старые инвентари были налицо, и нужно было только по ним осуществить приемку, а затем уже начать чисто музейную работу. Хуже того, мои друзья настояли, и я с ними против моего убеждения согласился, чтобы этот новый приемочный инвентарь был бы в то же время и научным и содержал подробное описание каждого предмета. Этим мы нагрузили на себя огромный труд, забрели в дебри и за наше пребывание в Гатчине так и не поспели довести дело до конца.

В помощь нам А. А. Половцев пригласил учеников школы Штиглица, что также оказалось ошибкой. Школа прикладного искусства давала лишь весьма ограниченное художественно-историческое образование. Это были люди милые, но серенькие, и их труд мог быть только механическим составлением описаний мебели, бронз, фарфора и проч., для более ответственных работ по картинам, скульптурам и истории дворца их привлекать было бесполезно. Со своей стороны я пригласил двух-трех человек из числа слушателей основанного мною в 1910 г. Института Истории Искусств, о котором речь впереди.

Для меня лично работа в Гатчине связывалась со странным ощущением. Этот дворец был любимым местопребыванием императора Павла I-го, одним из фактических убийц которого был мой прадед граф Николай Александрович Зубов, брат последнего фаворита Екатерины II, князя Платона. Я представлял себе сцену, когда сюда в Гатчину 5 ноября 1796 г. прискакал Николай сообщить Павлу Петровичу, что императрица при смерти. Платон, потеряв голову, послал своего брата к цесаревичу, думая этим приобрести благосклонность будущего государя, к которому до тех пор относился с презрением, уверенный в том, что Екатерина передаст престол помимо сына непосредственно внуку — Александру Павловичу. Я видел и императора Павла в гатчинской дворцовой церкви воспреемником моего деда Александра Николаевича, милость вероятно оказанная скорее его матери, дочери Суворова, чем ненавистной семье Зубовых, и, наконец, отвратительную сцену цареубийства.

Наша задача, как она вскоре обрисовалась, состояла в том, чтобы привести дворец в тот вид, в котором он был в XVIII-м веке. Надо было удалить все то, что нанесли позднейшие эпохи, при помощи старинных инвентарей водворить на прежнее место каждый предмет, вплоть до последней мелочи и представить это обиталище таким, будто тогдашние хозяева

только что его покинули. В ту минуту мы еще имели редкое преимущество перед дворцами западной Европы, что могли отыскать тут же, только в других комнатах, почти все предметы того времени; только нужно было выяснить их первоначальное место и на него их поставить. Сколько радостных неожиданностей готовили нам древние инвентари!

Эта работа, конечно, требовала много такта. Во дворце были части, переделанные до неузнаваемости в XIX-м веке, над боковыми корпусами при императоре Николае Павловиче даже надстроили два этажа. Тут царили другие эпохи, и было бы безумием пытаться воскресить в этих покоях XVIII-й век. Наоборот, в них надо было сохранить и даже восстановить эпохи Николая I, Александра II и Александра III, независимо от их эстетического достоинства, как исторический документ. Случалось, что решение принять было трудно.

XIX век часто совершал вандализмы. Так во дворце находилась ценнейшая серия брюссельских шпалер XVI-го века, увезенных в свое время из Варшавского Замка. Их в Гатчине частично изрезали, из бортов вырезали отдельные орнаментальные мотивы и набили их на спинки кресел, или просто борты обрезали, когда шпалеры оказывались слишком большими для стен; в некоторых были прорезаны отверстия для печных вьюшек. К счастью удалось собрать все кусочки, разбросанные по дворцу, и А. А. Половцев провел много недель над подбором их к тем коврам, к которым они принадлежали. В условиях того времени была исключена возможность окончательного восстановления; только manufacture des Gobelins в Париже могла произвести эту работу. Пришлось оставить эти шпалеры в том состоянии, в котором они были, с пришпиленными к ним кусочками. Позже поляки потребовали их, и советское правительство на это согласилось, хотя, помнится, при отдаче не могло не надуть хоть немного Польшу и несколько ковров удержало, чем разрознило серию. Не знаю пережили ли они разрушение Варшавы в последнюю войну.

Была также во дворце прекрасная мебель XVIII-го века, густо выкрашенная ужасной краской под орех. Надо было очистить ее, не повредив находившуюся под ней позолоту. Нужных для этого снадобий тогда достать было невозможно и эта работа производилась при помощи маленького острого ножика.

Много картин находилось в печальном состоянии. Они висели на горячих стенах, в которых были дымоходы, и живопись буквально сварилась. Другие картины провели многие

годы в темных помещениях и потемнели. Вытащив их на свет, мне пришлось наблюдать феномен, как понемногу краски становились ярче. Так например я день ото дня видел превращение чудесной большой картины Паоло Веронезе — «Ослепление Савла», — которую я повесил у себя в кабинете.

Гатчинский дворец был построен в шестидесятых годах XVIII-го века итальянским архитектором Антонио Ринальди для первого фаворита императрицы Екатерины II Григория Орлова. Он представляет собой в центре продолговатый трехэтажный прямоугольник с двумя квадратными башнями со стороны сада. Закругленными флигелями он соединяется с двумя квадратными корпусами со двором внутри каждого из них. Первоначально одноэтажные, они при Николае Павловиче были надстроены и сейчас имеют три этажа, из них один антресольный. Левый корпус зовут кухонным карэ, правый — арсенальным. Эти три части здания образуют т. обр. нечто вроде подковы вокруг т. наз. экзерцирпляца. После смерти Орлова в 1783 г. Екатерина купила Гатчину от его наследников и подарила ее цесаревичу Павлу Петровичу. Его архитектор Винченцо Бренна внес некоторые изменения во внутреннюю отделку, вследствие чего в ней наблюдаются два стиля, хотя и близкие по времени, но все же ясно отличающиеся друг от друга. Манера Ринальди представляет собой переход от рококо к раннему классицизму, от Людовика XV к Людовику XVI; его формы еще обладают известной мягкостью. Манера Бренны значительно суше в своих линиях. В отличие от большинства русских дворцов, в частности Зимнего, Царскосельского, Петергофского и Павловского, фасады которых оштукатурены и крашены клеевой краской, Гатчинский облицован известняком, т. наз. пудожской плитой, добываемой вблизи на берегах речки Пудоги. Это придает ему в связи с башнями и низким бруствером перед пляцем немного замкообразный вид, усугубленный тяжелыми надстройками николаевского времени.

Лето 1917 г. прошло для нас в мирной работе, в то время как в стране происходили чреватые последствиями события; борьба между Корниловым и Керенским, первое неудавшееся июльское восстание большевиков и постепенное разложение армии. Все это нас трогало лишь поверхностно, т. к. мы были всецело поглощены нашими интересами. Тени прошлого воскресали вокруг нас. Но это воскресение было кратковременной вспышкой среди враждебного мира, накануне окончательного погружения в ночь. Сегодня, после второй

мировой войны, дворцы, превращенные в развалины можно отстроить, но нельзя возвратить им аромата жизни, связанного со множеством навсегда погибших предметов.

К осени А. А. Половцев перебрался в Павловск, которым его попросили заняться владельцы. Там жили вдова вел. кн. Константина Константиновича Елисавета Маврикиевна, ее дети и королева Эллинов Ольга Константиновна. После октябрьского переворота А. А. остался в Павловске и на тех же основаниях, что и я в Гатчине, еще два года продолжал там работать.

Тогда же П. П. Вейнер вернулся в Петербург, и я остался в Гатчине один с моими молодыми сотрудниками.

Приближался конец октября. Все знали, что на 25-е число большевики назначили захват власти. Только временное правительство, казалось, этого не подозревало. В Зимнем дворце раз в неделю собирался образованный Ф. Головиным высший совет по делам искусств, членом которого был и я. 18 октября, кажется это было в пятницу, происходило заседание; мы были почти уверены, что оно будет последним, и расходясь постановили собраться через неделю если.....

Я вышел на Набережную вместе с Михаилом Ивановичем Ростовцевым; мы говорили о сроке, который пророчествовали большевистскому правительству, если бы ему удалось оказаться у власти; кто говорил: «три дня», кто: «три недели», кто: «три месяца»; больше этого никто не давал. Михаил Иванович сказал: «Большевикам захват удастся, они останутся очень долго и наделают много вреда».

Неделю спустя, 25 октября, я собирался сесть завтракать в моих комнатах в кухонном карэ Гатчинского дворца, как во двор влетел автомобиль с английским флажком. Приготовленный к серьезным событиям на этот день, я не был слишком удивлен, когда мне доложили, что приехал Керенский, бежавший из столицы. Он вошел к коменданту гатчинского гарнизона, полковнику Свистунову, занимавшему несколько комнат в нижнем этаже. Адъютант Керенского, мой приятель, присяжный поверенный Борис Федорович Книрша, офицер военного времени, сейчас же поднялся ко мне и от него я узнал о необычайных событиях, происшедших в это утро в Петербурге. Брожение в тамошнем гарнизоне достигло накануне такой степени, что председатель совета министров не чувствовал себя в безопасности в Зимнем дворце, где он поселился в частных комнатах бывшего императора. Он предпочел переехать на эту ночь в соседнее здание шта-

ба войск гвардии и округа на Дворцовой площади по ту сторону Миллионной улицы. Тут у него созрел план отправиться на фронт за войсками, на которые он мог бы опереться. Утром ему, однако, пришлось установить, что все сообщения между ним и внешним миром прерваны: телефонные провода были перерезаны, из всех военных автомобилей, в большом числе стоявших на площади, были удалены свечки. Первый министр не мог воспользоваться ни единым способом передвижения. Оставалась одна надежда — помощь иностранного посольства.

Бешеным аллюром автомобиль направился в Гатчину, где небольшой гарнизон был еще сравнительно спокоен. У меня, однако, было впечатление, что этот маршрут был выбран Книршей, имевшим личные причины остановиться в Гатчинском дворце, куда его притягивал некий магнит. Так иногда мелкие причины обусловливают крупные события.

Позавтракав у Свистунова, Керенский поехал дальше по направлению к Пскову в другом автомобиле, т. к. посольский вернулся в Петербург. Под Псковом стояла под командой генерала Краснова кавалерийская дивизия из донских казаков, та самая, что играла роль во время столкновения Корнилова с Керенским.

Мне стало ясно, что с этой минуты находившийся на моем попечении дворец, попадает в орбиту политических событий. Это в первую очередь было последствием того, что в небольшое помещение нижнего этажа, еще до нашего появления здесь, вселился комендант гарнизона. С тех пор как мои друзья и я приняли на себя охрану находившихся тут художественных ценностей, мы тщетно боролись с этим положением вещей, предвидя возможные последствия.

Остальная часть дня 25 октября прошла в Гатчине спокойно, но на следующий день до нас дошли слухи, что накануне вечером в столице произошел большевистский переворот, и что временное правительство было арестовано в то время как оно заседало в Зимнем дворце в отсутствии своего председателя. Но точно мы ничего не знали.

27 октября Керенский вернулся в Гатчину в сопровождении кавалерийской дивизии, следовавшей за ним нехотя. Я еще вижу Керенского, входящим, заложив руку за борт военного френча, в ворота Кухонного Карэ во главе офицеров. Он направился в квартиру коменданта. Я еще был должностным лицом состоявшего под его председательством правительства, что обязывало меня в качестве «хозяина» дворца

справиться о его желаниях. Когда я вошел к коменданту, Керенский только что начал партию на маленьком, стоявшем там биллиарде и встретил меня с кием в руке. Он попросил меня отвести комнаты для него и его свиты.

Перспектива поселить во дворце целую казацкую дивизию меня не радовала; минута с точки зрения музейной была самой неподходящей для допуска в здание мало дисциплинированной массы. Дело в том, что за несколько недель до того высший совет по делам искусств решил, ввиду продвижения немецких войск к Петербургу, эвакуировать в Москву содержимое всех музеев столицы и окрестностей. Один среди всех членов совета я возражал против этой меры и навлек на себя недовольство коллег тем, что сказал, что рассматриваю художественные ценности как ценности международные и предпочитаю видеть их в целости в неприятельских музеях, чем погибшими на русских железных дорогах с их совсем расстроенным транспортом. И в мирное время подобное предприятие было бы сопряжено с риском ввиду огромного количества хрупких предметов, подлежавших упаковке и перевозке, но в ту минуту это казалось безумием. Лишь чудом мир избежал огромной катастрофы, гибели приблизительно сорока Рембрандтов Эрмитажа, всех его Рубенсов, Мадонны Альбы Рафаэля, всех золотых кладов юга России и т. д. Оставшись с моим мнением в одиночестве, я предоставил другим музеям заниматься укладкой и отправкой, а сам старался под разными предлогами затягивать дело как только было возможно. Предлоги найти было легко: отсутствие рабочих рук, упаковочного материала и проч. В конце концов мне все же пришлось хотя бы сделать вид, что я занят упаковкой. Для этой цели многие ценные предметы были вынесены из исторических комнат в служебные помещения кухонного карэ. Это как раз совпало с пришествием непрошенных гостей.

В этот первый вечер я отвел несколько комнат Керенскому, Краснову и высшим офицерам, конечно в кухонном карэ, строго изолируя центральный корпус и арсенальное карэ. Вся остальная дивизия расположилась под открытым небом на экзерцирпляце перед дворцом; лошади заменяли казакам подушки. Я не сомневался, что, если пребывание войск в Гатчине продолжится, мне так дешево не отделаться. Так и случилось: ночь за ночью от меня требовали все новых и новых комнат, и ночь за ночью мне с помощью моих сотрудников приходилось перетаскивать предметы из одной

комнаты в другую. Пока что, слава Богу, лишь офицеры старались проникнуть во дворец, поэтому не было еще слишком большого беспорядка, хотя мебель уже «начинала страдать». Солдаты все еще ночевали снаружи.

Некоторые офицеры собирались за моим столом. К счастью я мог угостить их водкой несмотря на бывшее в то время в силе запрещение. Под предлогом реставрации картин я получил полведра спирту и сам приготовлял свою водку. Полведра спирту дает больше ведра водки, четыре огромных бутыли; в несколько дней мой запас был исчерпан.

Книрша, из адъютантов ставший управляющим делами не существующего временного правительства, сидел за моим письменным столом и составлял радио-телеграммы «всем, всем, всем», объявлявшие миру, что сведения из Петербурга о захвате власти коммунистами ложны, что за исключением столицы вся страна верна временному правительству.

Не помню точно, в какой из дней пребывания Керенского во дворце у меня был телефонный разговор с Петербургом с помощником Головина ныне покойным Макаровым. Из этого разговора я заключил, что и там многие разделяли иллюзии Книрши и ждали прихода казаков. Удивительно, что телефонное соединение с одной стороны внутреннего фронта на другую было возможно. Далеко еще не все административные здания были в руках большевиков.

В первый же вечер ко мне вошел офицер гатчинского гарнизона Печенкин, обвешенный порядочным числом ручных гранат. Он уже раньше был мне известен как монархист, заядлый враг революции (он предлагал мне войти в монархическую организацию) и кандидат в дом умалишенных. Он во что бы то ни стало желал объяснить мне конструкцию ручной гранаты и доказать, что она не может взорваться без детонатора. Я отвечал, что моя и его голова меня заботят меньше чем окружавшие нас произведения искусства, что я ему верю на слово и от демонстрации прошу воздержаться. Он тем не менее бросил на пол свои гранаты и к счастью оказался прав, взрыва не последовало. За сим он сообщил мне, что на утро, когда войска двинутся в поход против большевиков, он намерен оказаться вблизи Керенского и убить его своими гранатами или другим способом. Как многие крайние правые в то время, он видел в большевиках орудие для достижения своих контрреволюционных целей.

Несмотря на мое отрицательное отношение к Керенскому, убийство, задуманное полусумасшедшим, конечно, надо

было предотвратить. Я предупредил Книршу, советуя ему обезвредить Печенкина, не причиняя ему зла, что было бы и ненужным и опасным для него в эту минуту. Книрша спустился за приказом об аресте, а я занял Печенкина разговором, гуляя с ним по корридорам, окружающим двор кухонного карэ. Удивление Печенкина было крайним, когда появился Книрша и заявил ему, что он арестован. Позже, когда кости упали и победоносные большевики его освободили и наградили должностью, он говорил мне, что не может себе представить, кто мог выдать его секрет. На мое счастье он вероятно болтал и с другими о своих планах.

На заре «армия» выступила в бой. У нас день прошел спокойно. Если положение в эту минуту было бы мне столь же ясно как 48 часов позже, я вероятно принял бы другие меры предосторожности. К сожалению мои руки были связаны: дворцовые лакеи выбились из сил, обслуживая гостей, я не мог привлечь их и должен был рассчитывать только на моих научных сотрудников. Я, конечно, ожидал, что у меня будут требовать все новых помещений, но не предвидел, в каком размере.

Когда к вечеру войска вернулись в Гатчину, уверенность в победе значительно ослабела. Повидимому под Царским Селом, где произошла встреча с силами большевиков, сопротивление последних превзошло ожидания. С их стороны сражался приблизительно весь петербургский гарнизон. Артиллерийские снаряды скрещивались над крышей Дворца, к счастью, его не задевая. Офицеры, уставшие от боя и несколько разочарованные, не хотели больше ночевать снаружи, и мне пришлось уступить им большую площадь дворца, нежели я предполагал. Как мог я объяснить им, что в этом дворце с сотнями комнат я не могу найти для них места! Центральный корпус и Арсенальное карэ я считал неприкосновенными, и мне до конца удалось защитить эту позицию; но в кухонном карэ я уступал комнату за комнатой. Я клал по четыре, по пять офицеров в каждую, они устраивались, как умели, на диванах, на креслах.

Вечер принес скверные вести, у всех начинало слагаться убеждение, что противник располагает превосходящими силами. Ночью какой-то солдатик, стоявший на часах в корридоре, ворвался в комнату одной из моих сотрудниц, княгини Шаховской, заявляя, что большевики окружают дворец и будут его обстреливать артиллерией: «Как бы нам всем тут не погибнуть!» Меня немедленно разбудили. Первой

моей заботой были произведения искусства, второй — сотрудники. Последним я велел немедленно покинуть дворец и на эту ночь искать себе пристанища где-нибудь в городе. Мне не пришлось этого повторять, они смылись в одно мгновение, кроме княгини Шаховской, женщины храброй и обожавшей сенсации; она отказалась последовать моему совету и настояла на том, чтобы остаться во дворце.

Уже раньше мною были намечены самые ценные предметы, которые следовало в минуту опасности отправить в надежное место. К ним относилось несколько картин, среди них — Св. Семейство Ватто, редкий для этого художника сюжет. Впоследствии эта картина была перенесена в Эрмитаж, а в 1928 г. продана на одном из советских аукционов в Берлине. От военных властей я получил автомобиль, нагрузил его, поскольку было возможно и с помощью кн. Шаховской отвез эти вещи на дачу одного уполномоченного Головина по хозяйственной части дворца. Затем мы вернулись во дворец и стали ждать обещанной бомбардировки, но ждали тщетно. Солнце взошло, неприятеля не было и тени.

Известия, доходившие до нас в следующие дни с «театра военных действий» были удручающи. Сомнений больше не могло быть, большевики были сильнее; три дня тому назад никто бы этому не поверил. Игра была проиграна, и, как следствие этого сознания, дисциплина, как среди офицеров, так и среди солдат, с минуты на минуту падала. Я уже потерял контроль над помещениями, в них проникали кучками; где не хватало мебели, располагались на полу. Солдаты тоже проникли во дворец, наводнили корридоры, входили в комнаты и штыками писали на картинах: «сею картину видел солдат такой-то». Только исторические комнаты оставались закрытыми; но это было лишь относительным утешением: в кухонном карэ было еще достаточно ценных предметов, приготовленных к укладке. Кроме того последние поколения царской семьи, ничего в искусстве не смыслившие, отправляли в эти служебные помещения предметы высокого качества, в то время как стены их собственных комнат украшались вырезанными из иллюстрированных журналов портретами красавиц и открытками.

Единственной возможностью спасения этих объектов было бы отправить их обратно в исторические помещения, но это не всегда было делом легким: в занятых комнатах оказывали сопротивление, да подчас и не было физических сил. Впрочем, это были лишь цветочки, ягодки были впереди.

Большевики владели оружием более действительным чем ружья и пушки — пропагандой. Нескольких дней прошедших со времени первой встречи между казаками и красными оказалось достаточно для начала тайных переговоров о выдаче Керенского в обмен на обещание свободного отхода на Дон с оружием в руках. Об этом поползли слухи, скоро ставшие уверенностью. О них узнал и Керенский. Ко мне пришел Книрша с вопросом, соглашусь ли я в случае надобности спрятать Керенского во дворце, все закоулки которого я знал, или помочь ему исчезнуть. Я обещал сделать, что будет возможно в нужную минуту. Дворец громаден, две трети его еще находятся под полным моим контролем, там много закоулков, старые дворцовые лакеи вдовствующей императрицы, последней обитательницы дворца, мне преданы, видя во мне как бы блюстителя интересов прежних владельцев, я могу рассчитывать на их молчание, если бы пришлось спрятать где-нибудь Керенского на сутки, а затем вывести его незаметно наружу. Если мне не изменяет память, это было 31 октября; я сидел за завтраком, когда вбежал Книрша: «Идите, пора, Керенского сейчас выдадут, он должен бежать». Мы входим в его гостиную, его там нет; мне говорят, что он переодевается в соседней комнате. Я жду, время проходит, наконец сообщают, что он уже ушел. Матрос дал ему свою форму, он надел автомобильные очки, прошел в таком виде мимо часового через ворота кухонного карэ, сел в автомобиль и уехал. Годами позже на печке одной из его комнат была найдена его записная книжка. Какой-то советский мазила написал картину, изображающую бегство Керенского из Гатчины; он переодевается сестрой милосердия, в то время как его адъютанты жгут бумаги в печке. Версия нелепая, во дворце не было сестер, как не было и раненых, доказательство что бои были не слишком кровопролитны.

С отъездом Керенского моя задача, однако, не оказалась исчерпанной. Явились Книрша и начальник штаба Петербургского военного округа, Кузьмин, старый революционер, бывший в 1905 г. президентом одной из кратковременных местных республик, выроставших тогда как грибы в Сибири. Он был как и Керенский с-р'ом. На свою должность он был назначен недавно, заместив Петра Александровича Половцева, помощником которого он до тех пор был. За этими двумя шел молоденький прапорщик Миллер, только что назначенный адъютантом Керенского, когда Книрша попал в управляющие делами. К ним присоединились еще один или

два офицера. Они все просили меня, раз Керенский ушел, заняться ими, считая, что они погибли, если попадутся в руки большевикам. В особенности боялся Книрша, накануне арестовавший самых видных большевиков Гатчины; он чуть было их не повесил; счастливая звезда удержала его в последнюю минуту.

Им всем я сказал следовать за мной. Не знаю, как тут же очутился представитель исчезнувшего мира, бывший начальник дворцовой полиции царского времени. Он еще занимал комнату во дворце. Я повел их через центральный корпус в самые отдаленные комнаты в антресолях арсенального карэ, где я мог их спрятать. Когда я предложил им там остаться, уверяя их, что в пище у них недостатка не будет, я увидал, что они так боятся, что я решил немедленно найти возможность вывести их из дворца. О воротах и дверях нечего было думать, у всех стояли часовые из казаков. Оставались окна, смотревшие в сад. Я повел моих подзащитных в нижний этаж арсенального карэ в личные комнаты вдовствующей императрицы. За углом направо был фасад на площадь, где стояли войска. Там часовой ходил взад и вперед; он мог, дойдя до угла, бросить взгляд вдоль садового фасада. Надо было улучить минуту, когда он повернется и пойдет назад. Я выбрал окно, находившееся как раз против тонели из зелени; выскочив из окна оставалось пробежать три-четыре шага, отделявших его от тонели, дело нескольких секунд. Под ней мы были бы незримы. Оставалась еще трудность, окна были с прошлого года замазаны. Если я силой одно из них открою, мастика рассыпется, и будет ясно, что кто-то тут прошел. Но у меня не было выбора, всё должно было быть закончено, раньше чем на другом конце дворца заметят бегство Керенского. Я открываю окно и предлагаю моим людям прыгать, они не решаются, я подаю пример; выглядываю из окна, вижу, казак на углу как раз поворачивается и исчезает за зданием. Прыжок, и я под тонелью; слышу, кто-то идет за мной, поворачиваюсь — Кузьмин, остальные толпятся в окне, бледные. «До свиданья!» Мы их ждать не можем.

Мы двое спешно направляемся в глубину парка и приходим к отдаленному выходу. Решетка закрыта, сторож в своем домике. Для меня это риск в будущем; сейчас то мы выйдем, но показание этого человека сможет, если до этого дойдет, послужить к обвинению в том, что я вывел Керенского. Возлагаю надежду на его глупость, приказываю от-

крыть решетку и вывожу Кузьмина на улицу, прямо ведущую к вокзалу. Больше я никогда о нем не слыхал.

Вслед за этим я спокойно возвращаюсь во дворец, прохожу мимо часового у ворот кухонного карэ и на лестнице слышу голос Книрши, громко кроющего последними словами Керенского. Он идет за мной в мои комнаты, горячо жмет мне руку и говорит, что не знает как благодарить меня за огромную услугу. «Портфелем министра народного просвещения в вашем кабинете», говорю я.

Наконец я мог закончить свой завтрак и выслушать рассказ Книрши о том, что случилось с теми, кто остались позади. Я тогда уже думал, что им будет трудно найти обратный путь в лабиринте дворца. Кроме того я сделал ошибку, заперев за нами несколько дверей, обычно остававшихся открытыми. Я думал этим задержать возможное преследование. Это было с моей стороны большой глупостью, т. к. указывало на наш путь. К счастью дворцовые лакеи прошли скоро после нас в обратном направлении и открыли двери; они почуяли, что тут участвовала моя рука и молчали. Впрочем, я не создавал себе преувеличенных иллюзий, я знал, что через несколько месяцев, как только они будут вполне уверены, что их прежние господа не вернутся, пропаганда сумеет их преобразить. Но покуда этой уверенности у них еще не было, они были верны до самопожертвования. Пять лет спустя я убедился в правильности этого моего предположения.

Книрша рассказал, что на обратном пути он очутился перед дверью, которая и обыкновенно бывала закрытой, но замок которой был не совсем в порядке, он открывался снаружи, но не изнутри. Я и эти двери закрыл за нами, будучи уверен, что нам не придется возвращаться этим путем. Когда отставшие решили вернуться, они тщетно искали дороги, в своей растерянности потеряли друг друга из виду и разбрелись. В какую то минуту Книрша дошел до этой проклятой двери; ключ торчал в ней, но не поворачивался. После неудачных попыток он схватил лежавшую у камина кочергу и стал пробовать ею взломать дверь, наломал щепок, ничего не достиг, стал искать другого пути и, проплутав некоторое время, нашел его, также, как и остальные. Однако щепки могли навлечь подозрение, нужно было их убрать. Обходами я прошел в этот зал и навел порядок, как мог. Кажется старик лакей меня видел, но ничего не стало известным.

Позже княгиня Шаховская и я были начальником штаба дивизии подвергнуты комнатному аресту по подозрению в содействии бегству Керенского, а к Книрше был приставлен солдат с винтовкой, которому было приказано следовать за ним по пятам.

Возмущение, вызванное среди казаков исчезновением Керенского, было огромно. Между тем переговоры с большевиками продолжались и кончились тем, что вечером коммунистические эмиссары прибыли во дворец и вместе со своими товарищами из гатчинского совета переняли власть. Казаки получили право свободного ухода на Дон, в то время как высшие офицеры во главе с Красновым были на следующее утро отвезены в Петербург в Смольный, где их через короткое время освободили.

Княгиня Шаховская и я проводили вечер под арестом в наших помещениях, когда открылась дверь и вошел Книрша с расстроенным видом, в сопровождении своего солдата и сказал трагическим голосом: «Je suis perdu». Он еще не подозревал, насколько на первых порах будет мягко новое правительство. Террор будущих лет был еще далек; большевики сами были столь удивлены своим успехом, что еще не решались всерьез проявлять свою власть. Повидимому и они думали как почти все, что они удержатся не больше недели.

Поздно вечером в Гатчину приехал Троцкий. Книрша был с-р'ом, Троцкий когда-то — меньшевиком. В царское время они были между собой знакомы. Троцкий приказал освободить Книршу под условием, что он завтра вместе с Красновым и другими офицерами отправится в Смольный. Приказ об освобождении было не так легко привести в исполнение: солдатик был приставлен к Книрше другой властью и так как этой власти больше не было, и некому было его отставить, он в силу дисциплины не считал себя в праве отойти от него. Он как тень ходил за ним с ружьем на плече. Насилу уговорили.

Сойдя в нижний этаж, где большевики развернули свои присутственные места, я встретил личного секретаря вел. князя Михаила Александровича, Джонсона. Брат государя со времени своего морганатического брака жил в Гатчине в частном доме. Он давно решил не вступать на престол ни при каких условиях. Рыцарь без страха и упрека, желавший быть «лояльным» при всех обстоятельствах, он в этот вечер прислал своего секретаря во дворец, заявить об этом

новой власти. Джонсон, человек невысокого роста, пухленький и еще молодой, был английским подданным и когда-то собирался стать оперным певцом. Он был обаятелен и всецело предан своему патрону.

Отныне для дворца и для меня началась поистине страдная пора. Среди ночи, после этого памятного дня, я услышал шаги большого числа людей по плитам корридора. Это шла «красная гвардия», рабочая милиция, сыгравшая большую роль в перевороте, ведомая местными коммунистами, занимать помещения. Что мог я им возразить? Я был должностным лицом низложенного правительства, без полномочий от нового. Тем не менее я вошел в сношения с теми, кого в эту минуту можно было рассматривать как исполнительную власть. Я обратил их внимание на то, что следовало охранить имущество отнятое у «деспотов» и принадлежащее отныне народу. Таким рассуждением я добился, что только служебные помещения, т. е. все то же кухонное карэ, будут заняты, в то время как на двери ведшие в исторические комнаты были наложены печати.

Зато в пожертвованной части здания все было предано разгрому. Там был ад. Множеством своих ярко освещенных комнат она резко отделялась от погруженной во мрак остальной части здания. В этом большом костре снаружи через окна было видно движение странных силуетов, точно сорвавшихся с рисунков Жака Калло. Они сновали по корридорам, по комнатам, лежали по паркетам, кроватям, диванам, сдвинутым вместе креслам и стульям. Везде были видны тела, только тела, в большинстве пьяные, и над всем этим мелкой дробью сыпалось великое, могучее, правдивое, свободное русское ругательство, придавая этой чертовщине умиротворяющую ноту. Среди фигур, носившихся по дворцу и вокруг него, была одна особенно живописная — товарищ Герман, латыш или эстонец. Всклокоченные светлые волосы, фуражка набекрень, пулеметные ленты через оба плеча, ружье в руках, всегда готовый стрелять, если кто покажется в окне; собственной властью он решил, что это запрещается. Заводский рабочий, член красной гвардии, он был символом разбушевавшегося пролетариата.

Я составил рапорт народному комиссару просвещения Анатолию Васильевичу Луначарскому, предполагая, что мой музей отныне должен относиться к его ведомству. Я ставил себя в распоряжение нового правительства и сообщал о принятых мною для безопасности дворца мерах. С грузовиком,

увозившим Краснова и его присных, я отправил кн. Шаховскую в Смольный с этим рапортом.

Что до меня, то я перенес свое местопребывание в центральный корпус, куда я попадал через двери неизвестные захватчикам. Таким образом я мог, хотя бы временно, уйти из этого бедлама и обрести равновесие; оно мне было необходимо, потому что от моего поведения зависела судьба содержимого дворца. Из окон этого корпуса я мог обозревать весь тот флигель, где шел разгул солдатчины. Два мира, разделенные больше чем столетием, в эту минуту соприкасались на моих глазах. Здесь, в этой величественной тишине жил, казалось, еще XVIII-й век с его роскошью, его беспечностью, суетностью, мелкими придворными интригами, иногда приводившими к дворцовым переворотам и тайным убийствам, там — поднимавшийся огромный вал новых времен, готовый захлестнуть мир, пролетариат, в опьянении торжествовавший свою первую победу.

«Победителей не судят», пусть так, но всё, что я могу спасти из наследия прошлого, я спасу, буду бороться за последнюю люстру, за малейший пустяк. Я прикинусь чем угодно, приму любую политическую окраску, чтобы охранить духовные ценности, которые возместить труднее чем людей. В течение следующих восьми лет, проведенных мною еще после того в России, я оставался верен этому решению до той минуты, когда я убедился, что мое присутствие там не может быть больше полезным. Сегодня, после более сорока лет, после всех событий и катастроф, пережитых не одной только Россией, мне кажется, что подобные усилия, хотя и похвальны, но тщетны. Мы переживаем эпоху, равную по своему историческому значению и своей разрушительной силе по меньшей мере великому переселению народов; дай Бог, чтобы от прошедших времен сохранилось столько, сколько доныне от классической древности.

Я сошел в нижний этаж, в личные комнаты императора Павла; сел рядом с походной кроватью, на которой спал государь, когда он услышал, как убийцы взламывали его двери, и на которую положили его бездыханное тело. Рядом с кроватью на стуле висел мундир и тут же стояли сапоги, снятые им перед сном, на полу лежал коврик работы императрицы Марии Феодоровны; наконец, за кроватью — ширмы, за которые спрятался царь при входе заговорщиков. Убийство произошло в Петербурге в новоотстроенном Михайловском замке, но предметы, как драгоценные реликвии, следовали

за вдовой во всех ее передвижениях и каждый вечер она молилась у этой постели. После ее кончины, они оказались в Гатчине. Как убийцу тянет к месту его деяния, так меня в эти минуты тянуло к немым свидетелям преступления моих предков, и я пребывал в раздумьи в этом месте, где царило величие смерти, в то время как на близком расстоянии бушевала страшная стихия.

Казаки, собиравшиеся к уходу на Дон, в течение нескольких дней сожительствовали во дворце с большевиками. Часто они жаловались на покражи; замков, верно, не существовало, даже из ящика моего письменного стола, лучше охраненного чем все остальное, исчезла маленькая картина Адама Эльсхеймера «Товия и Ангел». Единственная более или менее значительная пропажа музейного имущества, случившаяся в эти дни. Среди казачьих офицеров, которых я приглашал к столу, был живописный есаул Коршун. Приземистый, с орлиным носом, небольшой острой бородкой, он действительно напоминал птицу имя которой носил. Выглядел он бравым из бравых и вероятно таковым и был на поле сражения. Он ведал полковой казной, которую во время сна клал под подушку. Новым гостям удалось ее у него вытащить, покуда он спал. Никогда мне не приходилось видеть подобного превращения; этот человек, которому, казалось сам чорт не брат, плакал как ребенок. Его честность не могла перенести мысли что на нем будет лежать подозрение. Еще многому ему предстояло научиться от нравов новых времен.

Прошло три долгих томительных дня; от времени до времени отдельные группы, срывая печати с дверей, проникали в запрещенные помещения, но комнаты, которые я выбрал для себя, были хорошим наблюдательным пунктом: взломщикам приходилось идти по так называемой «Греческой Галлерее», за стенами которой находился я и слышал их шаги. Лакеи со своей стороны предупреждали меня о всяком нарушении запрета. При помощи нескольких красных офицеров, поддерживавших мои усилия, мне всегда удавалось восстанавливать порядок; печати налагались опять. В предоставленном на произвол «гостей» кухонном карэ мне все же удалось изолировать одну комнату, где я собрал почти в кучу предметы, которые мне не удалось убрать в другие части дворца. Над всем этим возвышался большой портрет Павла I-го кисти Салваторэ Тончи, последний, писаный с императора. Он представлен в рост в одеждах Вели-

кого Магистра Мальтийского ордена, с короной набекрень, с чертами, искаженными надвигающимся безумием. Безумие одного тогда, безумие множества сегодня, безумие, разлитое по всем пространству огромной империи. Что из него родится?

В этой комнате нашли меня приехавшие из Петербурга Александр Александрович Половцев, кн. Шаховская, мой молодой приятель офицер Николай Иванович Покровский, успевший связаться с большевиками, и два должностных лица нового правительства, «товарищи» Ятманов и Мандельбаум. Через них «нарком» Луначарский посылал мне мое назначение директором Дворца-Музея и письмо выражавшее мне благодарность правительства за его спасение. Они также привезли известие, освобождавшее от кошмара. Носился слух, что в Москве во время боев погиб Кремль со всеми свезенными туда сокровищами Эрмитажа и других музеев. Кремль, в котором как в крепости засели верные временному правительству юнкера, был взят большевиками под артиллерийским обстрелом. Преувеличенные слухи говорили о полном разрушении. Луначарский, хотя и был уже 25 лет большевик, всё же сохранял некоторые «буржуазные отрыжки». Он подал в отставку, отказываясь принадлежать к правительству после случившегося. Слух оказался ложным; башни Кремля несколько пострадали, но ничего непоправимого не произошло. Луначарского заставили взять отставку обратно.

Всякая дальнейшая эвакуация музейных предметов была остановлена, новое правительство становилось на ту точку зрения, которую я раньше защищал. Много месяцев позже произошло большое чудо: когда ящики с вещами в одну ночь были привезены обратно в Петербург, из всего имущества Эрмитажа была разбита только одна чашка.

На следующий день я отправился в Петербург, где в Зимнем Дворце Луначарский развернул свой комиссариат народного просвещения и государственных имуществ. Мои коллеги из других музеев радостно поздравляли меня со спасением Гатчины. Большинство из них стояли на той точке зрения, что, хотя они политически и не согласны с происшедшим, они всё же обязаны оставаться в распоряжении новой власти ради спасения ценностей высшего порядка.

Как известно, все остальные чиновники низложенного правительства ответили на переворот забастовкой; только музейные служащие к ней не присоединились, вследствие чего мы стали у новых властителей personae gratae, и многие из нас оставались таковыми довольно долго, хотя наше число

постепенно и уменьшалось. Казалось, будто находишься на том большом плоском колесе в Луна-парке, которое вертясь скидывает сидящих на нем; одни слетают в первую же минуту, другим удается удержаться более или менее долго, но под конец сметаются все.

Луначарский, любивший себя слушать, произнес нам речь в добрых два часа, стараясь доказать, что победа коммунизма окончательна, и что никакая другая сила в России, никакой белый генерал не имеет надежды на успех. Мы тогда улыбались, да и он вероятно не слишком верил тому, что говорил; советская власть в эту минуту еще даже не располагала всеми правительственными зданиями, в которых засели бастующие прежние служащие, заграждая дорогу. Внутри министерств продолжался прежний ход дел, точно ничего не случилось, и временное правительство все еще у власти. Коммунистам, однако, уже начинали давать три месяца вместо трех дней, а когда один из моих сотрудников выразил мнение, что Россия такая удивительная страна, что это может продлиться и три года, это прозвучало странно.

Я вернулся в Гатчину как должностное лицо «рабоче-крестьянского правительства», сильный поддержкой народного комиссара и обладая нужным авторитетом для разговоров с местным советом и солдатней. Занятие дворца войсками было далеко не закончено, от времени до времени происходили небольшие инциденты, напр. обыск произведенный у меня в одно утро бандой красногвардейцев, искавших Керенского даже под моим одеялом и под матрацем. Но понемногу массы отхлынули и я мог вернуться к ежедневным музейным работам.

Я уже упомянул, что в Гатчине проживал тогда вел. князь Михаил Александрович. После октябрьского переворота его положение стало не безопасным, в особенности потому, что в этом небольшом городе он мозолил глаза враждебному местному совету. В привилегированном положении, в котором я находился, я мог быть полезен Михаилу Александровичу, как в маленьких вещах, так и в более крупных. Я не мог, не компрометируя себя, посещать его, и мы встречались либо как бы случайно на улице, либо в доме его секретаря Джонсона после наступления темноты. Но главным образом мы сносились через последнего, приходившего ко мне во дворец.

По поводу отречения Михаила Александровича от престола написано много и разноречиво. Я думаю, что мне сле-

дует зафиксировать то, что я по этому поводу слышал от него самого и от его секретаря так, как я это слышал, не ручаясь за абсолютную достоверность. После получения известной телеграммы Николая II-го, адресованной «Его Величеству Михаилу», которой отрекшийся за себя и сына император передавал власть своему брату, последний случайно находился вместе с Джонсоном в Петербурге, в то время, как по улицам шла стрельба, впрочем довольно безобидная. Он нашел укрытие в Зимнем дворце, в котором заперлось и военное командование старого режима. Оно решило стрелять в толпу из окон дворца. Тут в скромном человеке, каким был вел. князь, проснулся царственный инстинкт его предков и истинное величие души. «Никогда из дома моих предков не стреляли в народ, и я это запрещаю!» Он, бедный, забыл январьское воскресение 1905 года.

В запасном дворце между Зимним и Эрмитажем происходило совещание великого князя с членами временного правительства, за которых говорил Керенский. Все другие министры, не желая влиять на Михаила Александровича, предоставляли ему свободу решения. Не имея возможности снестись со своей находившейся в Гатчине супругой, с мнением которой он очень считался, он в течение многих часов был подвергнут настояниям Керенского, хотевшего во что бы то ни стало принудить его к отречению. У него лично не было никакого желания царствовать, единственным стоявшим перед ним вопросом был долг перед родиной. Как известно, он в конце концов отрекся до решения учредительного собрания.

В дальнейшем развитии революции вел. князь придерживался поведения, которое он называл строжайшей лояльностью. Я никогда не мог понять, что он под этим разумел, но несомненно, он всегда действовал по глубокому убеждению. При его высоком благородстве и честности были исключены хитрость и трусость. Доколе существовало временное правительство, которое он как бы узаконил своим отречением, он совершенно стушевался и старался в своих действиях сообразоваться с тем, что можно было ожидать от честного гражданина. Позже, при большевиках, его свобода и жизнь были в опасности, но он предпочел остаться в России, вместо того, чтобы перейти близкую линию фронта и искать убежища у немцев: он видел в последних врагов своей страны и предпочитал быть убитым своими, чем совершить шаг, который он считал бесчестным. У меня нет и тени подозрения,

что его поведение могло быть продиктовано страхом. Он видел во втором перевороте выражение воли народа и считал своей обязанностью ей подчиниться. Я выше рассказывал о появлении Джонсона во дворце в вечер прихода большевиков в Гатчину. Что же до последних лет монархии, Михаил Александрович не скрывал своего отвращения к тому, что он называл «режимом Александры Феодоровны».

Пока что вел. князя еще не беспокоили, но я предвидел катастрофу, на которую он и его супруга старались закрыть глаза. Неоднократно я старался убедить их и лично, и через Джонсона, что в Петербурге они будут в большей безопасности. У них там был дом, который у них еще не отняли, по крайней мере не их частную в нем квартиру. Но привычка удерживала их в Гатчине, и все мои уговоры оставались тщетными. Как следствие октябрьского переворота они, как и все другие, потеряли всю свою наличность и доходы, и на жизнь им оставалось лишь содержимое гатчинского дома и петербургской квартиры, которое они понемногу распродавали. Как-то раз ко мне пришел Джонсон с просьбой от великого князя помочь ему получить несколько ему принадлежавших сундуков, много лет хранившихся в кладовых дворца; они содержали ливреи и шубы лакеев. В то время эти вещи можно было хорошо продать. Понятно, я не мог без всяких формальностей выдать эти сундуки; дворцовые лакеи не могли об этом не узнать, и, хотя они и были преданы вел. князю, все же среди них могла найтись паршивая овца, которая была способна на меня донести. Я пообещал сделать, что могу и решил провести это дело оффициально. По мере надобности я ездил в Зимний Дворец с докладом к «товарищу» Луначарскому. В этих случаях я завтракал за его столом, вокруг которого собирались его ближайшие сотрудники. Не следует представлять себе служебный обиход в этом «министерстве» по примеру администрации нормальных времен. Для него приспособили антресоли, выходившие окнами на Неву и носившие название «детской половины»; тут когда-то, пока двор еще не окончательно заперся в Царском Селе, жили дети последнего императора. Вход был через маленький подъезд, первый от угла. Сюда входил всякий, кто хотел, без доклада, даже в самый кабинет Луначарского, не спрашивая, беспокоят ли его или нет. Бумаги валялись по столам, и всякий мог совать в них свой нос. Печать «наркома», простой резиновый штемпель, превращавшая всякий оборвыш бумаги в оффициальный документ, находи-

лась тут-же доступная всем, также как и бланки комиссариата, фабриковавшиеся при помощи резинового же штемпеля. Каждый мог также пользоваться пишущей машиной. Благодаря такому порядку вещей я уже в другом случае, о котором расскажу позже, добился весьма крупного результата. На этот раз я поступил также, т. е. взял бланк, сел за пишущую машину и написал сам себе приказ наркома выдать бывш. вел. князю сундуки находящиеся во дворце и составляющие его личную собственность. За завтраком Луначарский подписывал все, что я ему подносил, почти не читая и доверяя моим словам. Теперь он только спросил: «Вы уверены, что это его частная собственность?» В то время еще не успели составить себе окончательное представление о том, в каких границах следует экспроприировать. Казалось, что ограничатся землей, недвижимостью и орудиями производства. Не будучи уверенным в сроке своего существования, правительство не взяло еще настоящего разбега. Что до самого Луначарского, то в глубине души это был добрый человек, которого нельзя было принимать совсем всерьез, легкомысленный, слабый, но готовый помочь. Его двоюродный брат Михаил Иванович Ростовцев, который терпеть его не мог, как-то сказал мне: «Плюньте ему от меня в рожу. Он такой же большевик как и я, я его знаю!» Во всяком случае через Луначарского можно было сделать кое-какое добро, если уметь им правильно руководить. Не то, чтоб он мог часто вызволить кого-нибудь из тюрьмы, но всякий раз, что я его об этом просил, он не отказывался сделать всё от него зависящее, т. е. он писал или телефонировал, кому следовало. В то время он еще пользовался в партии некоторым престижем, который он позже постепенно терял, и весьма вероятно, не умри он во время, как раз собираясь отправиться к месту своего назначения послом в Мадрид, он разделил бы судьбу старой гвардии Ленина после возвышения Сталина.

Теперь, когда у меня был в руках приказ моего наркома, я велел подать ко дворцу несколько ломовых саней, из особой осторожности после наступления темноты, лакеи нагрузили на них сундуки, которые поехали по направлению к дому вел. князя. Дело было в шляпе.

Несмотря на все предосторожности мои сношения с вел. князем не остались совсем неизвестными местному совету, который меня не долюбливал, во-первых, из-за титула, во-вторых, вследствие моего поведения как должностного лица

центральной власти. Если бы местная власть могла, она захватила бы дворец для своих надобностей; представление о его художественной и исторической ценности было ей попросту недоступно. Часто неприятные столкновения происходили между мной и советом, и я уже несколько раз ставил перед Луначарским вопрос о доверии, предлагая отставку; но он каждый раз отвечал, что об этом не может быть и речи, и что он меня всецело поддерживает. С первых же моих недоразумений с советом Луначарский послал в Гатчину для установления согласия забавную личность, весьма уважаемую в партии, товарища Киммеля, эстонца, фанатика коммунистической идеи, но добрейшего парня и чистую душу. Довольно ограниченный умственно и почти без образования, он начинил свои мозги партийной литературой и носился с одной только мыслью: все надо «обобществить». Он повторял это слово вкось и вкривь. Безбожник в силу партийной доктрины, он сохранил в в своей сентиментальной душе эстонского крестьянина большую любовь к церковному звону. Одно время ему между прочим поручили ведать церковными зданиями столицы; он главным образом заботился, чтоб звонари ни в чем не нуждались. В Гатчине он своей наивностью наделал больше вреда чем пользы. Видя всё в розовом свете, убежденный в том, что все люди добры, и что с коммунизмом установился земной рай, он только еще повредил моим отношениям с местной властью. Позже, когда я уже не был в Гатчине, мне как-то сообщили, что чека следующей ночью явится ко мне с визитом. Тревога, как оказалось, была напрасной, но на всякий случай я на эту ночь отправился к товарищу Киммелю, который жил в Зимнем дворце. Несмотря на то, что я объяснил ему причину моего появления, он принял меня весьма радушно. Через несколько лет, в то время как он ораторствовал на митинге, кто-то убил его выстрелом в спину.

Так я работал в Гатчине до конца февраля 1918 г. Это было время мирных переговоров в Берст-Литовске. Каждую минуту ждали их разрыва и продвижения немцев к столице. Положение вел. князя становилось всё опаснее и казалось, что предстоит его арест. Опять я убедительно советовал ему переехать в Петербург, раз он ни за что не хочет перейти демаркационную линию и стать под покровительство неприятеля. В один из этих дней я встретился с Джонсоном в глубине парка. Между прочим был разговор о том, что делать Михаилу Александровичу в случае занятия Гатчины немецкими войсками и не вернуться ли ему во дворец своих предков, т. к.

большевистский переворот опрокинул все предпосылки его отречения. Джонсон полагал, что покинув дворец задолго до революции, при заключении своего морганатического брака, он следовательно не был оттуда удален переворотом. Его отказ от всякой официальной роли был решен раз навсегда, независимо от событий. К тому же он вероятно счел бы несовместимым со своей лояльностью в отношении России воспользоваться для такого жеста приходом неприятеля. Но ввиду все увеличивавшейся угрозы свободе вел. князя мои доводы убедили по крайней мере Джонсона в необходимости отъезда в Петербург. Только теперь это уже было не так просто. Проезд по железным дорогам, т. е. получение билета, было возможно лишь по служебным удостоверениям. Правда, всякий официальный бланк, снабженный круглым штемпелем был годен; на содержание обращали мало внимания и не проверяли, имеет ли данное учреждение право выдавать подобные удостоверения или нет. У меня в делах было много документов, подписанных народным комиссаром. В царское время было правилом, чтобы номер исходящей бумаги и число были проставлены подписывающим лицом от руки. Эта мера предосторожности против возможного злоупотребления была неизвестна новой администрации, которой еще многому надо было научиться, чтобы толком управлять. Я взял бумагу, подписанную Луначарским, стер всё кроме подписи и штемпеля и настукал на этом бланке под другим номером и числом разрешение на вымышленные имена для проезда в любом поезде из Гатчины в Петербург. Из предосторожности я этой бумаги не передал Джонсону, но условился с ним, что за несколько минут до отъезда вел. князя я буду находиться у билетной кассы, сам возьму билеты и передам всё в момент посадки. Эта предосторожность, как я расскажу ниже, была не напрасна.

Троцкий только что порвал Брестские переговоры своим знаменитым заявлением: «Ни мир, ни война!» Больше не могло быть сомнений в том, что генерал Гофман немедленно займет столицу и лежавшую по пути Гатчину. Та же паника, что несколько месяцев раньше охватила временное правительство, теперь напала на гатчинский совет, приславший мне приказ упаковать и эвакуировать всё, что во дворце было ценного, в особенности золотые и серебряные предметы. Как директор музея я был непосредственно подчинен центральной власти, но как гражданин обязан был повиноваться местной. Компетенции отдельных властей не были еще точно разграничены и местные советы ревниво блюли свои прерогативы. Приказ

был мне принесен в то время, когда я, предвидя возможные перестрелки в этой местности, шальные пули и внезапные обыски, был занят тем что замуровывал лучшие предметы в одной из башенных комнат антресолей арсенального карэ, вход в которую найти было трудно. Я предполагал заложить кирпичами окно и двери. Мне было неприятно, что представители совета застали меня за работой и таким образом узнали, где находится моя кладовая. Я отказался исполнить требование без приказа народного комиссара и имел неосторожность повторить то, что говорил при временном правительстве, и что было, как я знал, точкой зрения центра. Посланцы совета смолчали, но я чувствовал, что решительное столкновение близко. Тут же мне сообщили, будто совет прячет взрывчатые вещества и снаряды в подвалах дворца. Проверить, правда-ли это мне не удалось.

При мне и под моим председательством существовал комитет, состоявший из представителей совета, моих сотрудников и дворцовых лакеев. В нормальное время это было демократической кулисой, собиравшейся, не то раз, не то два в неделю в моем кабинете и имевшей мало влияния на чисто музейные дела. Комитет разве что интересовался техническим управлением здания и меня не стеснял. К тому же я был в добром согласии с его членами; от совета мне обыкновенно присылали меньшевиков, в то время они еще в нем участвовали. В один из первых дней марта происходило у меня такое заседание, когда вдруг открылась дверь и вошло несколько военных, спрашивая меня. Они объявили мне, что я арестован по приказу гатчинского совета. Я должен был сейчас же собрать вещи и быть отвезенным в Смольный. Они сказали при этом, что «Михаил» также арестован. Я обратил их внимание, что я в эту минуту нахожусь при исполнении служебных обязанностей, порученных мне правительством, и возлагаю на местную власть ответственность за ее действия. Тут же я поручил кн. Шаховской протелефонировать о происходящем в Петербург одному из помощников Луначарского. Последний добился, чтобы мне позволили подойти к аппарату; он видимо был возмущен и сказал, что центр чрезвычайно заинтересован в том, чтобы я был в Гатчине как раз в эти трудные минуты, но что сейчас по телефону он ничего не может сделать. Он советовал мне спокойно ехать в Смольный, а там де посмотрят. Офицер, меня арестовавший, имел приказ произвести обыск в моих помещениях, но воздержался, т. к. представители совета, присутствовавшие на заседании, поручились

за мою лояльность. Тут я вспомнил, что бумага, сфабрикованная мною для вел. князя, находилась в комоде в моей спальне. Когда я прошел туда, чтобы собрать вещи, двое солдат последовали за мной; я все же ухитрился незаметно взять эту бумагу и уничтожить в уборной, куда они не вошли; таким образом эта опасность была устранена.

Кн. Шаховская получила разрешение сопровождать меня до Петербурга; автомобиль отвез нас на вокзал, где нам сообщили, что надо будет ждать прибытия Михаила Александровича. Мой арест, одновременно с ним, был хитростью гатчинцев, хотевших от меня отделаться; они надеялись таким образом пришить дело советского служащего к делу члена династии. На меня падало подозрение, которое могло только усугубиться благодаря титулу. Мы прождали добрый час, если не больше; у вел. князя производили обыск. Наконец привезли его и тоже арестованного Джонсона. С ними была Наталья Сергеевна Брасова, супруга Михаила Александровича. При замужестве она не получила никакого титула; забавно, что большевики первые стали титуловать ее графиней, не зная закулисной стороны двора; правда, в их устах это звучало оскорблением. Впоследствии в эмиграции она получила княжеский титул от претендента Кирилла Владимировича. Арестовали также моего делопроизводителя Власова, служившего в царское время в дворцовом управлении, и которого я устроил при музее, чтобы не дать ему умереть с голоду. Т. к. он принадлежал к хорошей семье, совет и за это был мной недоволен и уже несколько раз пытался заставить меня его уволить, но я не поддавался. Теперь его дело смешивали с моим, а через меня с вел. князем. Наконец еще арестовали бывш. жандармского полковника. Увидя его, я подумал, что его судьба предрешена. Нас было таким образом пять арестантов и две дамы. Нам отвели целый вагон первого класса (в то время еще были предупредительны!). Два офицера, принадлежавшие к царской армии, нас сопровождали. Один из них со слезами на глазах говорил мне, как он возмущен обращением с Его Высочеством и как он страдает от возложенного на него поручения. Это был один из тех офицеров, полки которых перешли к красным, и которые были принуждены идти за своими солдатами. Не следует забывать, что война против Германии продолжалась, и армия, будь она красная или белая, считалась армией России, сражавшейся, плохо ли, хорошо ли, против внешнего врага. Это объясняет, почему в эти дни стопроцентно монархические элементы еще находились в ней и подчинялись фактическим правителям.

Поведение вел. князя было с начала до конца замечательно своим благородством, скромностью и спокойствием. Во время переезда он бросил из окна взгляд в сторону немецких позиций и сказал мне: «Как легко было бы стать подлецом и перейти туда!» У меня было мало надежды, что при создавшемся ныне положении ему удастся уцелеть, и при этих словах у меня сжалось сердце.

По приезде в Петербург я получил разрешение с вокзала протелефонировать Луначарскому. Я обратил его внимание, что ничто не оправдывало арест вел. князя и настаивал на его содействии ему, другим арестантам и мне. Он обещал немедленно отправиться в Смольный. Нас повезли туда, а дамы отправились каждая к себе.

Самая древняя часть Смольного была построена при императрице Елисавете Петровне архитектором Бартоломмео Растрелли младшим в стиле рокайль. Фасады окрашены в синий цвет с белыми профилями и когда-то золочеными орнаментами. По середине стоит собор о пяти главках. Его подковой окружают двухэтажные корпуса, в них бесконечные сводчатые коридоры вдоль жилых помещений. Целое производит впечатление архитектурной фантазии Биббиэны. В начале XIX-го века к этому с правого бока прибавили на некотором расстоянии, но соединив коридорами, величественное ампирное здание, фасад которого украшен прекрасной колоннадой с фронтоном, где разворачивал свои крылья огромный императорский орел, ныне замененный советскими эмблемами. Как известно, после февральской революции сюда вселился совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, выкинув основанный тут Екатериной II институт для благородных девиц. Здесь сидел главный штаб коммунистов, отсюда велась борьба против временного правительства и здесь Ленин и его друзья в ночь с 25 на 26 октября объявили советскую республику. Советское правительство осталось в Смольном. Тут заседали исполнительный комитет совета (исполком), совет народных комиссаров (совнарком) и страшная чрезвычайная комиссия для борьбы с контр-революцией, спекуляцией и саботажем (чека или чрезвычайка). Во главе последней находился недюжинный человек, товарищ Урицкий. Короткая встреча, которую я тогда имел с ним (он вскоре был убит юным идеалистом Каннегисером), не была слишком приятной, но, оставаясь объективным, я должен сказать, что мое впечатление было, что предо мной человек глубоко честный, до фанатизма преданный своим идеям и обладавший где-то в глубине души

долей доброты. Но фанатизм так выковал его волю, что он умел быть жестоким. Во всяком случае он был далек от того типа садистов, что управляли чекой после него. Мое первое впечатление было лишь отвращением, но представление о нем, которое я тут изложил, сложилось у меня в результате трех дней и сведений, почерпнутых у лиц, заслуживавших доверия и ближе его знавших. Жестокости им совершенные были детскими игрушками по сравнению с потоками крови и неимоверными страданиями, последовавшими за его смертью, и предлогом к которым в начале послужило как раз его убийство. Урицкий рассматривал смертную казнь как исключительный случай и говорил о ней слегка придушенным голосом. Его преемники объявляли о своих убийствах в трубном гласе, бросая этим вызов всему миру. Мне кажется, что бедный мальчик, стрелявший в Урицкого, открыл дорогу всем ужасам советского режима.

Урицкий родился в польском гетто, был воспитан в талмудической школе и готовился стать раввином, подобно Сталину, что в духовной семинарии готовился в священники. Может быть изучение талмуда наложило на него некоторый отпечаток, отличавший его от товарищей по партии. Кроме того он изучал право и был человеком необходимым юной советской республике на посту верховного судебного следователя. В то время, когда, именуясь еще лишь «временным правительством рабочих и крестьян», власть считала нужным играть комедию и продолжать начатые Керенским приготовления к созыву учредительного собрания, на единственное заседание, сейчас же разогнанное военной силой, Урицкий был назначен комиссаром правительства при этом собрании.

В Смольном нас привели в здание начала XIX-го века, некогда занятое классами. В каждом этаже стеклянные двери с двух сторон открывались в широкий коридор. Нам представилась странная декорация: густой табачный дым, через который едва просвечивали электрические лампы, стоял в воздухе, полы точно мягким ковром были покрыты окурками, обрывками бумаги и главным образом шелухой подсолнухов; все это было плевками связано в одну массу. Взад и вперед сновали фигуры, старавшиеся придать себе значительный вид: солдаты с пулеметными лентами через плечо, типы, то одетые в прекрасные верхние одежды, видимо недавно «реквизированные» в каком-нибудь буржуазном доме, то в отрепья, что могли завтра замениться, благодаря игре случая при обыске, ценными шубами. Пестрая картина, которой только общая

распущенность придавала некоторое единообразие. Нас провели во второй этаж в большую классную залу, середина которой была занята огромным столом.

Налево перед серединой стола сидело существо отталкивающего вида, поднявшееся, когда мы вошли; приземистое, с круглой спиной, с маленькой, вдавленной в плечи головой, бритым лицом и крючковатым носом, оно напоминало толстую жабу. Хриплый голос походил на свист, и, казалось, сейчас изо рта станет течь яд. Это был Урицкий. Налево от него сидел секретарь, имени которого я никогда не узнал: очень жирный и большой еврей с черными вьющимися волосами, немного напоминавший Зиновьева. Комната была голой как все классные; вначале народу было немного, но постепенно она наполнилась. Я предполагаю, что к концу допроса набралось около сотни человек. В коридоре перед дверью меня встретил секретарь Луначарского, Лещенко, пришедший сказать мне, что его патрон сейчас прибудет; и, действительно, он не заставил себя долго ждать и явился перед концом допроса Михаила Александровича.

«Кто из вас бывший великий князь?», просвистел Урицкий и злая радость блеснула в его глазах. «Великий князь я», сказал Михаил Александрович. К сожалению почти стенографический отчет этого допроса, составленный мною на следующий день, был у меня взят в 1922 г. во время обыска, за которым последовал четырехмесячный арест. Может быть он еще покоится в архивах петербургского ГПУ. По своему содержанию этот допрос не представлял особого значения, но этот разговор между двумя существами принадлежавшими к двум совершенно разным мирам, совершенно неспособными понять друг друга и одинаково глубоко убежденными в справедливости присущего им миропонимания, был достоин античной трагедии.

Если вспомнить что́ евреи, в особенности обитатели западных гетто, откуда происходил Урицкий, перенесли в прежние времена, можно понять ненависть накопившуюся в этом маленьком талмудисте. Притеснения евреев в России и крематории нацизма, конечно, дистанция огромного размера, но этой возможности сравнения у Урицкого не было.

Перед ним сидел человек, которому привычка власти была передана поколениями. Над ним издевался этот сын гетто, а он оставался спокойным и достойным, без малейшего нетерпения в голосе, не стараясь обойти вопросов, без подчеркнутого снисхождения. Его спрашивали, чем он живет, распространя-

ют ли от его имени листовки против советской власти, не получает ли он маленькие белые бумажки, на которых ничего не написано. Этот последний вопрос тогда никем из нас не был понят; позже, обдумывая, я догадался, что это могло относиться к сообщениям, писанным симпатическими чернилами или лимонным соком. Что до листовок великий князь отвечал, что в России живет 150 миллионов человек, и что он не может отвечать за то, что могут делать некоторые из них, злоупотребляя его именем. Что до него, то он отрекся до решения учредительного собрания, но его решение не царствовать непреклонно, и, раз учредительного собрания нет, он готов подписать какой угодно документ в этом смысле. «Да, да, — отвечал Урицкий с деланной рассеянностью, — я помню, я читал ваше заявление».

Допрос Джонсона был как бы повторением предыдущего. Только добрый мальчик горячился гораздо больше. Он называл вопрос о белых бумажках паскудством. Между прочим он объяснил, что вел. князь до сих пор получает много писем с просьбами о матерьяльной помощи и что, несмотря на то, что он принужден жить продажей своих вещей, он всё еще помогает всем, кто к нему обращается.

«Кто вы?», — обращается ко мне Урицкий. — «Директор Гатчинского Дворца-Музея по назначению товарища Луначарского». Урицкий озадачен, он не ожидал увидеть здесь советское должностное лицо. «Где вас взяли?» — «При исполнении служебных обязанностей, во время заседания». Урицкий обращается к представителю гатчинского совета, который подтверждает мои слова. Когда он его спрашивает о причине ареста, тот не находит ничего другого, как то, что я с титулом подписывал служебные бумаги. Урицкий лает: «Вы граф, вы бывший граф?» — «Да, но я подписывал: гр. Зубов, можно читать гражданин». Тут вступается прибывший Луначарский. С большим красноречием (я уже говорил, что он любил себя слушать) он описывает, как началось мое сотрудничество с советской властью, и большие, оказанные мною услуги. Он подчеркивает значение, которое он в качестве наркома придает моему дальнейшему сотрудничеству. Он де не может вмешиваться в юстицию рабоче-крестьянской власти, но просит, если возможно, немедленно меня освободить. По этому потоку красноречия я понимаю, что Луначарский не обладает действительным авторитетом, и что я в Гатчину больше не вернусь. Представитель гатчинцев отвечает ему указанием на мой отказ эвакуировать дворец при подходе немцев. Урицкий

спрашивает меня, что это значит. Мне еще раз приходится пояснять мой взгляд на международную ценность произведений искусства, которые я предпочитаю видеть в неприятельских музеях, чем гибнущими в России. «Официальная точка зрения комиссариата народного просвещения!» — спешит заявить Луначарский. Начинается долгое препирательство между представителем гатчинской власти, настаивающим на продлении моего ареста и большинством присутствующих советских шишек. Нарком юстиции Штейнберг говорит в мою пользу (он, впрочем не коммунист, а левый с.-р., как известно они первое время были попутчиками, но скоро были сметены при попытке восстания), а также управляющий делами правительства Бонч-Бруевич и, наконец, юный офицер Благонравов, разогнавший Учредительное Собрание и с тех пор ставший видным лицом в партии. Наконец Урицкий объявляет, что всё, что гатчинский представитель мог сказать против меня, не выдерживает критики, и что именно поэтому он принужден оставить меня временно у себя. Он де просто не может себе представить причины моего ареста, а представитель местного совета не в состоянии ему этого объяснить. В виду сего ему необходимо снестись с Гатчиной, дабы узнать, в чем именно меня обвиняют. Вследствие позднего времени он не может сделать этого сегодня вечером, и поэтому мне надо согласиться пробыть в Смольном до завтрашнего дня.

Последовали короткие допросы моего делопроизводителя и жандармского полковника. Последний понимал, что всякая защита бесполезна: член царской политической полиции не мог ожидать пощады от политической полиции большевиков. Почти упав на стол, он назвал свои чины.

На этом заседание кончилось. Все встали. Луначарский подошел ко мне, и, пожав руку, просил не сердиться, что он ничего большего сделать не может. Он пожелал мне спокойной ночи, говоря, что уверен, что мое дело завтра же придет в порядок. «Это не так важно, но сделайте все, что вы можете, для великого князя». Он пообещал, но без уверенности в голосе.

Урицкий позвал нас еще раз к столу, подписать протокол допроса. Вел. князь расписался с титулом. «Вы все еще считаете себя великим князем?» — «Великим князем рождаются и этого отнять нельзя, так же как у графа Зубова его титул». — «Законами республики рабочих и крестьян титулы упразднены. Романовы заставляли нас подчиняться своим законам, теперь мы заставим вас подчиняться нашим».

Джонсон заметил Урицкому, что вел. князь болен (он страдал хронической язвой желудка) и просил дать по возможности удобное помещение. «Разумеется», ответил тот, «мы не хотим причинять ненужных страданий. Мы поместим вас как наших собственных делегатов». Он позвал коменданта здания и приказал, чтобы нам дали возможно лучшее помещение. Нас увели; несколько минут мы ждали одни в маленькой комнате нижнего этажа недалеко от выходных дверей. Для простого смертного это мог быть прекрасный случай уйти; было бы легко выйти в коридор и смешаться с толпой, но для великого князя дело другое. Куда бы он пошел? Схваченный вторично, он должен был ожидать худшей судьбы. Что до меня, то я ведь разыгрывал лояльного советского служащего, кроме того, мне ничто не угрожало, разве, что я не вернусь в Гатчину. Эти несколько минут ожидания были единственным случаем, когда я услышал со стороны вел. князя выражение гнева, но гнев был не убедителен, точно гнев милого ребенка: «Во мне все кипит. Как мы будем их вешать, если одержим верх!», сказал он по-французски.

Целый отряд солдат с ружьями на плече повел нас по бесконечным коридорам XVIII века вокруг всего здания до сравнительно новой постройки, находившейся с противоположной стороны и выходившей окнами на Неву. Если я не ошибаюсь, здесь находилось особое отделение института для девиц поплоше. Художественный интерес Елисаветинской архитектуры, которой мне до сих пор видеть не приходилось, заставил меня забыть о перспективе предстоящей ночи без комфорта. Я думал, что я довольно хорошо знал старый Петербург, но где же было проникнуть в закоулки института для девиц! Наконец мы достигли довольно большой комнаты, в которой стоял десяток железных кроватей. На некоторых из них лежали матрацы сомнительной чистоты, другие были только со стальными сетками. Тут когда-то были дортуары «смолянок», и мы шутили, что не отказались бы, если б нас привели сюда до революции. Уборные были недалеко, несколько кабинок вряд. Нас туда водили солдаты, сидевшие в нашей камере у дверей; при этом я подслушал их разговор. Один удивлялся, что уборных здесь не много, на что другой отвечал: «Да здесь ведь жили всё генеральские дочери; им носили судно в комнату. Прошли те времена!»

С немногими вещами, которые каждый из нас имел при себе, мы первым делом постарались соорудить сколько-нибудь удобную постель для вел. князя. Он очень устал, и его болезнь

давала себя чувствовать. Держали совет. Незадолго до того двое арестованных министров временного правительства, помещенные в клинику по болезни, были ночью убиты в кроватях ворвавшимися солдатами. Возможность подобной попытки в отношении вел. князя не казалась нам исключенной. Солдаты, сидевшие с ружьями у дверей могли совершить это дело, которое бы потом объяснили попыткой к бегству. Мы решили сделать всё от нас зависящее для безопасности Михаила Александровича, каждый из нас должен был продежурить четверть ночи. Я был первым и решил никого не будить для смены. Бедный Джонсон был совсем разбит, у Власова болел зуб, а жандармский полковник ждал смертного часа. Кроме того у меня не хватало смелости лечь на эти матрацы, даже одетым. Ввиду наших опасений мы света не потушили, а лишь обвернули лампу куском материи.

Я сидел на стуле посреди комнаты. Скоро вокруг меня всё заснуло. Спал тот, кто в течение нескольких мгновений был последним русским государем. Вел. князь всегда спал на спине. Мне показалось, что я уже где-то давно видел этот высокий лоб, этот профиль с закрытыми глазами, таким, как он тут лежал предо мной в спокойствии сна. Во мне воскресло воспоминание детства. Та же голова, но обрамленная бородой. Пышный балдахин, множество свечей, кадильный дым, у ног регалии, неподвижные пажи в парадной форме. То был император Александр III под castrum doloris в Петро-Павловском соборе. 1894 год, мне 10 лет. Экипаж, в котором я сидел с матерью и старшей сестрой, обеими в глубоком придворном трауре, долго ждал в верениде, раньше чем высадить нас у северных боковых дверей. Внутри собора новый хвост, направляющийся к гробу, в котором покоился государь. Вот я наконец под балдахином. Я удивлен, каким маленьким выглядит царь, в жизни казавшийся мне всегда великаном; а теперь гроб так короток. И почему покойник такой коричневый, цвета темного табака? Прошло уже около месяца, что он скончался в Крыму от болезни почек; перевозка и все церемонии заняли много времени. Тело быстро разлагалось, несмотря на бальзамирование. Каждую ночь художник покрывал лицо эмалевой краской, но она не доживала до полдня. На груди царя лежит маленькая икона, я прикладываюсь к ней и схожу несколько ступеней с катафалка. Слышу, как какой-то генерал говорит моей матери, что сейчас прибудет Его Величество, и мне кажется странным, что так зовут того, которого все до тех пор звали наследником.

Между этой картиной и настоящей минутой устанавливалась связь. Опять у меня сжалось сердце: человек, который тут спит, еще проснется, но, кто знает, не витают ли уже вокруг него тени смерти. Сын в смерти не будет окружен теми же почестями, что отец; может быть он будет лежать в какой-нибудь никому неведомой дыре. Солдаты у дверей дремали, опершись на ружья, а я, охраняя сон моих товарищей, предавался своим мыслям. Стало светать. Не помню, кто первым проснулся, Власов, или жандармский полковник. Я лег на стальную решетку одной из кроватей и забылся.

Я продремал около часу и проснулся оттого, что остальные стали двигаться. В неудобном положении, в котором я лежал, заснуть опять было невозможно. «Здравия желаю, Ваше Высочество!» Я с удовольствием увидал среди подушек его отдохнувшее лицо. Я решил быть как можно веселее, чтобы подбодрить всех и держать вел. князя в добром настроении до минуты решения, какое бы оно ни было.

Джонсон, глубоко спавший, открыл глаза и жалобным голосом требовал Урицкого. Бедняга думал обрести свободу после следующего допроса. В час обеда нам сказали, чтобы двое из нас шли на кухню за едой. Вел. князю очень хотелось идти, ради некоторого развлечения, но мы все решительно этому воспротивились. В этой комнате он находился в относительной безопасности, но невозможно было предвидеть, что могло случиться вне ее. Джонсон и я пустились в путь. Опять прекрасные, но бесконечные галереи XVIII-го века, а затем полные народа коридоры, через которые мы вошли накануне. Мы достигли огромной кухни, прежде обслуживавшей институт, а сегодня питавшей членов совета, служащих и делегатов, прибывавших со всех концов России. Нам вручили два огромных медных котла, принадлежности доброго старого времени. Мы с Джонсоном едва могли их нести. Он, бедный, плакался над своей судьбой, чувствуя, что наступают недобрые дни для него и вел. князя. К сожалению он был прав. Я старался убедить его, что это все лишь пикник, приключение, которое скоро закончится, но мне лишь с трудом удавалось его подбодрить. Тяжесть котла и полверсты которую надо было с ним пройти, удручали его, он чувствовал себя каторжником. Что до меня, то ощущение пикника и сейчас еще моя обычная реакция по отношению ко всем событиям, начавшимся с 1914 года; что в том, что это будет длиться до моей смерти. Если бы не опасность, в которой я видел вел. князя, я бы считал свое пребывание в Смольном весьма забавным эпизодом. Ко-

нечно, я был бы огорчен не вернуться в Гатчину, главным образом в виду опасений за целость дворца; но в конце концов я ведь не был незаменим; было и кроме меня много музейных специалистов, которые могли не хуже моего исполнять те же обязанности. Беспокоили меня немного взрывчатые вещества, якобы свезенные в подвалы, ведь эти идиоты из местного совета способны натворить какой-нибудь беды в случае прихода немцев, в особенности, если на моем месте никого еще не будет. Но совесть моя была чиста, я сделал все, что человечески было возможно. Таким образом мне нетрудно было симулировать больше веселья, чем то, которым я в действительности располагал.

Наше пребывание здесь, собственно говоря, лишь отдаленно напоминало тюрьму; вскоре нас посетили Н. С. Брасова с четырьмя друзьями, двумя братьями князьями Путятиными, женатыми на двух сестрах Зеленых, и кн. Шаховская. Все разгуливали точно в гостиной. Была и обратная сторона медали: язва желудка, причинявшая вел. князю сильные страдания, и зубные боли Власова, стонавшего, лежа на своей постели. Удивительно, что у людей, которых арестовывают, часто начинаются зубные боли. Я это испытал на себе через несколько лет.

Нас в присутствии всех этих гостей посетил Урицкий, причем завязалась общая беседа в совсем вежливых формах. Он пришел осведомиться, как мы себя чувствуем, но все же не мог не коснуться политических тем. Михаил Александрович попросил его удалить двух солдат, сидевших у дверей, присутствие которых ему действовало на нервы; охрана по его мнению была бы такой же действительной, если бы они сидели у дверей снаружи. Урицкий ответил, что он на это не имеет права, т. к. существует возможность бегства. «Но, товарищ, — сказал я ему, — комната находится в четвертом этаже, на окнах решетки, как вы хотите, чтоб была возможность бежать?» — «Кому вы это говорите? Я то знаю! Раз я был заперт в такой маленькой комнате, что я не мог сделать больше пяти шагов, и два солдата со штыками на ружьях меня сторожили; я ходил как дикий зверь в клетке; каждый раз как я подходил к одному из солдат, он направлял на меня штык. И я все-таки бежал». — «Когда это было?», — с ужасом спросил вел. князь; казалось, он не знал, что происходило за кулисами старого режима. «Да в благополучное царствование вашего братца, который сейчас находится в Тобольске», саркастически отвечал Урицкий; потом, подходя ко мне, —

«По отношению к вам у меня нехорошая совесть; вы наш сотрудник и все-таки у меня под ключем. Но я до сих пор не имею известий из Гатчины; пожалуйста, потерпите еще немного». Я уверил его, что ничего не имею против того, чтобы побыть еще его гостем, и получил от него разрешение, чтобы мне из дома принесли матрацы, одеяла и всё, что было нужно для вел. князя и всех нас. Мой лакей все это нам доставил и на вторую ночь мы устроились как у себя.

В течение этих дней я несколько раз беседовал с вел. князем и Джонсоном о причинах побудивших его к отречению. Я полагал, что это было ошибкой; если бы он вступил на престол в качестве конституционного монарха с ответственным перед думой министерством, сделав самые широкие уступки, было бы вероятно, что буржуазная февральская революция не выродилась бы в коммунистический октябрьский переворот, т. к. государь, как символ, имел бы известное значение, а парламент не разошелся бы и сохранил в своих руках руководство событиями. Это были больше беседы для препровождения времени, кроме того меня интересовало услышать от вел. князя его точку зрения. С этой же целью я коснулся также вопроса о «государе Божьей милостью» и высказал мнение, что собственно вел. князь не имел права отрекаться. Это не мое мнение, но я хотел видеть его реакцию и понял, что эта мысль была ему абсолютно чужда; он ее не оспаривал, но она его просто не интересовала, как нечто изжитое.

Между тем Н. С. Брасова и ее друзья пытались сделать невозможное; они осаждали Урицкого и других шишек и проникли кажется даже к Ленину. Луначарский со своей стороны повидимому замолвил несколько добрых слов, но так застенчиво, что они не были услышаны. Все старания разбились о твердость Урицкого. На второй день казалось, что было решено отправить вел. князя, Джонсона, Власова и жандармского полковника в отдаленный город; кажется уже говорили о Перми. Мы еще не отдавали себе полного отчета в том, что это означало.

Вел. князь от времени до времени принимался за свой дневник; это видимо было семейной привычкой. Николай II тоже оставил таковой, и он опубликован. Он главным образом содержит метеорологические наблюдения, и это в самые трагические дни его жизни! Не знаю, было ли то, что писал Михаил Александрович содержательнее. К сожалению кажется, что его дневник утерян; м. б. в нем нашлись бы интересные данные о последних днях монархии, когда вел. князь, как он

мне говорил, старался образумить царственного брата; попытка осталась безуспешной из-за влияния Александры Федоровны.

После обеда на второй день, т. е. в третий после нашего ареста, профессор Вестфален, известный специалист по внутренним болезням, лечивший вел. князя, был допущен к нему. Серьезный, важный, высокого роста немец с седой бородой казался анахронизмом в обстановке революционного Смольного. Он осмотрел своего больного, но что мог он посоветовать при этих условиях!

Мы уже легли, когда пришли мне сказать, чтобы я собирал вещи и шел к Урицкому. Я наскоро осведомился у великого князя, надо ли передать ему что-нибудь от него. Он просил только повторить прежнее заявление, т. е., что отрекшись от престола до учредительного собрания, он готов, если эта формула вызывает сомнения, подписать любой документ и отречься на все могущие представиться случаи, лишь бы ему дали спокойно жить в кругу семьи; он твердо решил не царствовать

Солдат, пришедший за мной, взял мой тяжелый матрац, в который я скатал свои вещи, и мы пошли по коридорам. Сначала я было не хотел брать своих вещей и возражал против освобождения в столь поздний час (эта комическая ситуация арестанта, не желавшего покидать тюрьмы, повторилась со мной приблизительно пять лет спустя), но у солдата были определенные распоряжения.

Я нашел Урицкого в той же зале, где происходил допрос. Он был один. Солдат, принесший мои вещи, сел у дверей. Урицкий принял меня весьма любезно и заявил, что Гатчинский совет так и не сумел ничего серьезного привести против меня, но что я сделал себя там непопулярным. Он принужден считаться с настроением местной власти и из политических соображений не может ее дезавуировать, даже когда она не права. Это было как раз то, что я предвидел с первой минуты допроса. Урицкий был принужден дать гатчинцам маленькое удовлетворение и выслать меня из Петербурга на короткое время, пока умы не успокоятся. Мне предоставлялось выбрать место моего пребывания. Я ответил, что, поскольку это касается меня, я ничего не имею против небольшого путешествия, но что я беспокоюсь относительно дворца, как ввиду общей тенденции совета наложить на него руку, так и вследствии якобы свезенных в подвалы взрывчатых веществ. «Мы снимаем с вас всякую ответственность за дворец, впрочем, мы

дали приказания, чтобы в отношении его была соблюдена крайняя осторожность». Я старался объяснить ему, что дело не в моей ответственности перед правительством я все же не мог сказать ему, что мне на нее было наплевать),
меня беспокоит действительная судьба дворца и его содержимого. Я дал ему понять, что, зная привычку совета, я не слишком верю в силу приказов, исходящих из центра, а кроме того, что я считаю возмутительным, что
ни в чем другом не виновного как в том, что в качестве представителя центральной власти проводил ее точку
тому же несколько раз предлагавшего свою отставку, и которого всегда просили оставаться на своем посту.
жертвуют, дабы доставить удовольствие
которых им пользовались. «Правда, вы работаете с нами», сказал Урицкий, «но вы все-таки не совсем наш. Вы
интересует не наше дело, а исключительно произведения искусства. Видите ли, разница между вами с одной
мной и вот этим товарищем, что сидит у двери, с другой, состоит в том, что вы станете работать с каким-угодно правительством, а я и этот товарищ будем работать только
правительством (мне кажется, он
«этого товарища»). Если бы — когда мы штурмом брали Зимний дворец, — нам бы сказали, что в нем в опасности находится Венера Милосская, мы бы все-таки стали
дворцу и все-таки взяли его штурмом, а вы нет.
Гатчинский дворец тогда остался цел, вы этим
мы посылали отсюда телеграмму за телеграммой
его щадить». Я подумал про себя, что я видел
телеграмм, к тому же я не верил, что они посылались. Упоминание о Венере Милосской было характерным
Урицкого в искусстве, вероятно это было единственным произведением, о котором ему

«Товарищ, — сказал я, — не можете ли вы себе представить, что бывают люди, у которых нет политических убеждений, а только политические вкусы? Так вот, если дело идет о вкусах, я предпочитаю ваше правительство Керенскому». — «Я знаю, что мы многим из вас симпатичнее его. Мы верим также в вашу лояльность, но вы все-таки не совсем такой как мы. Ну и вот, вы раздражили тамошний совет: вы были правы в том, что вы говорили, но в минуту, когда ожидали неприятеля, ваши слова произвели плохое впечатление на этих простых людей. Автономия властей на местах одна из основ нашей системы, и мы должны с ней считаться. Впрочем дело

зависит не от меня, это решение малого совета народных комиссаров. Товарищ Луначарский горячо за вас заступался». Впоследствии я узнал, что решение было принято по настоянию самого Урицкого, поведение которого с самого начала было двуличным, в чем я прекрасно отдавал себе отчет. Двуличие было и остается обычной тактикой коммунистических должностных лиц на всех ступенях иерархии. Я не хочу нисколько очернять Урицкого, который в этом случае лишь следовал установленной методе. Как бы там ни было, все что он говорил было умно и мне нравилось. Я сказал, что, если я могу выбирать, то охотно съездил бы в Финляндию (там в то время находились мои мать и дочь), если нет, то я выбираю Москву. «Финляндия, нет; это уже стало заграницей. Я значит велю заготовить вам бумагу на Москву, за которую много народа вам позавидуют, но вы должны выехать завтра же вечером». В то время путешествия были возможны только с особым разрешением, как я уже упоминал. За то они были даровыми; думали, что возможно сразу полностью проводить принципы социализма. Но разрешение на такое расстояние как Москва получить было почти невозможно. Нужны были особые причины или служебная командировка. На следующий день я получил бумагу, в которой было сказано, что я высылаюсь в Москву, и что комендант всякого поезда в этом направлении обязан предоставить мне место. По правде сказать, это была довольно странная высылка. Подготовлялось перенесение столицы в Москву; всероссийский съезд советов должен был там собраться для обсуждения двух важнейших вопросов: ратификации Брест-Литовского мира с Германией и перенесения столицы. Туда съезжались делегаты со всех концов, и поезда были переполнены.

Меня пребывание в Москве вполне устраивало; там находился семейный особняк, еще не окончательно экспроприированный (это вскоре произошло), и я был уверен найти радушный прием у старушки Марии Андреевны Васильевой, управлявшей домом уже несколько десятков лет. Кроме того у меня в Москве было не мало друзей.

После того как мои дела с Урицким были решены, я передал ему поручение вел. князя. Он посмотрел на меня своими умными глазами и ответил: «можно подписать все, что угодно и вполне добросовестно, после чего обстоятельства могут заставить действовать иначе. Вот почему все его заявления не имеют для меня никакой цены». После чего он предложил мне отвезти меня домой на своем автомобиле; он жил в бывшей

гостинице Астория на Исаакиевской площади, ставшей жилищем советских сановников, а мой дом находился напротив. Случай ближе изучить этого человека меня прельщал, с другой стороны мне хотелось еще вернуться в камеру. Я лишь впопыхах попрощался с товарищами и понимал, что вижу их, по крайней мере вел. князя, в последний раз в жизни. Я искренне привязался к этой хрустальной чистоты душе и не хотел расставаться с ним так внезапно. Хотел также передать ответ Урицкого. Поэтому я сказал последнему, что у меня в этот час уже все спят и просил разрешения на эту ночь вернуться в камеру. Он пробовал было меня разубедить, но затем сдался на мои доводы. Дело было не без риска, с большевиками никогда точно не знаешь, что может случиться; сегодня вечером они в настроении вас освободить, а завтра могут вздумать вас расстрелять.

Солдат, который принес мои вещи, не захотел тащить их в такую даль обратно; стали искать другого. Пока что между Урицким, мной и подошедшим каким-то товарищем завязалась беседа. Урицкий говорил, что он не совсем уверен, право ли было правительство, что не расстреляло царя, и что может быть придет время, когда это станет необходимым. С другой стороны мне казалось, что он почти уверен, что большевистская власть просуществует недолго. «Нам вероятно придется уйти, но уходя мы так хлопнем дверью, что нас долго не забудут!» Не он один так говорил; Троцкий и другие говорили то же самое.

Когда я вернулся в камеру, все спали кроме Джонсона. Я наскоро передал ему ответ Урицкого. На следующее утро меня не захотели освободить; наш караул не получал никаких приказаний и продолжал рассматривать меня как арестанта. Понадобилось еще несколько часов на формальности, эти часы я рад был провести с моими товарищами. Наконец я расстался с ними после сердечного прощанья.

Я вышел из этого здания, в котором провел два странных дня и старался отдать себе отчет в чувствах пленника, выходящего на свободу. Но видимо я был взаперти слишком короткое время, чтобы что-либо ощутить. Мне это лучше удалось в другом случае пять лет спустя после 4-х месяцев. Я решил использовать те несколько часов, что оставались мне до отъезда в Москву, на последнюю попытку (хотя я заранее знал, что она обречена на неуспех) в пользу вел. князя, просто для очистки совести. Я протелефонировал Луначарскому, прося о свидании. Он назначил его мне на послеобеденное время в

здании бывшего собрания Армии и Флота на Литейном, где он должен был присутствовать на детском празднике. Я ждал его у входа, он приехал на автомобиле в назначенное время; мы поднялись в большой зал и уселись на эстраде. Тут во время выступления фокусников и дрессированных собачек я рассказывал ему о полной ненависти манере, в которой Урицкий вел допрос, Луначарский ведь приехал в Смольный, когда допрос вел. князя подходил к концу. Я убеждал его что-либо предпринять. Луначарский от времени до времени вздыхал, говоря, что это очень больно слышать, но я видел, что он внимает мне рассеянно и больше занят дрессированными собачками. Понятно, что этого старого политического эмигранта в конце концов судьба члена династии не могла особенно интересовать, к тому же он должен был сознавать свое бессилие в этом случае. Если бы это ему ничего не стоило и его не скомпрометировало, он был достаточно добрым человеком, чтобы протянуть руку помощи и за одно доставить мне удовольствие, потому что он действительно ко мне хорошо относился; но положение вещей, каким оно было после решения малого совнаркома делало, я это понимал, всякий шаг с его стороны бесполезным.

Простившись с Луначарским, я отправился к Урицкому за удостоверением на поездку. На этот раз он находился в бывшем министерстве народного просвещения на Чернышевой площади у Фонтанки, прекрасном здании, построенном в начале тридцатых годов по проекту архитектора итальянца Карла Ивановича Росси. Я нашел большевистского Фукье-Тенвиля в кабинете, в котором меня прежде принимали два царских министра просвещения. Мало что с тех пор в этой комнате изменилось, если не беспорядок, который теперь в нем царствовал. Как и у Луначарского люди все время входили, выходили и громко разговаривали без всякого стеснения. Мне не пришлось на этот раз долго беседовать с Урицким. Я видел его в последний раз.

Вечером я покинул умиравшую столицу для возрождавшейся. Я получил место на стуле в утратившем свое назначение вагоне-ресторане, набитом до последних пределов возможного. Проезд, в нормальное время длившийся одну ночь, теперь занял 32 часа. О сне нечего было и думать в этом положении, почти без возможности двинуться. В то время маленькие неудобства подобного рода еще казались значительными, люди не успели привыкнуть, им еще не снились те недалекие времена, когда почти всему человечеству пришлось испытать

много больше. Пребывание в Москве оказалось весьма интересным, но о нем я расскажу в другом месте. Через месяц я получил разрешение вернуться в Петербург, но не в Гатчину. Моя роль там была кончена, другой коллега был назначен на мое место и с успехом продолжал там работу, начатую мною. Вслед за ратификацией Брестского договора продвижение немцев остановилось и дворец оказался вне опасности на ближайшие 25 лет.

Долгое время я точно не знал, что сталось с вел. князем и Джонсоном. Высланный вместе с ними в Пермь Власов скоро вернулся в Петербург и рассказал мне, что они провели там месяц в гостинице на относительной свободе, хотя и под надзором. Им позволяли гулять по городу, ходить на рынок и т. д. Власов сказал мне также, что вел. князь надеялся получить от меня письмо. Во время моего пребывания в Москве я не знал, где он, а теперь было поздно. Скоро после отъезда Власова из Перми там произошло нечто, что выяснилось только через несколько лет. Вот вкратце факты. Раз вечером к вел. князю и Джонсону пришли люди и приказали им следовать за ними. Не доверяя им, они пожелали видеть письменное приказание. Тогда им шепнули несколько слов, которые их убедили. Под видом коммунистов будто бы белые пришли их освободить. Их посадили в автомобиль, отвезли в лес и убили. Неизвестно, была ли это индивидуальная инициатива, дело Пермского совета, или приказ из Москвы. Когда у меня был Власов, он еще думал, что вел. князь действительно освобожден и находится в гостях у Сиамского короля; позже я прочел эту версию в какой-то советской газете и долго этому верил. Советское правительство имело тогда какие-то причины скрывать это преступление, может быть из-за английского подданства Джонсона. Впоследствии оно было признано как действие местной власти.

Проф. гр. В. П. Зубов

ЗАПИСКИ ПРОВИНЦИАЛЬНОГО ЖУРНАЛИСТА

1

Между 1908 и 1915 годом, 6-7 лет подряд, мне довелось быть профессиональным журналистом и редактором нескольких небольших газет в провинции Сев.-Западного Края. Было это много лет тому назад, в эпоху, которая называлась эпохой политической реакции. Но сейчас, после всего пережитого, после войн, революций, и катастроф — государственных, культурных и личных, — это время представляется почти идиллией. Земной шар, казалось, прочно стоял на своих основах. Если и были у кого-нибудь, например, у Блока, или еще раньше у Владимира Соловьева, предчувствия близости русской и вселенской беды, всеобщего крушения, — то эти предчувствия встречали мало внимания или еще меньше понимания. Скажу о себе и о своем круге; я принадлежал к историческим оптимистам, верующим свято в формулу прогресса, к неисправимым рационалистам, и в свете этого мировоззрения подходил к тому, что до первой мировой войны стало моей главной задачей: к борьбе за свободное слово.

Журналистикой я занялся в Минске, потом редактировал газету в Гомеле, последний мой редакторский этап был — Витебск. В этих трех городах — двух губернских и одном уездном, — бросалось в глаза преобладание еврейской интеллигенции. Евреи принимали большое участие в общественной и культурной жизни. Надо сказать, что по части антисемитизма Минск и Витебск пользовались прочной репутацией относительно благополучных городов: в них никогда не было погромов. Иное зрелище представлял собой Гомель. Мне гимназистом привелось там пережить погром в 1903 году, и спустя три года, в 1906 году судьба занесла меня опять в Гомель на короткое время, — буквально на другой день после второго погрома. Я не хочу пускаться в воспоминания о революционной работе, но попутно должен покаяться, что местный с. д. комитет при моем участии принял в январе 1906 года

решение: в случае нового погрома немедленно застрелить руководителей союза русского народа. За ними мы устроили слежку. К счастью, больше уже не было попыток устройства погромов. Но впоследствии, спустя несколько лет, когда я вновь оказался в Гомеле редактором газеты, помню особенную настороженность еврейского населения в городе, помню, как при каждом отдаленном крике на улицах возникала тревога: не начинается ли погром?

В Гомель я приехал весной 1909 года и пробыл там до поздней осени 1912 года. Газета, где я работал, первоначально называлась «Гомельский Вестник». Затем после всяких реорганизаций стала выходить газета «Полесье». Я был секретарем редакции, то есть, фактическим редактором. Ответственный редактор все время менялся. Одно время это был газетный конторщик, получавший за свою «ответственность» 30 рублей в месяц, которые ему гарантировались и в случае тюремной отсидки. Затем ответственным был присяжный поверенный из Киева, газетой не интересовавшийся, ведший фривольный, светский образ жизни, — редакция и контора помещались в его квартире. Был еще ответственным редактором один наборщик, обуреваемый жаждой славы хотя бы в роли репортера. Наконец, подписывал газету мой друг, вернувшийся с военной службы, беллетрист Хаим Горфункель, издавший впоследствии при большевиках книгу солдатских рассказов. Но все эти ответственные за газету перед администрацией лица были только «зиц-редакторами», подставными лицами. К газете они никакого отношения не имели.

Источники средств газеты «Полесье» были мне не вполне ясны. Правда, у газеты были свои доходы, и порою, в полосу успехов, немалые. Определенный доход давали объявления, которые собирались для газеты главным образом через агентов, работающих на процентах. Много лучше обстояло дело с тиражем. Делом распространения заведывал энергичный человек, имевший монополию на представительство московского «Русского Слова» в 8-ми губерниях Северо-Западного края, — следовательно, располагавший надлежащим аппаратом, которым пользовался и для распространения «Полесья».

Но, повидимому, всех этих прямых доходов было недостаточно для бесперебойного издания газеты. Для покрытия дефицита изыскивались общественные средства. Одно время получалась субсидия от княгини Паскевич, имевшей ярко-выраженную либеральную репутацию. Субсидия, насколько знаю, выражалась прежде всего в том, что писчебумажная фа-

брика княгини находившаяся в Добруше, отпускала бумагу для печатания газеты. Кто именно добыл эту субсидию у княгини Паскевич, — в точности не знаю, но с основанием могу предположить, что в этом деле сыграл роль местный популярный врач-окулист Абрам Яковлевич Брук, стоявший во главе глазной лечебницы, существовавшей на средства княгини и связанный с последней личными отношениями.

Но существенной была и общественная поддержка, которую оказывало Бюро печати, созданное в Петербурге, — если не ошибаюсь, при Еврейской Народной Группе М. М. Винавером. Думаю, что из этого источника средства шли через доктора Наума Ильича Александрова, местного лидера кадет-евреев. Помнится, материальные дела газеты при содействии всех этих дотаций шли в общем неплохо. Правда, мое жалование и оплата другого постоянного сотрудника Д. К. Черткова, общественного репортера, полицейского репортера, мальчика при газете, зиц-редактора — были довольно скромны, — но все же это были сытые годы в нашей жизни.

2

Сейчас в памяти встают отдельные эпизоды, связанные с работой в газете, привлекавшие тогда к ней внимание широких кругов местных жителей. Помню, как однажды весь город был взбудоражен трагическим происшествием — самоубийством гимназиста-шестиклассника Ивицкого. Причины самоубийства были почти банальны: при переходе в следующий класс гимназист получил плохой балл, из-за которого должен был остаться на второй год в классе. Жестокость педагогов, боязнь родительского наказания, стыд из-за неуспешности в школе, — все это вместе взятое привело в тупик 16-летнего мальчика. Интерес к происшествию усилился потому, что самоубийца был сыном видного местного деятеля, члена Городской Управы. Помню появление в редакции человека огромного роста, недавно еще в избытке сил, а сейчас жалкого, потрясенного отца. Это самоубийство было, кажется, первым делом, вокруг которого началась оживленная дискуссия. Печатались статьи и заметки, письма педагогов, общественных деятелей, учащихся. На все лады обсуждались проблемы о молодежи, беспризорной, дошедшей до отчаяния, душевно-опустошенной, устраивающей кружки самоубийц и лиги свободной любви, — и проблемы об отцах и детях, о семейном разброде, и о школе, которой верховодят «человеки в футля-

рах», — словом шла обычная, бесконечная дискуссия на весьма надоевшие, но ставшие тогда злободневными темы российского быта.

От этого эпизода память переносит меня к одному чисто-внутреннему, домашнему случаю, который в газете немало испортил нам крови. Случай был такой. В газете в это время работал репортером наборщик — Г. М. Нейман. Однажды один местный адвокат, способный и весьма популярный, сообщил мне, что Нейман явился к владельцу крупного кожевенного завода и сообщил, что в газете должна появиться заметка, требующая перемещения завода на окраину города, ввиду его антисанитарности и опасности для здоровья населения, особенно при приближении весны, сопровождающейся развитием эпидемий. Нейман показал текст заметки, уже набранной в типографии газеты и намекнул весьма прозрачно, что за приличную мзду в 300 рублей он готов воздействовать на редакцию и добиться непомещения этой заметки. Владелец завода попросил дать ему на день текст заметки и, получив его, передал адвокату, а тот уведомил меня.

Для того, чтобы вывести Неймана на чистую воду, я предложил адвокату устроить у себя на квартире очную ставку Неймана с заводчиком в моем присутствии, что и было сделано. Нейман отрицал, кричал, разыграл истерическую сцену. Но вынужден был сознаться полностью, когда ему был предъявлен злополучный текст заметки, которую он сам набрал в типографии и которой пытался шантажировать заводчика. Признаться, я опасался, что Нейман уже не первый раз использует газету для шантажа. Ничего не оставалось, как предложить ему больше не показываться ни в редакции, ни в типографии. Это не помешало ему назавтра придти в редакцию. Тогда пришлось в буквальном смысле слова взять его за шиворот и спустить с лестницы. Нейман однако на короткое время вновь всплыл на газетном поприще: он недолго выпускал конкурирующий с «Полесьем» листок, где, в частности, вымещал на мне свою обиду.

Помню, как «Полесье» было привлечено к ответственности Управлением Либаво-Роменской железной дороги за корреспонденцию не то о взяточничестве, не то о волоките в Управлении, граничащей с преступлением. Дело слушалось в Окружном Суде, в выездной сессии. На суде я тщетно добивался признания, что ответственным за корреспонденцию никак не может почитаться зиц-редактор, формально подписывавший газету, а только фактический редактор, знакомый с

делом по существу, знающий автора корреспонденции и могущий предъявить все нужные возражения. Юрисконсульт газеты, Г. И. Певзнер, — пытался против своей юридической совести убедить суд стать на мою точку зрения. Но ни прокурор Рудько, ни председатель суда К. Струве не согласились перевести меня, вызванного в качестве свидетеля, на скамью подсудимых и сделать обвиняемым. Не помню, чем кончилось это дело. Мне лично оно памятно еще из-за инцидента, связанного с моим поведением, когда я, в качестве свидетеля, отказался принести условную формулу присяги. Председатель спросил меня: — Почему вы отказываетесь? — Потому что это формула религиозного содержания, а я человек неверующий. — Ну, в таком случае дайте обещание говорить правду, суд этим удовлетворится... На этом инцидент благополучно и закончился.

Раз я уже заговорил о суде, то заодно расскажу эпизод, который был весьма характерен для политического курса тех лет. Было это в том же Гомеле, на вокзале, в зале 1 класса, в 12 часов ночи. Обычно движение поездов на Петербург и Киев, на север и юг, как и в других направлениях, выпадало именно на эти часы. К полуночи залы были полны народа. Оживление царило обычно большое. Когда я, взяв билет в кассе (я уезжал в ту ночь в Бобруйск), вернулся в залу первого класса, я стал свидетелем следующей сцены; сотрудник газеты Чертков с женой, пришедшие меня проводить, пытались сесть за стол, чтобы за чаем скоротать время до прибытия поезда. Но подошедший к ним официант заявил, что у стола им сидеть не полагается и довольно энергично вырвал из их рук стулья. Я понял, что мне нужно вмешаться в это дело. Дело в том, что Чертков был на полулегальном положении в Гомеле, он скрылся от ареста в Минске, и попасть ему в переделку было опасно. Я подошел к официанту и спросил, в чем дело. Он с видимым удовольствием повторил мне, что у стола сидеть не разрешается. — Кому не разрешается? — спросил я. — Вам не разрешается, — ответил он, — Евреям не разрешается. Чиновникам неприятно, когда евреи сидят рядом. — Кто запретил евреям сидеть за столом? — уже не помня себя от злобы, кричал я и стучал кулаком по столу. Подошел буфетчик и сказал, что такая инструкция имеется. — Где инструкция? Подать сюда инструкцию! — Она у жандармов. — Позовите немедленно жандарма!..

Нужно сказать, что весь этот инцидент разыгрался в большом, переполненном людьми зале, среди которых было

немало евреев, то с опаской, то сочувственно наблюдавших за происходящим. Мне казалось, что и не-евреи с сочувствием выжидали, чем все это кончится. Явился жандарм. Я потребовал инструкцию, на которую ссылался буфетчик. Жандарм ничего не знал. Я потребовал вызова дежурного офицера. За ним пошли, но жандарм вернулся, сказав, что он на путях, его нет сейчас на вокзале. Тогда я потребовал пресловутую жалобную книгу. Меня подвели к какому-то ящику с надписью, но он был заперт на ключ. А ключа не было. Прошло минут десять, в течение которых я демонстративно сидел у стола, за которым «евреям сидеть не полагалось». Наконец, отомкнули ящик, и в жалобной книге я написал в Управление Либаво-Роменской жел. дор., рассказав этот эпизод и требуя привлечения к ответственности жандармов, буфетчика и официантов, позволивших себе столь грубый акт антисемитизма на вокзале. Закончив составление жалобы, я громко на всю залу обратился к публике с призывом подписать жалобу в качестве свидетелей. Среди них, помню, был губернский директор народного образования С. С. Горбик, с которым мне потом приходилось не раз общаться по общественным делам.

Весь этот инцидент был подробно рассказан в газете. Оттуда он попал и в большую прессу. В «Киевской Мысли» об этом напечатал фельетон Д. Заславский. Когда прошел месяц-другой, и все позабыли об этом, я получил извещение от Виленской Судебной Палаты, что «жалоба еврея Аронсона» слушалась заочно и «оставлена без последствий».

Чтобы закончить эту серию наплывающих воспоминаний, приведу еще одно. В газете велась весьма энергичная кампания против злоупотреблений в мещанской управе. Однажды от имени мещанского старосты Маршова ко мне явился какой-то человечек и предупредил, что если эта кампания не прекратится, мне придется скверно. Ему известно, что надо мной тяготеет судебный приговор, что я его не отбывал, и в случае моего упорства вся эта история выплывет наружу.

Здесь я должен сделать отступление личного порядка, но, может быть, не лишенное и общего значения. Действительно, весной 1906 года, будучи в первый раз арестован и заключен в тюрьму, я на пятом месяце был внезапно освобожден и выслан до суда под надзор полиции в Гомель. Я явился с проходным свидетельством к помощнику полицмейстера Чижу и собирался перейти на нелегальное положение, чтобы вести революционную работу. Но жандармы не то спохватились, не то заинтересовались моей личностью и ночью явились за мной.

Их однако постигла неудача: мне удалось с черного хода благополучно от них уйти, затем бежать из Гомеля в Киев, оттуда нелегально перейти русско-австрийскую границу и затем, спустя год с лишним, как ни в чем не бывало оказаться «опять на родине». Хотя я знал, что над мной тяготеет заочный судебный приговор, я решил «легализоваться», то есть, проживать под собственным именем, — более того, рискнул поселиться в Гомеле, куда два с лишним года тому назад был выслан под надзор полиции — до суда. Одно обстоятельство, признаюсь, весьма подбадривало меня при этом: я узнал, что помощник полицмейстера Чиж исчез с гомельского горизонта и сам был арестован по делу банды, ограбившей церковь, а кроме него меня лично в полиции никто не знал.

Теперь трудно даже представить себе то психологическое состояние, в котором я оставался до самой революции 1917 г., проживая легально, но рискуя каждый день быть арестованным. Когда ко мне иногда наведывались жандармы с целью обыска, я всегда был готов идти в тюрьму. Однажды утром меня вызвали к полицмейстеру, и явившийся за мной городовой потребовал, чтобы я пошел вместе с ним. Я был убежден, что все открылось, и я уже больше не увижу свободы. Но спустя некоторое время я стал вхож к полицмейстеру. У нас действовала тогда система предварительного представления первых свежих страниц на цензуру полицмейстера, обычно оттуда никаких вопросов или указаний не поступало, и газетные листы шли в печать почти автоматически. Но порой полицмейстер вызывал меня «для разговора». Мы сидели в его кабинете и вели более или менее дружеский разговор: о петербургской политике главным образом. Помню, особо хорошие отношения у меня установились с полицмейстером, когда этот пост занимал Николай Онуфриевич Отто. На улице, на бульваре встречались, здоровались, останавливались на минуту. У меня немного екало на сердце. Я всегда ждал подвоха. К тому же весь период гомельской жизни, я неизменно сочетал свою легальную — общественную и газетную работу с участием в с. д. подполье. Но, повидимому, до властей ничего не доходило. Никаких провокаторов у нас, видимо, не было, да и доносчики вывелись. Или мы казались не очень опасными царской власти? И это возможно.

3

Чувствую, что надо подчеркнуть, что мы, вчерашние революционеры и подпольщики, вступая на путь легальности и

сотрудничая в легальной печати, непартийной, общественной, радикально-демократической, начинали в русской жизни какую-то новую страницу. Ведь наши предшественники этого не знали, да и провинция, — губернская и особенно уездная, — редко располагала собственной независимой печатью. Приучить население к газете было делом новым и нелегким.

Существенна была и другая сторона дела, характерная для того небольшого слоя провинциальных журналистов, к которому я принадлежал: для нас газета не была самоцелью, она была орудием общественной работы, неразрывной частью ее, дополнением к ней. Газета должна была обслуживать наши общественные нужды, наши политические задачи, наши культурные потребности.

Для того, чтобы подкрепить мысль о связи газеты с общественностью, хочу отметить, что в подпольном с. д. комитете, куда я входил, в порядке дня заседаний всегда стоял вопрос о моей газете, то есть, об использовании ее, как легальной трибуны, — в интересах местного рабочего движения, и социалдемократии вообще.

Естественно, приходилось оглядываться на цензуру, опасаясь административных кар, прибегать к эзоповскому языку, изобретать терминологию, приспособляясь к легальности. Тем не менее я хочу констатировать, что политическая обстановка царившая в стране, работа Государственной Думы, даже в сумеречное время Третьей Думы, — не взирая и на административный произвол, и на эксцессы, и на наличие полонофобства и антисемитизма, на деятельность союза русского народа, на «столыпинские галстуки», — несмотря на все это вместе взятое все же для России впервые в ее истории открывались новые свободные возможности, легальные пути развития, путь реформ. Мы в провинции, в нашей скромной независимой печати являлись как бы и показателями перемены, происшедшей в России после революции 1905 года, и, если хотите, даже участниками «эпохи реформ».

Обилия талантов, да и вообще литературных сил в Гомеле не наблюдалось. Общественные деятели писали редко, да и то, главным образом, когда они непосредственно бывали в чем-нибудь заинтересованы. Писали они к тому же неважно, приходилось немало работать над выправкой их стиля. Был в газете целый выводок молодых поэтов: это было время повального версификаторства; из всех них впоследствии (в 1917 году и в последующие годы) выдвинулся только В. Выгодский,

— как поэт и переводчик, связанный впоследствии с различными литературными начинаниями Горького.

«Полесье» — было для своего времени боевым общественно-политическим органом с неплохим литературным отделом, на что в те годы был усиленный спрос. Помню как-то после лекции приезжавшего из Москвы Ю. Айхенвальда, в редакцию пришло его письмо с вопросом, кто автор отчета о его лекции и другой статьи о Борисе Зайцеве. Мы вступили с ним тогда в переписку, в которой он с большой похвалой отозвался об «уровне» газеты.

Среди курьезов тех лет хочу отметить неожиданную весточку из Германии от... Карла Радека. Он прислал письмецо на ломаном русском языке, писал, что учится по-русски и уже читает Толстого в подлиннике. Вместе с тем он прислал свою немецкую статью из «Нейе Цайт» Каутского с просьбой, если подойдет, поместить.

Говоря о людях, работавших на газетном поприще, хочу сказать только несколько слов о нашем газетном мальчике Хатаевиче. Я знал его довольно хорошо, бывал у него дома. Это была очень бедная семья, без отца, мать — вдова — «держала буфет» в кинематографе. Хатаевич был мрачный, очень темный, почти негритянского вида юноша лет 18, с некрасивым и даже отталкивающим лицом. Его люто ненавидел хроникер Алиев, живший при редакции, — широкоплечий, мужикообразный человек с огненно-рыжей бородой и жирными волосами, ненавидел, добивался его увольнения и даже однажды установил, что мальчик крадет газетную бумагу и продает ее в магазины на обертку.

Вспоминаю все это потому, что из всех персонажей тех лет только Хатаевич сделал в революции громкую, одно время всероссийскую карьеру. Чтобы не распространяться, приведу только ссылку на Большую Советскую Энциклопедию (I-ое издание, т. 59), где наряду с портретом Хатаевича дана и его биография, из которой мы узнаем, что «Х. Мендель Маркович (р. 1893), член Ц.К. ВКП и ЦИК Советов, был в 1914 г. сослан в Приангарский край. В 1918 г. состоял председателем Горкома в Самаре, был арестован чехословаками и подвергался истязаниям. Далее он состоял до 1932 г. секретарем Самарского, Гомельского, Одесского, Татарского комитетов, затем Средневолжского крайкома; одно время работал при ОРГотделе в Ц.К., а с 1933 г. был секретарем и членом Политбюро КПУ (Украины) и секретарем Днепропетровского Комитета». Этим исчерпываются данные о нем в БСЭ

за 1935 год. В годы ежовщины, будучи фактическим диктатором в Днепропетровском Крае и одним из главных агентов Москвы на Украине, Хатаевич пропал без вести, то есть, был ликвидирован.

4

В эти годы — 1908-13 — провинциальная жизнь в Северо-Западном Крае, где проживало не мало интеллигенции и полуинтеллигенции, живо и чутко реагировавшей на новые веяния псевдо-конституционной эпохи, — заметно преображалась и в своем общественном и духовном содержании углублялась. Связи со столицей были очень тесные. Государственная Дума, — даже сумеречная Третья, — со всеми разыгрывавшимися в ней конфликтами стояла в центре внимания. Правительство Столыпина, деятельность которого казалась нам подлинной, почти махровой реакцией, являлось в сущности элементом какого-то молекулярного, происходившего где-то в глубине, но явного общественного оживления. Мы писали в газете против Столыпина, против его «неконституционных» методов, в особенности в связи с вопросом, непосредственно касавшимся нашего края, — введение западного земства. И тем не менее, когда это земство возникло, (я бывал на земских собраниях) оно, хотя с одной стороны и послужило к укреплению реакционных землевладельцев русского происхождения (в ущерб полякам, коих было немало в районе), но, с другой — привело и к образованию каких-то оппозиционных, либеральных и крестьянских группировок, приходивших на совещание в нашу газету «Полесье» и прибегавших к нашей поддержке. У меня в земстве появились и связи, и друзья.

В эти же годы и в местной Городской Думе произошли разительные перемены. До того Городская Дума была прибежищем черносотенцев. Городской голова полупольского происхождения Домбровский, русские патриоты-лавочники (их было всего с полдюжины в городе, где вся торговля концентрировалась в еврейских руках), церковные старосты, — давали тон городскому самоуправлению. Даже председатель союза русского народа, — Давыдов, гремевший еще с конца 1905 года, выступал в Городской Думе не без «цитат» из пророчеств Достоевского о том, что «жиды погубят Россию». И вдруг в результате новых выборов в Городскую Думу прошло несколько человек, образовавших там оппозицию Домбровскому и, благодаря своей настойчивости, интелли-

гентности и либерализму, сумевших не только оказать влияние на отцов города, но как-то незаметно превратить самое Думу в живое общественное учреждение.

Для меня обучавшегося в гомельской гимназии, было особенно пикантно, что в качестве руководителей либеральной группы выступали учителя гимназии. Одним из них был В. Чикидовский, словесник, пользовавшийся репутацией и реакционера, и человека в футляре. Помню, о нем рассказывали, что, читая в учительской суворинское «Новое Время», он тщательно исправлял в нем опечатки и ошибки. Помню, он не упускал случая посмеяться над неправильным акцентом еврейского мальчика, вынуждая его повторять: не «мьясо», не «пьять», а мясо и пять. Встретить его гимназисту после 7 час. вечера значило иметь большие неприятности.

Другой тип представлял собой учитель географии, Иван Петрович Максимов, занимавший особое место в гимназии, и в иерархии местных чиновников. Он был богат, независим, известен в крае, как составитель географических карт. Гимназия очень дорожила им, ценила его согласие быть педагогом, а репутация у него была человека определенно-либерального. Тем не менее должно было так случиться, что еще в гимназические годы у меня был с ним острый конфликт. Вспоминаю, что на уроке истории, — Максимов преподавал и историю, — я воспользовался либеральным его отношением и занимался своим делом: — писал для заграничной печати отчет-корреспонденцию о юношеском движении, — как вдруг Максимов спросил меня: — Что вы делаете? — Я ответил: — Пишу письмо. — Дайте сюда! — потребовал он. — Я, конечно, отказался, заявив, что он не должен читать частные письма. Максимов вспыхнул, подбежал ко мне и попытался — безрезультатно — вырвать у меня из рук злополучную бумажку. Класс был возмущен мною и требовал, чтобы я отдал письмо Максимову. Сам Максимов был возмущен, — как он потом говорил, — самой моей мыслью, что он позволит себе прочитать мое частное письмо. Кончилось тем, что он меня выслал из класса, отправив к директору гимназии (по дороге я письмо уничтожил), который, распекая меня, резонно упрекал: как это я осмелился оскорбить уважаемого Ивана Петровича, и кричал: — «вы весь принадлежите нам», и в доказательство обводил руками мою одежду. Сознаюсь, что я был уже окончательно «испорченный» мальчик, ибо в кармане у меня лежала нелегальная брошюрка, и я цинично думал про себя: «ну, попробуй только»...

А вот теперь оказалось, что Иван Петрович — умеренный либерал, прогрессивный человек, один из лидеров оппозиции в Городской Думе. О членах союза русского народа всерьез говорить не приходится, они были где-то на задворках общественности. Местной газете правых «Гомельскому Слову», которую редактировал священник, бывший гимназический законоучитель, приходилось подтягиваться и действовать с оглядкой. Положение евреев-гласных, назначенных губернатором (по закону евреи к выборам не были допущены: из нескольких тысяч домовладельцев в городе в Городскую Думу выбирали не более нескольких сот домовладельцев-русских), становилось при наличии оппозиции более прочным и влиятельным; помню, как вся Дума начала прислушиваться к речам и предложениям лидера кадет, врача Н. И. Александрова, ближайшего друга нашей газеты. Доходило дело до того, что на собрания думской оппозиции, у И. П. Максимова на дому уже приглашали меня. Времена меняются!

Постепенно возникали и новые культурные организации. Создался литературный кружок. Образовалось педагогическое общество, во главе которого стал новый учитель русского языка в гимназии Боборыкин, сотрудничавший у нас в газете и впоследствии — в февральскую революцию — примыкавший к меньшевикам. Среди местных врачей оживление: доктор Брук приглашает себе в помощницы женщину-врача, приятельницу депутата А. И. Шингарева по Воронежу, она тоже оказывается эсдечкой. Связь с столицами очень тесна и особенно поддерживается печатью: «Речь», «День», «Русское Слово» идут нарасхват. Читают и «Киевскую Мысль», и легальную с.-д. печать, выходившую в Петербурге: меньшевистский «Луч» и большевистскую «Правду». Эту связь с центром укрепляют приезжающие лекторы-гастролеры: Чуковский, читавший об Уайльде, Айхенвальд о Чехове, бывший священник Григорий Петров, — красноречиво, хотя и не ясно о чем, и член Гос. Думы проф. Гредескул.

Для моих друзей особенное значение имело в эти годы общение с приезжавшим из Петербурга Борухом Столпнером, оригинальным философом и замечательным человеком, местным уроженцем. Он читал нам доклады в небольшом кругу, на частных квартирах. Это были вечера большого духовного наслаждения.

С приезжавшими из столиц людьми мы проводили в узком кругу памятные вечера, в ресторане после докладов, затягивавшиеся до первых петухов. Гредескул первый рассказал

нам о влиянии Распутина при дворе, о чем тогда в печати еще почти ничего не было. Столпнер, бывавший в Петербурге повсюду: в Религиозно-философском Обществе, на Башне у Вячеслава Иванова, дружившем с нововременцем Вас. Вас. Розановым, рассказывал нам о них — и о Сологубе, Блоке. Не знаю, место ли здесь об этом упоминать: молодежь, увлекавшаяся поэзией, писавшая стихи, жила в годы 1908-1913 под исключительным обаянием стихов Блока, *жила* в буквальном смысле слова, то-есть, воспринимала каждую строку Блока не только, как явление литературы, но как непосредственный фактор своего духовного существования, как элемент преображения жизни.

5

Хочу отметить эпизод, происшедший со мною в эти годы, думаю, что в 1912 году. Однажды ко мне, по рекомендации доктора А. Я. Брука, явился человек лет 27-28, отрекомендовался раввином из г. Новозыбкова, Хейном, Абрамом Давидовичем. Он написал по-русски книжку в связи с убийством Ющинского и делом Бейлиса в Киеве, которое тогда волновало всю Россию, на тему: «Евреи и кровь», в которой свел воедино все высказывания из Талмуда и других еврейских книг по вопросу об отношении евреев к крови. Хейн просил отредактировать его книгу и затем поехать в Петербург и помочь ее издать. Книга, действительно, нуждалась в основательной литературной обработке, я этим делом занялся, и на этой почве мы очень быстро сблизились с молодым раввином, надо сказать, представителем мира мне до того времени чуждого.

Однажды, редактируя книгу Хейна, я настолько запутался в талмудических дебрях его не слишком русского текста, что решил поехать к нему в Новозыбков. Задумано — сделано. Отправился на вокзал, взял билет, сел в поезд и поехал. И вот только я вошел в поезд, как начались мои испытания. Была ранняя осень. Сумерки наступали рано. Вероятно, было часов 6. Стою у окна и любуюсь мелькающим пейзажем. За спиной в купэ третьего класса какая-то женщина подробно и весьма противным голосом рассказывает соседке, что в ее деревне жид Янкель приставал к ее племяннику Ваничке, десятилетнему мальчику, дать ему кровь из пальца и предлагал ему за это пятачек. А кровь ему нужна для выпечки ихних опресноков на Пасху. Вступил в разговор мужской голос и

передал известие, что в его городе недавно евреи-булочники отравили весь свой хлеб и хотели нм накормить христиан, но были заблаговременно пойманы и сосланы в Сибирь. Мне стало тошно, не по себе. Я перешел в другое купе и уселся на скамейке. Моими соседями были какие то мещане, поближе к окну какая-то ядовитая старушка распекала и теребила своего сына, верзилу с большой рыжей бородой; затем, повернувшись к остальным пассажирам, она начала им что-то говорить, повидимому, продолжая разговор. Я слышу: — Вот в Киеве недавно рабочий с кирпичного завода Мендель попал в тюрьму за то, что зарезал христианского мальчонку, чтобы добыть крови для жидовской Пасхи... Я невольно встал с места и прошел дальше вдоль вагона, слыша вдогонку кем-то брошенные слова: — А, знаете, совсем в поезде по иному, когда их нет... И, действительно, иначе: кондуктора обходят вагоны, вежливы, зажигают свечи и стараются помочь получше устроиться, подымают койки. Подходят, спрашивают: не хотите ли занять хорошее место в купе у окна?..

Только тогда я начал замечать, что в вагоне нет евреев. Обычно эта линия бывала полна главным образом евреями. А сейчас — ни одного. Меня, повидимому, не приняли за еврея. В чем дело? Я выхожу на площадку, подставляю голову ветру и недоумеваю, почему сегодня нет евреев? Разве праздник? Ведь день будничный, не субботний.

Поезд уже приближается к Новозыбкову. Выхожу, беру извозчика. Еду долго, может быть час. Часам к 10-ти мой Россинант подвозит меня к нужному дому. У подъезда небольшого одноэтажного дома стоит женщина. Я спрашиваю: — Здесь живет раввин Хейн? — Здесь, — отвечает она немного растерянно, идет впереди меня, и, открывая дверь в ярко освещенную комнату, говорит по-еврейски: — Ребе, вас какой-то «гой» спрашивает. — Появляется раввин, подходит ко мне, мы целуемся с ним, и со странной растерянной улыбкой спрашивает меня: — Вы разве не знаете, что сегодня Иом-Кипур (Судный день)?.. Я, действительно, не знал и, спохватившись, хотел сразу уйти. Но раввин не дал мне уйти.

В глубине комнаты — я уже заметил, — сидела группа бородатых евреев в шляпах и ермолках над раскрытыми фолиантами. Хейн завел меня в другую комнату, в свой кабинет, потом отпустил по домам своих гостей и вернулся ко мне, оживленный и улыбающийся. — Они, конечно, приняли вас за гоя. Я их не разубеждал, они ушли, и мы теперь вдвоем.

Как это случилось, что вы, живя в таком ультра-еврейском городе, как Гомель, могли не знать, что сегодня Иом-Кипур?

Мы провели всю ночь без сна, болтали обо всем на свете. Я рассказывал ему о незнакомой ему породе русско-еврейской интеллигенции: об отщепенцах. Живя в Гомеле, издавая там газету, погружаясь в русскую политику, отдаваясь русской литературе и поэзии, я и мои друзья, молодежь, без семьи, без родни, живем практически в каком-то безбытном, нереальном, призрачном мире. В Иом-Кипур магазины закрываются, вся жизнь замирает, а я ухитрился этого не заметить. Мы даже не чужды еврейской проблематике, но, повидимому, опять-таки вне связи с бытом, с традицией, с религией, с реальностью. Потом мы переходим на философские темы, и обнаруживается, что раввин Хейн знаком с религиозными сочинениями Льва Толстого и во многих отношениях считает себя толстовцем. Он рассказывает, что смерть Толстого была с глубокой скорбью встречена верующими евреями, и в этот день в синагогах только и говорили, что о его смерти. Мы перешли на личные темы, и я узнал, что Хейн — состоятельный человек, что у него молодая жена и двое детишек, которые сейчас в Крыму.

А когда мы вернулись затем к моим вагонным впечатлениям, и я передал своему собеседнику то особенное настроение, которое было в поезде по случаю отсутствия в нем евреев, Хейн заставил меня дать ему слово, что каждый раз перед поездкой я буду справляться: не приходится ли она на еврейский праздник...

6

Не помню, чтобы до нашей провинции по-настоящему доходили настроения выявившиеся после революции, жгучая, покаянная потребность бить себя в перси и вопиять: mea culpa, mea maxima culpa — как это отразилось в сборнике «Вехи», в статьях Бердяева, Струве, Гершензона и других, в росте религиозных настроений, в исканиях Мережковского и других. Мы всё читали, читали и «Вехи». Но слишком сильно было в нас рационалистическое начало, мы упрямо верили в поступательный ход развития, в формулу прогресса, — чтобы заняться ревизией и самокритикой. Понадобилась вторая революция, чтобы в ее грозе и буре нам открылась иная перспектива, и мы поняли по-настоящему уроки 1905 года. Наконец, мы усердно занимались политикой, и были реалистами.

Поэтому нам показались убедительнее «Вех» — сборники кадет и эсэров, в которых дан был ответ гонителям прогресса и строгим судьям интеллигенции. Конечно, талантливы были Бердяев и Струве, но голос кающихся революционеров до нас не доходил. Мы с интересом читали и другие сборники тех лет — социалдемократические, «На рубеже», и «Литературный распад», где Степан Иванович бичевал нравы понедельничной прессы, Каменев вскрывал реакционные корни поэзии Брюсова, а Ф. Дан (Данилов) устанавливал социологическую природу санинизма. Но все это в гораздо меньшей степени отражалось в нашей журнальной деятельности, нежели нашумевшая тогда дискуссия о национальном лице. Это было понятно, ибо впервые мы тут столкнулись с антисемитской заразой, проникшей в интеллигентские, вчера еще радикальные круги. К тому же это была политика, а не литература.

Если сейчас по памяти восстановить картину этой дискуссии, то она, пожалуй, будет такова. В Петербург из Польши приехал Шолом Аш, и на собрании русских писателей в Петербурге читал свою пьесу. После чтения было обсуждение и кое-кто высказал мнение, что пьеса неправильно отражает еврейскую жизнь. Аш обиделся и, в частности, заметил, что вряд ли русские писатели компетентны судить, в какой мере пьеса еврейского писателя правильно изображает еврейскую среду. Это замечание Аша послужило спичкой, брошенной в пороховой погреб. Выступил ряд лиц, известных своей принадлежностью к радикальному лагерю, Арабажин, а потом Чириков, автор пьесы «Евреи», и они не только заявили протест против слов Аша, но и внесли новую, полемическую ноту. — Если считать, что русский писатель не может критиковать пьесы еврейского писателя, то было бы правильно отрицать за рецензентами-евреями право писать отзывы о пьесах русских писателей. Между тем, среди театральных рецензентов обеих столиц преобладают евреи, — Кугель (Хомо Новус), Эфрос, Шайкевич и другие. Они «захватили» театральные отделы в газетах, от их рецензий зависит успех или провал пьес. Так говорил Чириков и другие.

И когда из четырех стен частной квартиры, где завязался узел дискуссии, вопрос был перенесен в прессу, то была поставлена во всю ширь и во всю страсть проблема «национального лица». Высказывались все, — среди них и Струве, в голосе которого прозвучала и новая великодержавная нота, заключавшая в себе призыв к русской интеллигенции вспом-

нить о своем национальном лице, забить патриотическую тревогу и призадуматься над тем, не в этом ли недостаточно развитом у русской интеллигенции национально-государственном чувстве и лежит причина причин ее поражений и ошибок. Когда в порядке газетной работы к нам донеслась эта дискуссия, мы увидели в ней главным образом прикровенное жало антисемитизма, и это отразилось в наших откликах на нее.

Большая трудность выпала на долю «Полесья» в связи с убийством Столыпина. О загадке этого убийства мы ничего не знали и, конечно, довольно слабо были осведомлены о той глухой борьбе, которую черносотенные круги вели против Столыпина, восстанавливая против него царя и его окружение. Для нас в конце концов Столыпин был воплощением реакции, автором переворота 3 июня, человеком, который даже с весьма консервативной Государственной Думой не сумел и не хотел установить модуса вивенди. Поэтому самая весть о его гибели нисколько нас не взволновала.

Но это убийство могло вызвать последствия — попытку погрома, — особенно, когда обнаружилось, что убийца — еврей (охранник или революционер?) и газете надо было, как говорится, занять позицию. Эта позиция была облегчена для нас тем фактом, что мы — социал-демократы, присно и вовеки — принципиальные противники политического террора и, следовательно, искренне можем осудить убийцу. Но не будет ли означать такое осуждение — включение в хор правой печати и окончательную потерю лица? Вот вопрос, над которым мы ломали себе голову. Это был один из тех моментов, когда я вспомнил, что при газете существует широкая редакционная коллегия. Ее мы срочно собрали и было решено написать дипломатическую статью, в которой было все нужное сказано и в сущности ничего не сказано. Статью эту написал упомянутый мною сотрудник газеты Чертков.

Вот в этой отнюдь не идиллической, а как раз довольно напряженной и, главное, полной ответственности атмосфере прошло несколько лет моей журналистической работы в Гомеле. Дело шло к концу 1912-го года. Год был последним годом моей работы в «Полесье». Осень этого года была для меня особенно памятна. На выборах в 4-ую Государственную Думу была выдвинута моя кандидатура в выборщики, таким образом еще раз произошла смычка моей политической работы и работы журналиста.

Г. Аронсон

О ПРЕДКАХ ЛЕНИНА И ЕГО БИОГРАФИЯХ

Нельзя отвернуться или уйти вот от какого непреложного факта: октябрьская революция 1917 г., возглавленная, лучше сказать «сделанная» Лениным, создавая «СССР», толкнула мир к величайшим преобразованиям, величайшим переворотам, привела весь мир на новую историческую дорогу. На фоне происшедшего Ленин выступает как гигантская фигура, как зачинатель новой эпохи. О нем напечатаны миллионы страниц, но далеко не всё сказано и показано. Появляется кое-что и новое и это новое, представляя, например, семейную генеалогию Ленина, мало известную, дает книга Мариэтты Шагинян — «Семейство Ульяновых». Это не сухая биография предков, а весьма горячий «роман-хроника», с окраской фактов, надстройкой из домыслов, с некоторой фантазией, иногда слишком слащавой, иногда с нажимом слишком уж тенденциозно-революционным. Издательство «Молодая Гвардия» указывает, что выпущенный им в свет роман Шагинян начат двадцать с лишним лет назад и «первый его вариант» был одобрен бывшими в то время в живых Н. К. Крупской и братом Ленина Дмитрием Ульяновым. Однако, этот вариант, по дошедшим заграницу слухам, не получил одобрения какой-то высшей инстанции. В изображении молодого Ленина нашли черты, несоответствующие партийной агиографии. Нужно думать, что по этой причине из произведения Шагинян ныне выброшено всё что прямо относится к Ленину и оно, во втором дозволенном варианте, повествует только о семье и предках Ульяновых, оканчиваясь появлением на свет Ленина — «старообразного, как все новорожденные, с огромным глыбастым лбом в рыжем пуху».

Что о семье Ульяновых нового сообщает Шагинян? У Александра Дмитриевича Бланка, деда Ленина, было пять дочерей. Старшая Анна вышла замуж за Веретенникова, вторая дочь — Любовь — за Ардашева, «родила девять детей, овдовела и, чтобы поднять детей, вышла вторично за Пономарева, получавшего хорошую пенсию». Не есть ли Пономарев тот «чудак», который жил у Бланка в Кокушкине? «Они спорили до хрипоты, а когда ссорились посылали друг-другу письма из комнаты в комнату». Третья дочь Бланка — София — вышла

замуж за Лаврова и «как-то оторвалась от семьи». По моим сведениям, Лавров был очень богатым помещиком, имел большое имение где-то недалеко от Ставрополя на Волге. Четвертая дочь, самая младшая, Мария, мать Ленина, вышла замуж за И. Н. Ульянова. О Катерине, пятой дочери Бланка, Шагинян почему-то не говорит ни слова. А нам известно, что она вышла замуж за педагога Залежского и Николай Всеволодович, сын ее дочери (вышедшей замуж за Первушина) здравствует и поныне, уже много лет живя заграницей.

У Ленина была уйма двоюродных братьев и сестер, наверное не менее 20 и вот что интересно: никто из них, в отличие от всех детей Ульяновых, не стал коммунистом. Не потому ли биографы Ленина и всякие документы о Ленине об этой родне, за исключением Веретенниковых, не упоминают. Двоюродный брат Ленина Н. Веретенников, написавший брошюрку «Володя Ульянов», напечатанную в 1946 г. (100.000 экземпляров!) строго следует тому же правилу: ничего об этой родне Ленина не говорить. Рассказывая о жизни Ленина летом в Кокушкине, он пишет: «с нами был двоюродный брат». Или: «Володя стал бороться с одним из двоюродных братьев». Или: брат Ленина Митя «всё время вертелся возле старших двоюродных братьев». И ни разу Веретенников не пояснил о каких-таких «двоюродных братьях» идет речь. У этого молчания, конечно, есть какая-то причина.....

Мариэтта Шагинян дает в некоторых своих частях совершенно неизвестную биографию А. Д. Бланка (1802-1873). Он окончил в 1824 г. петербургскую «медико-хирургическую академию» и, послужив год в Смоленской губернии, вернулся в Петербург, где семь лет занимал «должность полицейского врача». Когда это ему надоело, он оставляет службу и больше года «отдыхает». Очевидно, была материальная возможность не служить и «отдыхать». Не тогда ли он женился на Анне Ивановне Грошопф — из состоятельной немецкой семьи? Когда ему надоело отдыхать он поступил «ординатором в Мариинскую больницу, состоявшую под покровительством герцога Максимилиана Лейхтенбергского». Будучи непоседой, Бланк уходит и с этой должности и едет на службу сначала в Пермь, а потом в Златоуст, где делается инспектором госпиталя Оружейной Государственной фабрики. Весьма любопытно, что во время службы Бланк в летние месяцы в большом рыдване совершает «далекие путешествия заграницу на Карлсбадские минеральные воды». В 1847 г. Бланк бросает всякую службу, выходит в отставку, покупает именье Кокушкино под Казанью, «приписывается, по

словам Шагиняи, к дворянству Казанской губернии» и навсегда перебирается в деревню. Жена Бланка умерла (когда неизвестно), он живет в Кокушкине с пятью дочерями и своячницей, сестрой его жены. Екатериной Ивановной Эссен, заменяющей дочерям Бланка умершую мать.

Что представляло собою Кокушкино? Мне приходилось уже о том писать (См. «Ленин в Кокушкине», «Новый Журнал» 1954 г., кн. 36) и поступившие позднее сведения полностью подтвердили мое утверждение. Биографы Ленина сделали всё, чтобы не дать на поставленный вопрос настоящего ответа. Например, вышеупомянутый Веретенников пишет: «наш дед — А. Д. Бланк был врачем, жил в деревне Кокушкино и лечил крестьян». Крупская в «Большевике» (1938 г., кн. 12) немного к этому добавляет: «он купил домик в деревне Кокушкине и лечил крестьян». Проф. Б. Волин в «Историческом Журнале» (1945 г., № 4) вносит некоторую поправку в слова Крупской. Бланк купил не «домик», а «заброшенный без земли хуторок» и «стал там жить и заниматься врачебной практикой». А на самом деле Бланк жил в Кокушкине не потому что был деревенским врачем, а землевладельцем. И Кокушкино было не «*домиком*», не «*хуторком*» без земли, а имением с приписанными к нему крепостными душами. Иначе говоря, дед Ленина, подобно другим землевладельцам, был обладателем рабов. Играя разными неясными словечками биографы Ленина это хотят скрыть. Но оттого, что дед был хозяином крепостных душ, у Ленина ничего не прибудет и ничего не убудет и если около этого всё-таки идет игра в прятки, то потому что существует дурацкое намерение по партийной директиве изображать Ленина в какой-то святой обстановке, без единого, ее портящего, пятнышка социального зла. Ведь писал же М. Горький, что у Ленина «почти женская нежность к человеку» и «его личная жизнь такова, что в эпоху преобладания религиозных настроений Ленина сочли бы *святым*» (см. «Коммунистический Интернационал», 1920 г. № 12).

Все биографы Ленина усиленно подчеркивают что его дед был врачем, человеком «передовым». Они выдвигают вперед интеллигентскую ипостась предка, заслоняя его как помещика-землевладельца, хотя Ленин признал, что «в некотором роде я тоже помещичье дитя». По словам Шагинян, Бланк написал даже целую книгу по медицине, в которой, увлекаясь немецким методом лечить водою, утверждал, что «вода внутрь и вода снаружи» есть главнейший фактор поддержания здоровья. Чтобы укрепить нервы своих дочерей, он обвертывал их на ночь мо-

крыми простынями. «Дочери часто плакали в подушку от папенькиных экспериментов и тянулись на волю», стремились поскорее выйти замуж. За исключением младшей дочери — Марии, о которой мы знаем при каких условиях она вышла замуж; совершенно неизвестно как при таком папеньке другим сестрам удалось выбраться из Кокушкина и найти женихов в лице Веретенникова, Лаврова, Залежского. Бланк держал крепко в руках своих дочерей, ослушаться его никто из них не смел. По всей видимости это был человек взбалмошный, властный и довольно грубый. Поспорив однажды с жившим у него Пономаревым, говорившим что можно питаться и собакой, ибо в ней есть «животный белок», Бланк приказал поймать на деревне собаку, изжарить ее с картофелем и подать к столу — пусть Пономарев покажет, что ее можно есть.

Какова национальность Бланка? Фамилия его не русская. Он был «мещанин по происхождению» — пишет сестра Ленина. Это национальности его не определяет. В черносотенных кругах пытались доказать, что он еврей, что отсюда в Ленине течет еврейская кровь и все беды России, попавшей в руки Ленина, идут именно из этого вражеского источника. Но вне черносотенцев кое-кто тоже считал и считает Бланка евреем, но, конечно, крещеным. Так, приходилось слышать, что, якобы, в архиве Синода обнаружены после октябрьской революции весьма мерзкие доносы Бланка на своих соплеменников. Ни один биограф Ленина о национальности Бланка не говорит. Где он родился, откуда он — не знаю, но уверен, и о том уже писал, — Бланк не еврей. Трудно допустить, что в начале 19-го столетия при Николае I еврей мог быть в Петербурге семь лет полицейским врачем. Уже совсем нужно отвергнуть мысль, что еврей, даже крещеный, мог в то время стать владельцем крепостных душ. Мало согласуется с его еврейством женитьба на немке Анне Ивановне Грошопф, а, кстати сказать, это имя впервые сообщается М. Шагинян, очевидно затратившей не мало труда в поисках различных архивных данных. От Шагинян мы узнали, что брат жены Бланка — Карл — занимал должность «вицедиректора департамента внешней торговли», а другой брат — Густав — заведывал таможней в Риге. Это была явно состоятельная и по тому времени очень культурная семья. Ничего нет удивительного, что вышедшая из этой семьи сестра жены Бланка — Катерина Ивановна, жившая в Кокушкине, могла обучить свою племянницу Марию Александровну (будущую жену И. Н. Ульянова) музыке, пению, знанию трех языков. Очень культурным человеком, превосходным музыкантом,

страстно влюбленным в скрипку, был и Карл Грошопф. Есть основание предполагать, что жена Бланка, происходя из состоятельной семьи, принесла ему приданое, позволившее Бланку не быть в зависимости от службы. Этим следует объяснить, что он мог так свободно бросать работу, «отдыхать», сменять одну должность на другую, а в 1847 г., вероятно на женино приданое или остатки его, купить Кокушкино. Указанное семейство Грошопф имело отцом, как его аттестует Шагинян, «легендарного Грошопфа». Чем он «легендарен» — она не поясняет. О нем Шагинян сообщает всего два факта. Один пустяк — принятие первого числа каждого месяца касторки для профилактики. Другой более интересен — прадед Ленина был женат на шведке — Анне Карловне Остедт. По материнской линии у Ленина капли и немецкой, и шведской крови.

Какое антропологическое наследство получил Ленин с отцовской стороны. Особо нового в этой области М. Шагинян не сообщает, но кое-что уточняет. Мы знали, что бабушка Ленина со стороны отца была А. Н. Смирнова. Шагинян теперь к этому прибавляет: «она происходила из уважаемого в астраханском мещанстве крещеного *калмыцкого рода*». Значит, это от нее, вышедшей замуж за астраханского мещанина — портного Николая В. Ульянова, идет калмыцкий облик ее сына — Ильи Николаевича Ульянова, переданный в несколько смягченном виде внуку ее Ленину. В нем, следовательно, помесь крови славянской (от Н. В. Ульянова), крови немецкой, шведской и калмыцкой. Но что из этого можно вывести? В данном случае почти ничего. Или лишнее свидетельство, что чистой расы нигде нет, кажется даже и на Таити и других островах Тихого океана. Впрочем, можно к этому добавить, что в России помесь славянской крови со всякой иной дала многих талантливых людей. Нельзя забыть, что в Пушкине течет эфиопская кровь.

От антропологии перейдем к другой стороне наследства Ленина по отцовской линии. После смерти отца Василий Ульянов остался единственным работником в семье, попечителем матери, брата Ильи и сестры. Другая сестра Мария очень рано вышла замуж за довольно состоятельного купца Горшкова. Только благодаря попечению брата, который был старше его на 9 лет, отец Ленина мог окончить астраханскую гимназию. И только потому, что он неустанно поддерживался братом, отец Ленина смог окончить казанский университет, стать потом педагогом, высоко подняться на этом поприще, быть директором всех начальных училищ Симбирской губернии, после награждения орденом Св. Владимира получить звание потомственного дворя-

нина, а потом чин действительного статского советника, т. е. штатского генерала. Письма к своей матери Ленин мог законно адресовать: Ее Превосходительству М. А. Ульяновой (письмо от 15 апреля 1914 г. — том 37 сочинений Ленина, стр. 523). Детство и юность Ленина протекали в исключительно благоприятной для него обстановке. В марте 1904 года, во время прогулки в ближайшие к Женеве горы, Ленин мне говорил: «у меня от детства сохраняются самые приятные воспоминания — жили мы в тепле, голода не знали, были окружены всякими культурными заботами, у нас были книги, музыка, развлечения, прогулки». Без самопожертвования, без помощи астраханского дяди Василия — всего этого могло бы и не быть и даже наверное не было бы. Сборник «Молодые годы Ленина» сообщает, что дядя Василий жил в унаследованном от отца неказистом домишке «в полтора этажа» (низ каменный — верх деревянный), который находился на Косе, «месте поселения астраханской бедноты». Указанием такого рода не следует особенно прибеднивать Василия Ульянова. В должности приказчика в фирме «Братья Сапожниковы» и, как превосходный работник, пользующийся полным доверием своих хозяев, В. Ульянов нужно думать получал приличное жалованье. Если его жалование было бы очень ничтожным он не посылал бы брату деньги когда тот уже служил и имел заработок. Об одной такой посылке передает Шагинян. Она указывает, что в 1863 году (это семь лет после окончания казанского университета) Илья Н. Ульянов переезжал из Пензы в Нижний Новгород, где должна была состояться его свадьба и нуждаясь в деньгах, обратился за помощью к брату. И «Василий наскреб денег и послал брату, чтобы выручить Ильюшу перед самой свадьбой». Если брат Василий мог «наскрести» денег в этот раз, то можно допустить, что он наскребал их и в другие разы, особенно когда уже не было на свете ни его матери, ни сестры Феодосии и он, неженатый, жил совершенно одиноким. Какую-то большую сумму, незадолго до своей смерти (он умер в 1878 г.) Василий Ульянов послал своему брату и воспоминание о ней хранилось в семействе Ульяновых, но в печати об этом нигде не упоминается.

* * *

Старшая сестра Ленина Анна писала, что после смерти их отца «наша семья жила *лишь на пенсию матери*» и, небрежно прибавляла, — и на то, что «проживали понемногу из оставшегося после отца». Эту нарочито неясную фразу нужно испра-

вить. Илья Ник. Ульянов оставил наследникам не какой-то большой капитал, а некоторый достаток и этим фамильным фондом очень умело многие годы управляла мать Ленина. В фамильный фонд входили деньги, оставшиеся от отца и дяди Василия, большой с садом дом в Симбирске, очень выгодно потом проданный (из сумм за проданный дом был в 1889 г. куплен за 7.500 рублей хутор Алакаевка в Самарской губернии, а в 1897 за ту же сумму продан) и часть имения Кокушкина, приходящаяся по наследству матери. К этому нужно прибавить пенсию в 1.200 рублей в год, получаемую М. А. Ульяновой за службу ее мужа. В то время это была значительная сумма. Фамильный фонд позволил всем членам семьи долгое время не искать заработка. Первый заработок у Дмитрия Ульянова в 28 лет, а у Ленина в 27 лет, что, на наш взгляд, нужно считать ненормально поздним. Тот же фонд дал возможность всей семье многократно совершать поездки заграницу. Двадцатипятилетний Ленин прожил там четыре месяца в 1895 г. и тратил денег немало. Из Швейцарии он писал матери: «жизнь здесь обойдется, по всем видимостям, очень дорого, лечение еще дороже. Если можно пошли мне *еще* рублей сто» (письмо от 18 июля). Из Берлина (письмо от 29 августа) снова просьба о присылке денег: «вижу что с финансами опять у меня «затруднения»: соблазн на покупку книг и т. п. так велик, что деньги уходят чорт их знает куда. Опять приходится обратиться за вспомоществованием: если можно пришли мне рублей 50-100». Когда Ленин пишет «если можно», то это только façon de parler. Он наверняка знает, что мать может снабдить его деньгами.

Младшая сестра Ленина — Мария ездила заграницу пять раз: с матерью была в 1897 г. в Швейцарии, с нею же в 1902 г. в Бретани, потом жила в 1897 г. в Брюсселе, слушала лекции в университете, в 1904-5 г. жила в Женеве, а в 1908-9 г. в Париже, посещала Сорбонну. Все связанные с этим расходы покрывал, конечно, фамильный фонд. С интересом узнаешь, что Ленин настойчиво толкал свою любимую сестру «Маняшу» на поездки заграницу, когда той не было 16 лет и она еще училась в гимназии. «С твоим взглядом, писал он ей в Москву из Петербурга, на гимназию и занятия согласиться не могу. Вовсе не резон усиленно работать, иначе расхвораешься не на шутку. Лучше бросить и ехать заграницу. Поездка тебя освежит, встряхнет, чтобы ты не кисла очень уж дома» (письмо от 24 дек. 1894 г.).

Чтобы давать 16-летней девице возможность совершать «освежающие» ее прогулки по Европе — нужны деньги и не-

сомненно у Ульяновых они тогда были. Но об этом все они, начиная с Ленина, считали абсолютно лишним говорить. По его словам это Privatsache и пусть никто со стороны сюда не залезает. Анна Ульянова даже считала нужным изображать очень бедненьким материальное положение Ульяновых. В предисловии к собранию «Писем Ленина к родным» она писала, что Ленин, будучи в ссылке в Сибири, жил «на одно казенное пособие в *8 рублей в месяц*». Просто неловко это читать. Ведь за предисловием Анны Ульяновой следуют страницы сборника, из которых совершенно ясно, что Ленин в ссылке не жил только на казенное пособие, а всё время получал деньги от матери. В декабре 1897 г. Ленин писал: «финансы получил, дорогая мамочка, и первые и вторые, т. е. от 16/XI и 8/XII. Думаю, что долго (сравнительно) не понадобятся никакие экстрадобавления». Однако, перерыв в посылках денег не очень долог и в начале марта 1908 г. Ленин шлет матери следующее послание: — «пришли мне, пожалуйста, побольше финансов. Расходы могут предстоять изрядные и я намерен прибегнуть к изрядному округлению своего долга».

Никогда Ленин свой долг не будет возвращать и любящая его мать никогда траты Ленина не будет считать долгом, подлежащим возврату. Деньги от нее он получал многие годы и после отъезда в 1900 г. заграницу. Одна из таких получек имела место, например, в Женеве весною 1904 г., перед тем как, окончив писать книгу «Шаг вперед — два шага назад», Ленин с Крупской отправился в полуторамесячную прогулку по швейцарским горам. О получении этих денег, будучи в то время в Женеве, я слышал от Елизаветы Васильевны — матери Крупской. Но мне думается раз поставлен вопрос о деньгах — его нужно трактовать в требуемом им экономическом аспекте.

Энгельс в 1883 г. в речи на могиле Маркса поведал, что Маркс «открыл закон развития человеческой истории, тот до последнего времени скрытый (?) под идеологическими наслоениями простой факт, что люди в первую очередь должны есть, пить, иметь жилище и одеваться, прежде чем быть в состоянии заниматься политикой, наукой, искусством, религией, и т. д.». Ленин не был бестелесным существом, неподчиненным «открытому» Марксом закону. Занимаясь проповедью революции, ему нужно было в то же время «есть, пить, иметь жилище и одеваться». Откуда, как получал Ленин средства на это? Или в другой формулировке — в каких условиях материального существования протекла жизнь Ленина, скажем, со времени его возмужалости до осени 1917 г., когда с переселением в Кремль этот вопрос для него перестал существовать?

Над СССР развивается знамя Маркса, там все марксисты — об «экономическом факторе», «пить, есть, иметь жилище, одеваться» с утра до вечера идут нескончаемые разговоры. Казалось-бы именно в этой стране биографы Ленина, и должны бы выдвинуть и «в первую очередь» осветить вопрос о «материальной жизни» Ленина. Представьте себе — как раз этого-то и нет! Все биографы Ленина о том молчат. Это область, в которую, в согласии с правилом всех Ульяновых, вступать запрещается. А когда вступают — то, чтобы лгать так бесстыдно как это сделал Владимиров в брошюре «Ленин в Париже», заявляя, что Ленин жил «*впроголодь*», «всегда бедствовал в первый период своей эмиграции. Вот почему возможно наш пролетарский вождь так рано умер».

* * *

Книга Шагинян, давая некоторые новые сведения, интересные для характеристики семьи Ульяновых, всё-таки не сообщает ничего могущего вызвать удивление. Наоборот, сенсационную новинку совершенно особого рода, приносит изданный в 1960 г. сборник «Молодые годы В. И. Ленина», составленный А. И. Иванским. Шагинян кончила свой роман-хронику рождением Ленина, сборник как бы продолжает ее и, опираясь на разные документы и воспоминания современников, представляет на 485 страницах жизнь Ленина от рождения до сентября 1893 г., до его отъезда из Самары в Петербург. Здесь нет места останавливаться, например, на воспоминаниях товарища Ленина по гимназии Д. М. Андреева, читая которые всё время приговариваешь: ну, и сочинитель, ну, и бесстыдник! Но это пустяк и не привлекает большого внимания, внимание направляется главным образом на сенсационное сообщение сборника, удивляющее всех, кто знает или думает что знает биографию Ленина. Следя за Лениным с 1901-2 г. — и особенно после появления его, временно меня покорившего «Что делать», я имел непростительную смелость полагать, что биографию Ленина, историю его идейной борьбы, этапы его идейного развития, — знаю хорошо. И оказывается, что я даже не знал, что *в конце мая 1892 г.*... Впрочем, зачем сразу туда скакать, нужно подойти к тому, что тогда произошло с некоторым введением, оно позволит лучше измерить величину брошенной в обращение эпатирующей новости. Поэтому, начнем с начала. В январе 1889 г. Ленин принялся за чтение первого тома «Капитала» и «Наших разногласий» Плеханова. Со слов М. Горького я уже сообщал, что ввод Ленина в марксизм был сделан в Казани с

помощью составленного Н. Е. Федосеевым каталога-указателя книг и журнальных статей, приводящих к познанию учения Маркса и Энгельса. Будучи в 1908 г. у М. Горького на Капри, Ленин сказал, что «лучшего пособия в то время никто бы не составил. Мне, как вероятно многим другим, он (каталог Федосеева) оказал громадную услугу, открыв прямой путь к марксизму» («Встреча Ленина с марксизмом», «Новый Журнал», 1958 г., кн. 53). Переехав в мае 1889 г. в Самару, Ленин там, а летом на купленном матерью хуторе Алакаевка, продолжал и укреплял изучение марксизма. И менее чем через два года он считал, что полностью им овладел. Его знания доктрины были обширны. В этом отношении, как и во всех остальных, он был на несколько голов выше Скляренко, Лалаянца, Ионова и всех остальных самарских марксистов. Очень уместно привести суждение о нем В. В. Водовозова. Он был в Петербурге товарищем по университету Александра Ульянова — брата Ленина. Сосланный в 1887 г. в Архангельскую губернию, в Шенкурск, Водовозов получил разрешение на короткое время побыть в Петербурге и здесь осенью 1890 г. познакомился с Владимиром Ульяновым-Лениным, которого к нему привела его сестра Ольга Ульянова. А Ленин приехал в Петербург для переговоров о сдаче экстерном государственных экзаменов при университете и у Водовозова хотел узнать всякие подробности об этих экзаменах. В 1891 г. Водовозову разрешили из Шенкурска переехать в Самару, где он счел нужным ближе познакомиться с Владимиром Ульяновым и со всей его семьей. Его желание тем более понятно, что у него осталось сильное, близкое к восхищению, впечатление от двух, как он говорил, «одухотворенных» и исключительно талантливых членов этой семьи: казненного Александра и Ольги, умершей в Петербурге от тифа. Какое впечатление вынес Водовозов из посещения семьи Ульяновых и частых бесед с Владимиром Ульяновым? Об этом он писал в пражском эмигрантском сборнике в статье «Мое знакомство с Лениным».

«Владимир Ульянов производил впечатление человека, если не разностороннего, то во всяком случае хорошо образованного. Больших знаний вне круга его непосредственных интересов у него не было. Естественными науками, философией он совершенно не интересовался. Но в вопросах политической экономии и истории его знания поражали солидностью, особенно для человека его возраста (21-22 г.). Он уже тогда знал обширную марксистскую литературу (немецкую) и производил впечатление человека политически вполне законченного и сложившегося. Он

заявлял себя убежденным марксистом, но будет правильнее, если скажу, что марксизм был у него не убеждением, а *религией*. Он интересовался возражениями против марксизма, но у него как бы была презумпция, что никаких серьезных аргументов против марксизма нет и быть не может, и изучал он их не с целью поисков истины, а в целях отыскания в их основе ошибки, в существовании которой он был заранее убежден» (Сборник «На чужой стороне», 1925 г. том XII).

Несколько строк из этой статьи, не критических, а восхваляющих Ленина, приводятся в книге Ю. З. Полевого «Зарождение марксизма в России». Однако, ссылка на Водовозова, как и некоторые цитаты Полевого из моей книги о Ленине — вызвали окрик на страницах «Правды». Коллектив из «кандидатов исторических, общественных и философских наук» в лице В. Самедова, Л. Ширикова, С. Щепрова с негодованием отмечает, что Полевой — «отдает дань белоэмигрантской литературе, изрядно цитирует явных врагов ленинизма. Поразительно, что Полевой обращается к подобным писаниям не столько ради полемики, сколько ради источника, черпает из них фактический материал. Даже характеризуя первые шаги революционной деятельности В. И. Ленина автор не обходится без выдержек и ссылок на воспоминания и «труды» либерала В. Водовозова и меньшевика Н. Валентинова, против которых, как известно, В. И. Ленин вел длительную идейно-политическую борьбу» («Правда» № 17 июля 1960 г.).

Ясно, что черпать фактический материал из эмигрантской литературы запрещается.

Скоро после первых посещений Водовозовым семьи Ульяновых обнаружилось, что близко сойтись с Владимиром Ильичем он ни в коем случае не может. Водовозова возмущала невыносимая полемическая грубость Ульянова, его безграничная самоуверенность, его самомнение, разжигаемое тем что (уже тогда!) в семье его считали «*гением*», а окружающие его единомышленники марксисты видели в нем «непререкаемый авторитет». Отталкивала Водовозова и допустимость Вл. Ульяновым всяких средств лишь бы они вели к цели. Их споры и столкновения достигли крайней остроты вот по какому поводу. В 1891-92 г. неурожай, повлекший голод, охватил восточную часть России. Голодные крестьяне бежали из деревень, в Самаре ходили из дома в дом, прося хлеба и работы. Нужда была огромная. Помощь требовалась немедленная. Правительство организовывало (очень плохо) разные общественные работы для голодающих и на помощь им считали своим долгом придти все

в ком билась хотя бы маленькая частица сердца, способного откликнуться на великое бедствие. Был организован т. н. общественный комитет помощи, на собранные средства устраивающий столовые для голодающих. Подавляющая часть самарской интеллигенции приняла участие в этом комитете. Но Владимир Ульянов в отношении к нему занял самую враждебную позицию. Он был против какого-либо участия интеллигенции и своих знакомых в кормлении голодающих. Он подвергал общественный комитет помощи яростной критике. Он желал, чтобы комитет поскорее развалился, чтоб из него вышли все люди радикального направления. Что за сорт идей руководил Лениным в этой, с моральной точки зрения, совершенно непонятной кампании? Они ясно изложены в цитированной статье В. В. Водовозова. В качестве члена общественного комитета ему приходилось много раз против них выступать.

«Голод, говорил Ульянов, есть прямой результат определенного социального строя и пока существует этот строй голодовки неизбежны. Уничтожить их можно лишь уничтожив этот строй. Будучи в этом смысле неизбежным, голод в настоящее время играет роль *прогрессивного фактора*. Разрушая крестьянское хозяйство, выбрасывая мужика из деревни в город, голод создает пролетариат и содействует индустриализации края, а это явление прогрессивного порядка. Но голод может явиться прогрессивным фактором не только в области экономической. Он заставляет мужика задуматься над основами капиталистического строя, разбивает веру в царя и царизм и, следовательно, облегчает победу революции».

С иронией говоря о желании «так называемого общества», «подкормить» голодающих, Вл. Ульянов твердил, что «это общество есть плоть от плоти, кровь от крови буржуазного общества. В какие бы социалистические мантии оно не рядилось, в какие бы цвета оно не окрашивалось, оно не в силах отвлечься от интересов буржуазного общества в целом. Голод грозит потрясениями, может быть, гибелью этому строю. Поэтому стремление смягчить последствия голода вполне естественны. По существу это стремление ослабить неизбежные грядущие потрясения, спасти основы буржуазного строя, а следовательно, и самого себя. Психологически же все разговоры о кормлении голодающих суть выражение обычного слащавого сантиментализма, свойственного нашей интеллигенции».

Самарский марксизм Ленина, усваиваемый к ужасу Водовозова его юным братом и 13-летней сестрой Марией — давал о себе знать как система убеждений поистине страшных. С точ-

ки зрения этого марксизма кормление голодающих есть акт экономически реакционный, ибо препятствует ускоренной индустриализации, необходимой предпосылкой которой является превращение в пролетариев разоряемых голодом крестьян. Кормление голодных в то же время акт политически реакционный, так как оно не разжигает, а может умерять бунтовские антиправительственные чувства. Кормление всякими радетелями голодающих вместе с тем акт, в сущности, безнравственный, — те, кто стоят за такое кормление руководятся скрытой мыслью спасти гнусное буржуазное общество, а вместе с ним и собственную шкуру. Справедливость требует сказать, что идеи самарского марксизма Ленина разделяли далеко не все тогдашние марксисты. Например, тот самый Н. Е. Федосеев, кто ввел Ленина в марксизм, с которым потом Ленин находился в оживленной переписке, высоко его ценил и уважал, — как небо от земли был далек от самарских идей Ленина. В большом, крайне интересном письме Федосеева, хорошо характеризующем этого талантливого человека, посланном Н. К. Михайловскому с протестом против его статьи в «Русском Богатстве» (1893 г. книге 10) находятся следующие строки: — «Как я слышал оренбургские марксисты, разражались гневом против молодежи, отправлявшейся в (голодную) деревню кормить крестьян». «Оренбургские марксисты» убеждали, что кормить крестьян значит «препятствовать процессу создания капитализма». Я склонен думать, что подобный абсурд дал вам повод отождествлять русских марксистов с «рыцарями накопления». Но я не могу допустить, что такой развитой и умный человек как вы, глупости оренбургских студентов и каких бы то ни было других лиц, именующих себя «марксистами», — стал бы распространять вообще на русский марксизм, будто бы неизбежно приводящий своих адептов к подобным *преступным мыслям*» (письмо Федосеева, извлеченное из архива Михайловского, впервые напечатанное в журнале «Пролетарская Революция» 1933 г. № 1).*

Федосеев бьет не только по оренбургскому марксизму, но и по самарскому марксизму Ленина, называя преступным зало-

---

* Федосеев подверг большой критике статью Ленина против Струве для сборника «Материалы к характеристике нашего хозяйственного развития» (1895 г.). Поэтому она появилась в печати в измененном виде. Эту историю я рассказал в «Социалистическом Вестнике», 1954 г. № 8-9. Но, следуя за А. Н. Потресовым, сделал ошибку. Статья Ленина была из Петербурга послана Федосееву не во Владимир, а в Сольвычегодск.

женный в нем строй мыслей. Невыносимыми считал их и В.В.Водовозов и после многих столкновений на этой почве с Лениным перестал с ним встречаться. Осенью 1892 г. срок принудительного пребывания Водовозова в Самаре кончился и перед отъездом из нее, он, приличия ради, пошел проститься с семьей Ульяновых. *Вот и все.*

* * *

В том то и дело, что это не все. И если есть желание узнать о Ленине нечто новое, до сих пор никому неизвестное, свидетельствующее что, еле перешагнув 21-летний возраст, он уже одерживал такие идейные победы, обладал столь поразительной силой, что мог идейно распять любого «властителя дум» того времени — то нужно обратиться для этого к А. А. Белякову. Будучи, по его словам, постоянным членом кружка, руководимого Лениным (до сих пор об этом мы не знали), постоянно, как он уверяет, с ним встречаясь в Самаре, зная все подробности его жизни, он написал книгу «Юность вождя». Книги этой у меня нет, но ее, переизданную *в 1960 г.,* обильно на десятках страниц цитирует находящийся у меня в руках сборник «Молодые годы Ленина». И там, на стр. 440-449, находится самое главное, самое интересное, что сообщает Беляков. Он передает что в мае 1892 г. В. В. Водовозов переехал на дачу за город и скоро все от него узнали, что в Самару приезжает Николай Константинович Михайловский и остановится у Водовозова. Это прибытие считалось событием огромной важности. Еще бы! Михайловский находился в зените славы, был самой яркой и большой звездой на общественном горизонте начала 90-х годов. На дачу Водовозова «совершались непрерывные паломничества почитателей Михайловского, которые, пишет Беляков, по моему буквально отравляли его существование. Люди приходили исключительно и буквально только за тем, чтобы засвидетельствовать уважение и почтительно посмотреть Михайловскому в рот в ожидании, что оттуда обязательно вылетит главная истина». Водовозову пришла мысль, воспользовавшись приездом Михайловского, устроить собеседование, на котором должна быть представлена доктрина народничества устами самого Михайловского и доктрина марксистская в изложении Вл. И. Ульянова — ее главного выразителя в Самаре. На такое собеседование согласился Михайловский. Пошел и Ульянов. Он «согласился (Sic!) на знакомство с Михайловским и обещал Водовозову, что будет вполне приличным в выражениях даже в случае самого горячего спора». «Встреча должна была состояться на четвер-

тый день приезда Михайловского в Самару на даче у Водовозова в четыре часа дня». Беляков перечисляет всех присутствующих на этой встрече, тщательно указывая не только их фамилии, но инициалы их имен и отчеств. Присутствовали: Н. К. Михайловский, В. В. Водовозов, его брат Н. В. Водовозов, его жена — В. П. Водовозова, племянник Михайловского Мягков, И. М. Красноперов, В. О. и В. В. Потругаловы, Н. С. Долгов, В. В. Савицкий, П. П. Крылов, Влад. Ильич Ульянов, А. П. Скляренко, М. И. Лебедева, И. А. Кузнецов, С. Н. Локкерман, Е. М. Карлер, С. М. Моршанская, Макарова и, разумеется, сам А. А. Беляков. Итого 22 человека. «Было очень тесно, стульев не хватало и пришлось сидеть на перилах веранды, на ступеньках, так как собрание состоялось на веранде дачи». «Владимир Ильич пришел без опоздания, но все уже были в сборе и когда Водовозов его представил, то он попросту поздоровался с Михайловским так же как со всеми присутствующими, не открывая рот от изумления и не захлебываясь от счастья, что видит «нашего известного» Н. К. Михайловского. На минуту водворилось молчание, а затем Водовозов обратился к Михайловскому: может быть мы приступим к собеседованию и вы, как обещали, сделаете сообщение «Пути народничества к социализму»?

Беляков передает о чем «в красиво построенной и еще красивее произнесенной речи» говорил Михайловский. Экономя место, этого не буду касаться. По той же причине не буду касаться речи Вл. Ульянова, детально передаваемой Беляковым. Скажу только, что из сопоставления речей совершенно ясно, что Ульянов самым научным образом опрокинул Михайловского на обе лопатки. «Было около девяти часов, когда приступили к чаепитию и разбились на группы. Михайловский, все-таки не унимаясь, затеял спор об истинном философском понимании Маркса, главным образом с Владимиром Ильичем. К моей большой обиде, я не схватил сущность этого спора и не могу его передать. Спор, однако, был очень горячий и довольно затяжной. Только около часа ночи (начавшись с 4-х часов!) закончилось это собеседование». Юный Вл. Ульянов произвел на Михайловского громадное впечатление и о том на другой день (Беляков dixit) он говорил не В. В. Водовозову, а его брату:

«Ульянов, бесспорно, очень способный человек, сильный оппонент. *Ясность мысли, сила логики* и *вооруженность цифрами* выдвигают его как очень опасного для народничества марксиста. А эта простота изложения, *чеканная отчетливость всякой мысли* может в будущем выработать из него очень крупного пропагандиста и писателя. В общем личность незаурядная и народничеству с ним не раз придется встретиться».

«Дня через два Михайловский уехал, забыв у Водовозова легкую шелковую кепку, которая почитателями, начиная с Шайдановой и Россова, была разрезана на мелкие куски и разобрана чуть не в драку, как память о личном свидании со светилом народничества».

Было-бы пикантно прибавить еще несколько цитат из произведения Белякова, но главное приведено и теперь уже можно сделать суждение: *произведение Белякова есть образец глупейшего литературного мошенничества.* То что он описывает *никогда* не происходило. Михайловский в Самару к Водовозову не приезжал. Никакой встречи с Лениным и споров на даче не было. Понятно, что об этом нет ни слова в воспоминаниях Водовозова. И ни единого слова о том ни в одной из биографий Ленина, в том числе и в только что вышедшей в 1960 г. новой биографии. В книге «Зарождение марксизма в России» Полевой мимоходом ссылается на трафаретные заявления Белякова («микроб революционного марксизма занес в Самару Ленин»), но обходит полным молчанием беляковские сказания о диспуте на даче. Он превосходно знает, что Беляков лжет. Ленин действительно начал свою литературно-политическую карьеру ругательским натиском на Михайловского, уверяя, что тот «не умен», «лает на Маркса из-за подворотни», «нахально врет», «сидит в луже, охорашивается и брызжет вокруг грязью». Но он вел такую полемику с Михайловским не в 1892 г., а в 1894 г. в напечатанной на гектографе работе «Что такое друзья народа и как они воюют против социал-демократов». Личной встречи с Михайловским у него *никогда* не было. Мы видели, что Беляков дал длинный список лиц, якобы, присутствовавших на диспуте. Вероятно их всех уже нет в живых и, стряпая свое сказание, Беляков считал, что может свободно для подкрепления лжи пользоваться мертвыми душами. Ну, а если некоторые из указанных им лиц еще живы и по разным мотивам позволяют Белякову на них ссылаться — тогда их нужно признать молчаливыми участниками литературного мошенничества. Таким, но уже активным сообщником является и Иванский, составитель сборника «Молодые годы Ленина» с его обильными заимствованиями лживых сообщений Белякова. Таковые — Серебрянников и Захарченко, редактировавшие составленный Иванским сборник. Таковые — весь ЦК Комсомола, издавший этот сборник. Словом, мы имеем здесь дело не с индивидуальным мошенничеством, а с *коллективно* учиняемым. Выше упомянутые В. Самедов, Л. Шириков, С. Щепров, «кандидаты философских, общественных и исторических наук» — накинувшиеся на стра-

ницах «Правды» с чисто полицейскими ухватками на книгу Полевого, выискивали в ней «уклоны» и «неправильности». Они искали блох, а на гиппопотамского размера фальшивку Белякова не смотрели, так как *не должны* были смотреть.

Это понятно. Директиву партии тройка кандидатов выражает следующими словами:

«*Историю нельзя излагать в объективистском духе*». Это «отступление от ленинских принципов партийности в науке». «Историко-партийная литература — одно из важнейших средств идеологической работы. Она призвана воспитывать нашу молодежь на героических примерах прошлого».

В применении к самому Ленину канон требует подкидывать, приписывать ему все, что, по мнению партии, его еще более возвышает, еще более укрепляет, еще более усиливает впечатление от его «героической» личности. Диспута на даче, где (Беляков dixit) — «молодое, только что загорающееся светило марксизма» торжествовало над «потухающим светилом народничества» — не было. Но история не должна излагаться в «объективистском духе», поэтому то, что не было объявляется бывшим, существовавшим, вставляясь в качестве еще одного цветка в гигантский букет доблестей Владимира Ильича. При своей замурованности (сколько усилий тратится на заглушение чужой прессы и чужих радио!) СССР есть вообще страна где очень легко бывшее сделать не бывшим, а небывшее объявить фактом.

Если бы не было войны, февральской революции, слабости всех людей Февраля — Ленин, вероятно, умер бы в эмиграции и о нем вспоминали бы не больше чем о Бабефе, Бланки или Ткачеве. Но победоносная октябрьская революция из этого мыслимого состояния его вытащила и сделала высоко взлетевшей исторической личностью. Созданное им государство имеет в настоящее время мироопределяющую силу. Весь мир на него смотрит. Прислушивается. В громадных своих частях уже следует за ним. Нужно быть до жалости слепым, чтобы не узреть, что одновременно, в своеобразной форме, осуществляются вековые, *очень опасные,* мессианистические, националистические предчувствия, ожидания, мысли многих русских людей о мировом призвании, мироруководительстве России. На фоне случившегося Ленин, как личность, сыгравшая поразительную по силе и влиянию роль в истории (в сравнении с ним Наполеон — мелочь) не может не привлекать к себе огромного внимания, и

разумеется, прежде всего историков. Но, например, советским людям не дано знать настоящего Ленина таким каким он был, знать его всего, а не только в виде святой мумии, не только с показной стороны, подмалеванной разными Беляковыми, Андреевыми и прочими. Партийные биографы дают «приблизительный» образ Ленина, лишь в пределах, в каких он соответствует в данный момент коммунистической агиографии. Живой Ленин остается вне ее...

Н. Валентинов

В. С. ВОЙТИНСКИЙ

Памяти друга

Одиннадцатого июня этого года, после шестимесячной болезни скончался Владимир Савельевич Войтинский. Его смерть — тяжелая потеря для экономической науки и для американской общественности, а для его друзей — утрата незаменимая.

Все, кто жил в России в начале этого века и кто пережил войну и революцию, прожил, в сущности, не одну, а несколько жизней, каждую из которых надо было начинать сначала. Но, все же, мало кто пережил столько жизней, сколько довелось пережить В. С. Войтинскому.

В. С. родился в 1885 году в Петербурге в семье профессора математики, преподававшего в Институте Путей Сообщения, который, выйдя в отставку, основал свою частную школу подготовки к поступлению в высшие технические учебные заведения. В. С., тоже способный математик, помогал отцу в его школе. Но математика была слишком оторвана от реальной жизни, чтобы целиком увлечь даровитого юношу, и он самостоятельно нашел путь к сочетанию теории и жизни: в науке экономики. Он перечел всё наиболее значительное по экономике, что мог найти, и еще будучи гимназистом написал оригинальную научную работу: «Рынок и цены; теория потребления и рыночных цен». Эту работу он послал для отзыва наиболее тогда известному русскому экономисту, проф. Туган-Барановскому. Познакомившись с трудом, профессор был убежден, что это труд неизвестного ему доцента, и посоветовал его издать. Узнав, что автор — гимназист, Туган-Барановский дал письмо к издателю и написал предисловие, с которым книга и вышла в свет в 1906 г. По строгой оценке самого В. С., труд этот был незрелый, но в нем были мысли и утверждения, на 25 лет опережающие тогдашнее состояние экономической науки.

В то время в университетах не было экономических факультетов, а политическая экономия и статистика преподавались вместе с правом. Поэтому В. С. поступил на юридический факультет Петербургского университета. Но то, что универ-

ситет мог дать, было слишком мало для юноши, написавшего уже научный труд по одному из сложнейших вопросов экономической науки. К тому же, студентам того времени было вообще не до науки. В то время, в связи с неудачной войной с Японией и народными волнениями, в России всё было в брожении. Войтинский не мог в такое время оставаться кабинетным ученым, и стал принимать живое участие в общественной жизни. Примкнув к социал-демократам, он выступал в партийных кружках и на митингах. Он часто председательствовал и выступал на студенческих сходках, отличаясь звонкостью голоса и содержательностью своих речей. Таким я, студент того же факультета, увидел его впервые. Ближе мы с ним познакомились, когда оба были выбраны в студенческий совет старост и работали в научном кружке проф. Петражицкого. Потом Войтинский как-то исчез с горизонта университетской жизни, и, помню, я был удивлен, когда, присутствуя в качестве сотрудника газеты на заседании Городской Думы, я увидел его среди делегации совета безработных, одетого в рабочий костюм, в высоких сапогах, с картузом в руках. Впрочем, тогда имя его было не Войтинский, а «Сергей Петров». Впоследствии я узнал, что этот Сергей Петров был инициатором, организатором и председателем совета безработных.

Зоркий глаз Ленина скоро заметил молодого, даровитого организатора рабочего движения. Ленин стал приглашать Войтинского к себе на дачу в Куокала, в Финляндии, где он жил. Но все же он не имел к нему никогда полного доверия, и, когда при выборе делегатов на съезд партии Войтинский получил самое большое количество рабочих голосов, Ленин все же не пропустил его, мотивируя слишком большой его независимостью.

Тем временем события развивались грозно. Первая Дума и ее разгон... Вторая Дума и нарастание конфликта с правительством... Было ясно, что дело идет к развязке и открытой борьбе. В этой борьбе мог победить только тот, на чьей стороне будет вооруженная сила, войска. И Войтинский оказался в центре событий: у него как-то установилась связь с революционной организацией петербургского гарнизона. Эта организация составила «Наказ» членам Гос. Думы. Об этом узнала полиция, был сделан обыск в помещении фракции. Наказ был найден и послужил предлогом для роспуска Думы и изменения избирательного закона. Наказ этот был написан «со слов солдат» Войтинским, и найденный экземпляр его был переписан рукой сестры Войтинского. Полиция подозревала его

участие и арестовала его, но прямых доказательств не было, и он был освобожден.

Но реакция сгущалась, и, после нескольких кратковременных арестов, стало ясно, что Войтинский, раньше или позже, надолго попадет в тюрьму. Ленин советовал ему уехать заграницу и издавать партийный журнал. Но Войтинский не хотел оставлять России и предпочел уехать в Екатеринослав для работы в местной партийной организации. Очень скоро он был там арестован, и начался третий период его жизни, тюремный, продолжавшийся с 1908 по 1912 год. Екатеринославская каторжная тюрьма славилась суровостью режима. Войтинскому пришлось пережить всю тяжесть режима: грязь, лишения, болезни, избиение до потери сознания. Он видел товарищей, приговоренных к смертной казни, и переживал с ними всю агонию ожидания неизбежной смерти. Потом суд, приговор, сравнительно «мягкий», на четыре года каторги, кандалы, многонедельное путешествие в Сибирь, при чем последний этап, от железнодорожной станции до Александровской центральной каторжной тюрьмы около Иркутска, пришлось идти пешком в кандалах. Но Войтинский не испугался тюрьмы, не смирился, не склонился. Даже будучи в тюрьме, он сумел вести борьбу. Он стал писать статьи, освещая события в тюрьме, и ухитрился пересылать эти статьи на волю. Статьи эти печатались в «Русском Богатстве»и других журналах и даже проникли заграницу, находя широкий отзвук у читателей. Они были изданы отдельным сборником «Вне жизни», вышедшем в 1914 году, который является одним из самых поучительных документов, рисующих состояние тюрем в России в начале нашего века.

Но вот, в декабре 1912 года, ворота Александровской тюрьмы отворились, и Войтинский вышел из нее. Еще не на свободу, а как ссыльный, с тяжкими ограничениями в праве выбора местожительства и передвижения. Но все же это не тюрьма. Вышел он не сломленный, но и не ожесточенный, а смягченный и примиренный. Это новое чувство ярко изображено самим Войтинским в статье «Призраки», напечатанной в июле 1913 года в «Русском Богатстве»:

«Остались позади угрюмые стены, решетки, терзавшие душу бряцанье цепей и грубые окрики стражи. Остались позади скорбь и мука тюрьмы. Я на воле. Вокруг меня вольные люди. Я дышу свободным воздухом. Свободное небо сводом раскинулось над моей головой. И куда я ни взгляну, всё напоминает о свободе и воле.

Неудержимо катятся перед моим окном воды могучей сибирской реки. И я ясно чувствую, как свободны эти прозрачные, буйные струи, как свободны несущиеся на них белые льдины.

Далеко позади осталась неволя. Но там, в этом царстве скорби и муки, остались мои братья по духу. И невольно моя мысль возвращается туда, в эти угрюмые стены. И опять обступают меня знакомые, скорбные призраки, тени прожитых лет.

Я не гоню от себя эти тени. Нет. Пусть навсегда остаются они со мною... Я храню эту память. Во имя ее, я без ропота и сожаления снова вернусь за высокие стены, за железные решетки.

Но почему мысль о пережитом не омрачает для меня сияния нынешнего дня? Почему я не вынес из неволи ни отчаяния, ни разочарования, ни презрения к людям? Вынес лишь бодрость и радость, которых не знал до тюрьмы.

Я вошел в тюрьму усталый и хмурый, с суровыми требованиями к людям, но без теплого чувства к ним, без веры в людей, без веры в жизнь. И пролетели годы неволи. Кругом гибли люди. Мимо меня проводили на казнь приговоренных к смерти товарищей. Мимо меня проносили и волокли трупы.

Почему же, после всей этой муки, я вынес из тюрьмы лишь теплое чувство участия к людям, бодрую радость жизни и горячую веру — в себя, в свои силы, в жизнь, в любовь, в красоту...»

Статья кончается словами: «И, как никогда, хочется жить. Как никогда, полна душа верою в счастье».

Годы ссылки бежали быстро. Каждый день был заполнен. Сперва прогулки по лесу, над берегом реки. Потом прогулки сменились далекими путешествиями по рекам, через тайгу. Потом самое яркое событие: встреча с девушкой, которой было суждено стать его женой, спутником в странствованиях по свету и сотрудником в работе, с Эммой Савельевной Шадхан. Женитьба, свадебное путешествие вдвоем в рыбачьей лодке вниз по Ангаре до Братского Падуна. Но общественная работа не была забыта. Все время от самого выхода из тюрьмы, непрерывно идут из Сибири пакеты с его статьями и политическими письмами. В этот период В. С. написал обстоятельную книгу «Евреи в Иркутске», и обширное исследование «Заработная плата во время войны». И, конечно, он участвовал в партийной организации. Но в ней он, в соответствии с общим духовным перерождением, примкнул уже не к непримиримому левому, большевистскому крылу, а вместе с Церетели представлял ее меньшевистское крыло, работая в тесном содружестве с народниками, социалистами-революционерами, А. Гоцом и другими.

Годы ссылки не были изжиты: они были прерваны февральским переворотом. 2-го апреля Войтинский был уже в Петрограде. Он тотчас вошел в состав Совета Рабочих и Солдатских Депутатов, в его Исполнительный Комитет, в Бюро Комитета и, наконец, в так называемую «Звездную Палату» лидеров меньшевиков и социалистов-революционеров, фактически руководившую Исполнительным Комитетом и Советом. Совершенно новая обстановка, новые условия нового периода жизни.

В то время я тоже входил в состав всех этих организаций, за исключением только «Звездной Палаты», и мы часто встречались с Войтинским. Он всегда поражал меня своим спокойствием, деловитостью, целеустремленностью всего, что он говорил и писал, а более всего неистощимым юмором и остроумием, которыми сверкали все его речи и всякое замечание. Кроме того, меня поразила его внутренняя перемена: «Сергея Петрова» не было и в помине, а был общественный деятель, широко воспринимавший весь мир Божий, со всеми его событиями. В этот период мне довелось встречать и иметь дело с целой плеядой выдающихся людей. В. С. не терялся среди них. Наоборот, он чем-то выделялся. Думая теперь об этом «нечто», мне кажется, что это была уверенность и спокойствие. Надо сказать, что в первый период революции большинство, среди них даже самые мужественные, были по существу запуганы народной стихией, вышедшей без зова на улицу. В Войтинском этого испуга не было и следа. Он был спокоен и уверен. О том, как это действовало на других, может свидетельствовать следующий случай. В Петербурге, кажется в апреле, собрался казачий съезд. Я не помню, кто были его устроители и вдохновители, и с какими целями они его созвали. Во всяком случае, поддержка Совета Рабочих и Солдатских Депутатов в его задачи не входила, — скорее наоборот. Но Комитет Совета все же решил послать своих представителей с приветствиями. Выбрали меня и Войтинского. При нашем появлении нас встретили жидкими хлопками, без всякого энтузиазма. Но вот заговорил Войтинский. Его речь, мужественная, спокойная, умная, толковая, без преувеличенных надежд и восторгов, с полным сознанием стоящих перед страной трудностей и опасностей и с решимостью их преодолеть для блага страны и всех граждан, — понемногу захватила всех, и, когда он кончил, его провожали бурными, оглушительными и продолжительными аплодисментами, переходящими в овацию. А в речи не было ни единого слова подделки под слуша-

теля, и она могла бы быть произнесена на собрании наиболее лево настроенных рабочих.

Хотя Войтинский примкнул открыто к оборонческому крылу левой демократии, есть основания думать, что Ленин рассчитывал перетянуть его на свою сторону. В день приезда в Петроград, 15-го апреля, на вокзале, Ленин демонстративно игнорировал пришедших приветствовать его Чхеидзе и других вождей меньшевиков. Но, увидев Войтинского, он пригласил его в свой автомобиль и повез его во дворец Кшесинской, где Ленину был приготовлен прием. Но в тот же день произошел открытый разрыв. После знаменитой первой речи Ленина, которую с таким пафосом описал Суханов, Войтинский встал и произнес краткую речь, решительно отмежевываясь от Ленина и резко критикуя безответственность его программы действия.

Несмотря на всю ответственность работы в Петрограде, в политическом центре страны, действенная натура Войтинского тосковала среди вороха бумаг, резолюций, статей, приветствий, деклараций. Словесное творчество и борьба его не удовлетворяли.

В таком настроении я встретил его как-то в Таврическом Дворце, куда зашел, будучи уже Комиссаром Северного Фронта. Войтинский стал жаловаться на бесполезность работы в Петрограде. «Вот бы поехать на фронт, там настоящая работа». Я тут же, скорее в шутку, чем серьезно, предложил ему поехать со мной в качестве помощника комиссара.

— А почему бы нет, если только возьмете.

Я, конечно, заверил его, что если он только захочет, то Керенский будет только рад иметь его на фронте. Дело было улажено в несколько часов. Мы отправились с ним на фронт. Он стал «править» в Риге, при двенадцатой армии, входящей в состав Северного Фронта, я же, изредка наезжая в Ригу, работал главным образом при ставке Фронта в Пскове и в пятой армии в Двинске. За все время сотрудничества на фронте у нас не было ни одного, самого мельчайшего недоразумения. И я мог только удивляться способности Войтинского работать в чрезвычайно сложных психологических условиях армии того времени. Его равно любили и уважали и солдаты, и «комитетчики», и генералы, вплоть до командующего армией ген. Парского, с которым у Войтинского установились дружественные отношения.

Но вот Рига пала. Пала, как не раз падали города и крепости. Но в Ставке было решено использовать падение Риги

как повод для устрашения и отрезвления от революционного угара, рисуя картины полного развала революционной армии. Войтинский, который все время был на передовых позициях и видел своими глазами, как и что происходит, которому пришлось, по просьбе ген. Парского, устанавливать прерванную связь штаба армии с корпусами, и который, после неудачных попыток ликвидировать прорыв, совместно с ген. Парским решил, что Ригу надо эвакуировать, — стал посылать свои бюллетени, резко расходившиеся с оценкой Ставки. Это вызвало негодование Корнилова, и одним из пунктов требований Корнилова перед разрывом с правительством было предание Войтинского суду. Свои впечатления на фронте Войтинский описал в брошюре «Падение Риги», изданной уже после Корниловского переворота. На 23 страничках в ней сжато, но точно и ясно описаны все условия, приведшие к падению Риги. Вывод брошюры: «ни позора, ни измены», и в ней неопровержимо доказывается, что причиной падения Риги не была ни измена генералов, как это пытались утверждать большевики, ни развал армии или трусость солдат, как это утверждала ставка, а просто превосходство немецкой военной техники и организации. Для меня нет никакого сомнения, что под этим выводом подписались бы и председатель армейского комитета Кучин, и командующий армией ген. Парский и даже главнокомандующий фронтом ген. Клембовский.

Скоро наши пути с Войтинским разошлись: я был назначен комиссаром при Ставке в Могилеве, а Войтинский занял мое место в Пскове. Встретились мы опять в Гатчинском дворце во время попытки Краснова с его казаками прорваться на Петроград. Обреченность нависла над всеми. Первый период революции пришел к концу.

После октябрьского переворота Войтинский был арестован и несколько месяцев просидел в Петропавловской крепости вместе с членами Временного Правительства. По выходе на свободу ему, в начале 1918 года, при помощи Церетели, удалось пробраться в Грузию, которая в то время управлялась фактически как свободная и независимая страна. В этот новый краткий период своей жизни, Войтинский оставил заметный след своей деятельности. В первое время он редактировал правительственный орган Грузии, газету «Борьба». Потом он в составе грузинской миссии был послан представлять Грузию на Версальской Конференции Мира. Но Войтинским удалось достичь лишь Константинополя; из-за отказа во французской визе, они не попали в Париж. В 1920 году Войтинский

был включен в состав грузинского посольства в Италии и переехал в Рим. За этот кратковременный период он составил книгу «Документы и материалы по внешней политике Закавказья и Грузии» и монографию «Грузинская демократия», которая на французском языке была издана с предисловием Вандервельде в Париже в 1921 году и была переведена на итальянский язык.

Но в 1921 году правительство свободной Грузии пало, и Войтинские очутились в изгнании. В 1922 году они переехали в Берлин. Все, что у В. С. было — это несколько литературных планов. Из них ему самому более всего по-сердцу был план обширного, многотомного статистического сборника, под названием «Мир в цифрах», освещающего все стороны мировой жизни. В это время я работал в Берлине в маленьком русском издательстве «Знание», финансируемом мировым издательством «Моссе». «Знание» было создано для издания научных книг с расчетом на сбыт их в России. По моему совету, В. С. предложил свой статистический план «Знанию». Запросили руководителей издательства «Моссе». Те переслали план на заключение выдающегося статистика, проф. Берлинского университета Борткевича. В ответ был прислан целый ряд критических замечаний. Но заключение гласило: «А почему только на русском языке? Немецкий читатель тоже нуждается в таком издании». И вот издательство «Моссе» одобрило сразу не только русское, но и немецкое издание, и В. С. стал сразу работать в той области, которая его интересовала, и над таким делом, которое он сам создал. Русское издание не имело успеха, и после двух томов оно было прекращено: большевики запретили ввоз книг из заграницы. Но немецкое издание под названием «Die Welt in Zahlen», выходило том за томом, и в 1925-28 гг. вышли в свет все семь томов. В 1929 г., как дополнение, вышел том, посвященный всецело Германии: «Десять лет новой Германии». Все эти восемь томов, от первой страницы до последней, написаны были В. С. Таким образом приходилось подготовлять к печати по два тома в год. Сборник, построенный по широкой программе, давал сводку всех новейших материалов и цифры, характеризующие историческое развитие. Издание стало необходимой книгой во всех более или менее значительных библиотеках Германии и во всех крупнейших библиотеках мира. Вместе с тем, оно сразу выдвинуло Войтинского в первые ряды экономистов западного мира.

Работа над «Мир в цифрах» была огромная, но она не

поглотила В. С. всецело. В это же самое время он издал два тома своих воспоминаний о первой революции 1905 года под заглавием «Годы побед и поражений» и подготовил их немецкое издание. Увлекшись идеей Пан-Европы, он написал две книги на немецком языке: «Соединенные Штаты Европы» (1926) и «Факты и цифры о Европе» (1930). Кроме того, он подготовил книгу «Силы современного социализма», вышедшую на русском языке в Париже в 1929 году, и в те же годы напечатал многочисленные статьи в журналах и газетах Германии, Франции, Италии и других стран и в изданиях Лиги Наций. В это же время Войтинский завязал связи с германской социал-демократией, а с 1929 года стал директором статистического отделения центральной организации германских профессиональных союзов.

В начале тридцатых годов тучи начали сгущаться на горизонте. В связи с экономическим кризисом, начавшимся в Америке в конце 1929 года, в странах Европы, главным образом в Германии стала расти безработица, достигшая катастрофических размеров, грозя расшатать все устои общественной жизни. В это время Войтинский выработал проект широко поставленных общественных работ, стоимость которых на первых порах была исчислена в пять миллиардов марок. К проекту присоединили свои имена председатель союза деревообделочной промышленности Тарнов и член Рейхстага Бааде, и он в сокращении стал называться проект ВТБ. Проект с энтузиазмом был поддержан центральным профессиональным союзом и вызвал целую литературу в газетах и журналах. Но тогдашнее правительство и правящие круги социал-демократов не поддержали его по валютным соображениям, опасаясь, что ассигновка государственных средств в таком масштабе может привести к инфляции: «Пять миллиардов! Откуда взять такие деньги?» Проект был отклонен. Безработица продолжала расти. На фоне всеобщего недовольства росло движение Гитлера, и в начале 1933 года Гитлер пришел к власти. Получив власть, он не побоялся тратить не по пять, а по двадцать пять миллиардов в год. На вооружение. Безработица исчезла. Но вместе с ней исчезло многое другое.

Память об этом предложении Войтинского жива до сих пор в Германии. Помню, во время моего пребывания в Гамбурге после войны, разговаривая с профессором Гамбургского университета, я как-то упомянул имя Войтинского. Профессор тотчас насторожился:

— Вы знаете Войтинского? Автора «Мир в цифрах» и

проекта борьбы с безработицей? Если бы тогда его послушали, у нас не было бы ни Гитлера, ни всех последствий гитлеризма.

Но Гитлер пришел, и Войтинский, как не-ариец, как бывший русский революционер и видный представитель немецкого рабочего движения, не мог оставаться в Германии. Ему не без труда удалось перебраться в Швейцарию, а оттуда во Францию, наконец, в октябре 1935 года он с женой попал в Америку. Конечно, и тут все пришлось начинать сначала: новая страна, новая обстановка, новые проблемы, новый язык. Но на этот раз переход не был труден. Репутация серьезного экономиста, специалиста по статистике и по вопросам труда, с широким политическим кругозором, — все это было как раз то, в чем тогда нуждалась администрация Рузвельта. Через несколько дней после приезда в Вашингтон, Войтинский был приглашен стать сотрудником в Центральном Статистическом Управлении. Через несколько месяцев он перешел, с двойным окладом, в Совет социального научного исследования, а в конце концов получил ответственный пост в Управлении социального обеспечения. После окончания войны, с 1947 года он стал работать над своим собственным проектом, финансируемым фондом Рокфеллера. Он быстро вошел в американскую жизнь и стал специалистом по вопросам американской экономики. Об этом свидетельствует целый ряд работ по вопросам труда, заработной платы, социального обеспечения и, наконец, главный капитальный труд в двух томах, который он написал вместе со своей женой, «Население и производство мира» (1953) и «Торговля и государственная организация мира» (1955). Первый том уже выдержал два издания и был переведен на японский язык. Этот труд является до некоторой степени английским вариантом того, что на немецком языке называлось «Мир в цифрах», с тем отличием, что, наряду с обилием статистических данных, значительное внимание было уделено их оценке и освещению.

По своему образу мышления и восприятию мира Войтинский был «универсалист» в лучшем смысле этого слова, и он был дома, «у себя» всюду, куда бы его ни забросила судьба. Поэтому ему было легко, не порывая связи и не отрекаясь от русской культуры, с которой он был неразрывно связан, чувствовать себя гражданином Америки и американским экономистом. Он любил Америку и верил в нее. В этом не было ни тени натяжки или искусственности. Для его характера и строя мыслей и чувств, размах американской жизни и динамика

ее развития, связанные с политической свободой и равенством, были органически созвучны. Замечая недостатки и несовершенства Америки, он понимал и знал по собственному опыту, что в других странах этих недостатков значительно больше. Это духовное слияние со страной, которая стала его второй родиной, было, вероятно, неожиданным для самого Войтинского. В его воспоминаниях, охватывающих всю его жизнь, подготовленных к печати на английском языке, он американский период своей жизни озаглавил: «Мы открываем Америку»: этим заглавием подчеркивается, что Америка, которую он, конечно, прекрасно знал по описаниям, при личном знакомстве раскрыла такие черты, которых он раньше не мог подозревать.

Но это заглавие имеет и другой, более глубокий, смысл, которого В. С., вероятно, в него не вкладывал. Как это ни звучит парадоксально, Войтинский в известном смысле, действительно, «открыл» Америку, нашел и увидел то, чего до него другие в ней и не подозревали, открывая Америку для самих американцев. Открытие это было сделано еще во время войны, когда правительственные организации начали изучать вопрос о том, что будет после войны, когда 15 миллионов мобилизованных освободятся и появятся на рынке труда. Найдут ли они работу? Ведь накануне войны, несмотря на все усилия Рузвельта преодолеть безработицу, в Соединенных Штатах было около десяти миллионов безработных. Громадное большинство экономистов приходило к выводу, что конец войны, даже увенчанный полной победой, грозит великими трудностями и экономической депрессией, по своему размаху приближающейся к экономическому кризису 1929 года. И вот в это время Войтинский, идя вразрез со взглядами большинства американских экономистов, утверждал, что с окончанием войны страну ожидает не экономический кризис, а экономический расцвет. Эту точку зрения, подробно доказывая ее, он развивал в своих ежегодних докладах, делая прогноз на пять лет вперед. Большинство читателей этих докладов скептически кивали головами. Некоторые прямо-таки отказывались их читать, и в одном ведомстве на обложке доклада прикрепили надпись: «Вещь настолько абсурдная, что ее не стоит читать». Но эту «абсурдность» вспомнили, когда война кончилась и когда, к великому удивлению самих американцев, развитие экономики в Соединенных Штатах, несмотря на некоторые перебои, в общем пошло так, как предсказывал Войтинский. Он верил в Америку, чувствовал ее динамизм и

поразительную гибкость и приспособляемость экономической структуры. Его вера вполне оправдалась. Кривая развития хозяйственной жизни Соединенных Штатов поднимается круче, чем он думал, но в общем она следует его прогнозу и может быть с полным правом названа «кривой Войтинского».

За Войтинским было признано своеобразное и почетное место в экономической науке Америки. Наиболее ярко это сказалось в следующем характерном эпизоде. В 1953 году, в связи с некоторыми колебаниями в развитии американской экономики, стали опять поговаривать о возможности нового серьезного экономического кризиса. В Англии известный экономист Колин Кларк опубликовал в «Манчестер Гардиан» две статьи, доказывая, что, по всем признакам, Америка входит в полосу новой экономической депрессии, и что новое экономическое потрясение неизбежно, если только не будут приняты героические меры вроде понижения налогов на 20 миллиардов или же увеличения помощи загранице на ту же сумму, чтобы вызвать увеличение спроса на товары. Вопрос был кардинальной важности. В советской литературе все время повторялось, что капиталистические страны не могут преодолеть экономических кризисов, неизбежность которых вытекает из существа их хозяйственной структуры, и эти кризисы в конце концов разрушат капиталистический строй. Когда видный советский экономист, Варга, осмелился высказать мысль, что капиталистический строй при известных условиях может избежать кризисов, он был подвергнут беспощадной критике, смещен со всех постов, которые он занимал, и остался жив только потому, что поспешил публично покаяться. Можно себе представить, как экономисты всего мира насторожились, когда о неизбежности экономического кризиса в Америке заговорили в Англии. В ответственных кругах Америки забеспокоились. Но вопрос был решен чисто по-американски: решили устроить публичный диспут на эту тему. Конечно, первым докладчиком пригласили самого Кларка. Но кто выступит против него? Кто будет представителем Америки, защищающим устойчивость ее экономической системы? В комитете по устройству диспута, который устраивался Национальным Советом, объединяющим все отрасли промышленности, не было сомнений: единогласно было решено просить Войтинского представлять Америку. Диспут состоялся 21 января 1954 года в Нью Иорке, при необычном стечении представителей всех отраслей промышленности, профессоров, экономистов, представителей печати. Зал не вместил всех слушателей,

и пришлось открыть соседний зал. Кларк несколько смягчил свои позиции. Но и эти позиции Войтинский разбил целым арсеналом тщательно подобранных научных и фактических аргументов. В этом смысле его речь заключала в себе основы того, что можно назвать учением об устойчивости экономического развития Соединенных Штатов. Не отрицая того, что экономическое развитие Америки, как и всякой другой страны, может испытывать некоторые временные перебои, эти перебои не могут быть названы экономическими кризисами или депрессиями. Это только рецессии, и при том не простые рецессии, а смягченные. Конечно, они связаны с некоторыми лишениями и ограничениями, но эти ограничения напоминают ограничения военного времени, когда в магазинах можно было видеть надписи, что магазин не имеет возможности отпускать на человека более двух ананасов. Такие рецессии могут быть по праву названы «рецессии де люкс».

Крылатое слово облетело тогда всю прессу Америки и Англии. И, что самое главное, прогноз Кларка позорно провалился, в то время как прогноз Войтинского блестяще оправдался всем дальнейшим небывалым развитием американской экономики. Америка, открытая Войтинским, оказалась такой, какой он ее первый увидел.

Конечно, нет никакой возможности передать вкратце хотя бы главнейшее содержание печатных трудов Войтинского. Библиография его произведений заключает в себе свыше 400 названий книг и статей, не считая переводов на 16 языков. Для оценки этого вклада в науку нужна монография, написанная специалистами. Но не надо думать, что, попав за-границу и выйдя на путь научной работы сперва в Германии, а потом в Америке, В. С. превратился в «гелертера», кабинетного ученого, корпящего над фолиантами и рукописями. В. С. работал очень много и очень упорно, но его работа была не напоказ. Когда бы вы ни зашли к нему, он всегда был свободен для беседы, для прогулки, всегда был оживлен, свеж, остроумен, приветлив, умея одинаково хорошо рассказывать и слушать. А кроме того, они оба с женой были страстными путешественниками. В Германии, как бы ни была спешна работа, они каждый год два месяца совершали прогулки и экскурсии по достопримечательным местам старушки Европы, и изъездили и главным образом исходили вдоль и поперек красивые места Германии, Швейцарии, Франции, Норвегии и других стран, отдавая предпочтение горным областям и сообщая о событиях в дороге письмами друзьям, часто в стихотвор-

ной форме. Его друзьям памятна его поэма в пяти «песнях», которую он по частям посылал в Берлин во время пешей прогулки по Баварским Альпам в 1923 году.

Работая в Америке, Войтинские изъездили ее на автомобиле, и пересекли ее 12 раз поперек и много раз вдоль. Работая над своим главным трудом, они в 1950 году совершили четырехмесячную поездку по главным странам Европы, собирая и проверяя материал для своей книги.

Окончив этот труд, Войтинский получил приглашение посетить Японию и прочесть там лекции. Обдумывая план путешествия, Войтинские, отчасти по просьбе Государственного Департамента, решили его значительно расширить и кроме Японии посетили еще Гон-Конг, Бурму, Сиам, Индию, Цейлон и Пакистан, всюду читая лекции. Всего за девять месяцев было сделано свыше ста докладов. Вернувшись из поездки, В. С. опубликовал книгу об экономическом положении Индии, развивая точку зрения, что первой задачей Индии должно быть не развитие тяжелой промышленности, а поднятие уровня сельского хозяйства и обеспечение страны съестными припасами наряду с заботами об образовании.

За Дальневосточной поездкой последовала поездка по Латинской Америке. Для этой цели Э. С. в поразительно краткий срок изучила испанский язык настолько, что могла делать на нем доклады и переводить не только лекции В. С., но и быть переводчицей во время диспутов и собеседований с представителями печати. Поездка, на этот раз целиком организованная Государственным Департаментом, охватила 15 стран Южной и Средней Америки. Было сделано 170 докладов, собеседований и диспутов, главным образом на тему об американской экономике и о путях развития хозяйства каждой из стран, которую пришлось посетить. Доклады проходили с неизменным успехом, не вызвали ни единого инцидента, несмотря на то, что аудитория не всегда была настроена дружелюбно: напомним, что поездка Войтинских была совершена накануне памятной поездки Никсона со всеми ее печальными осложнениями.

После поездки по Латинской Америке, В. С. вернулся усталым. Ему пришлось сделать операцию глаза. Но он не оставлял работы, и, кроме ряда злободневных статей и докладов, он написал книжку об экономических рецессиях в Америке и о средствах их предупреждения. Книжка разошлась многодесятитысячным тиражем.

Последняя поездка была совершена в прошлом году: Франция, Испания, Италия и, главная цель, Израиль. В день возвращения в ноябре я видел В. С. Он был оживлен и с энтузиазмом говорил о своеобразном и замечательном развитии этой молодой, героической страны и о своих планах написать на эту тему книжку. Но организм не выдержал напряжения: через день с ним случился серьезный сердечный припадок. В. С. слег надолго. Но он и в постели не оставлял работы, и если подсчитать все, что он сделал за время болезни, включая новую редакцию воспоминаний на английском языке и брошюру по злободневным экономическим вопросам, как они предстанут перед избирателями в 1960 году (брошюра, которой В. С. уже не увидел в напечатанном виде, разошлась более чем в ста тысячах экземпляров) — эта работа превышает все, что можно ожидать от самого здорового человека.

Этой весной, во время цветенья вишен в Вашингтоне, мы с ним совершили автомобильную прогулку по городу и окрестностям. Он как всегда поразительно чутко и остро реагировал на все красивое, что попадалось по пути: облака, блеск воды, деревья, цветы. Но эта поездка оказалась последней. Сочетание нескольких, в отдельности не опасных, недугов, подтачивало его. Силы падали. И он скончался на руках своей жены.

Владас Станка

К ДИАГНОЗУ СОВРЕМЕННОГО КРИЗИСА

Лев Толстой сказал о Леониде Андрееве: он пугает, а мне не страшно. Эти слова можно отнести не только к Андрееву, а ко многим авторам, ко всякой «пугающей» литературе. Я не хочу этим сказать, что страшной литературы вообще нет — ее наоборот очень много, но хочу провести различие между литературой пугающей и подлинно страшной. Самыми страшными могут даже быть литературные произведения, авторы которых не только не хотят никого пугать, но сами не ощущают как страшно то, что они изображают. Или идя еще дальше: литературное произведение, как и вообще всякое произведение искусства, может быть страшным не столько тем, что оно изображает, сколько тем, что оно отражает. Многие произведения современной западной литературы, с которыми я имел возможность ознакомиться, являются для меня страшной литературой потому, что они отражают полную внутреннюю опустошенность человека, отсутствие ощущения какого-либо смысла жизни, бегство от действительности в искусственно создаваемый мир, воображаемый или осуществляемый. В последнем случае автор не только не хочет никого пугать, но, может быть, даже хочет пленить изображением этого искусственного мира. Мне же становится страшно потому, что в развернутой им картине я вижу отражение тревожащих меня сторон современной жизни.

Образцом пугающей, но не страшной литературы можно считать, например, недавно вышедший политический роман американского писателя Фицгиббона «Когда надо перестать целоваться»[1]. Художественными достоинствами этот роман не отличается. Это в сущности облеченный в форму романа политический памфлет, направленный против англичан — сторонников атомного разоружения во что бы то ни стало. Автор прожил в Англии последние двадцать лет и хорошо знаком с английской политической жизнью. Все его симпатии явно на

---

[1] Constantine Fitz Gibbon, When the Kissing Had to Stop. New York. 1960.

стороне консерваторов, а антипатии направлены против рабочей партии и либеральных пацифистов. Такая партийность сама по себе может не быть препятствием для написания убедительного или по крайней мере заставляющего задуматься романа. Но автор не достаточно серьезен и трактует свою тему приемами поверхностного, почти бульварного журнализма. Деятелей того лагеря, к которому он относится отрицательно, он изображает грубо и злобно каррикатурно. Отрицательные явления английско-лондонской жизни, раздуваются чтобы изобразить Англию созревающей для гибели, виновниками которой явятся с одной стороны английские пацифисты и политические оппортунисты, а с другой подчиняющие их себе дьявольски хитроумные советские коммунисты во главе с преемником уже умершего Хрущева — стопроцентным сталинистом Корноловым. В этом фантастическом романе дело кончается тем, что Советы с помощью английских предателей завоевывают Англию без войны, вводят террор сталинского образца, высылают множество англичан в советские северные лагеря и так далее. Словом, ничего страшнее как будто нельзя и придумать. Но вряд ли кому из читателей станет страшно и это не только из-за недостаточной даровитости автора, но из-за его назойливого старания испугать. Читая этот роман, я и вспомнил слова Толстого об Андрееве.

По всей видимости, Фицгиббон хотел итти по стопам Орвелла и написать своего рода новый, более приспособленный к злобе наших дней «1984 год». Но ему бесконечно далеко до того, что сделал Орвелл, написавший действительно страшную книгу. И дело не только в различии дарований, хотя несомненно, что в этом отношении Фицгиббона отделяет от Орвелла «дистанция огромного размера». Самое существенное различие все-таки в том, что Орвелл не хотел написать сенсационную «пугающую» книгу, а хотел выразить глубоко им продуманную и прочувствованную правду и написал фантастический роман. У него есть преувеличения и элементы каррикатуры, есть доведение схваченных им черт до крайности. Но все это не вульгарный журнализм, а метод выявления в максимально выразительной форме логики тоталитаризма, приводящей к глубочайшему унижению и искривлению личности его жертв. Поэтому «1984 год» гораздо больше чем сатира и уж, конечно, не памфлет. Когда его читаешь, действительно становится страшно за человека.

Почему же я заговорил о пугающей и о страшной лите-

ратуре? Роман Фицгиббона был только толчком, всколыхнувшим волновавшие меня мысли. Я бы мог «оттолкнуться» и от чего-либо другого, например, от некоторых особенностей американского журнализма, часто тоже «пугающего», или от литературы совсем другого рода, нисколько не политической и не «пугающей», но в своем роде страшной, о чем я уже сказал несколько слов в начале статьи. Пугающую литературу я затронул в сущности только для того, чтобы ее отстранить, потому, что не в ней надо искать то, что действительно страшно в современной действительности.

Выходит, что я занимаюсь поисками страшного? Я не буду этого отрицать. Но занимаюсь такими поисками я не для того, чтобы пугать читателей и самого себя, а для того, чтобы постараться установить правильный диагноз того, что я условно назову «кризисом нашего времени» для той части человечества, к которой мы принадлежим — для Запада и его цивилизации. Все эти выражения «кризис», «Запад», которыми приходится пользоваться, страдают неточностью, и против пользования ими имеются веские возражения. Тем не менее без них обойтись нельзя и ими не опасно пользоваться, если условиться о том, какой смысл им придается в каждом случае. А так же и о том, какой смысл им не придается. Здесь я имею в виду не противопоставление «Запада» и «Востока» (очень неясное в его общей форме), а обозначаю, как «Запад» вполне определенную группу, включающую в себя большинство западноевропейских стран и в Америке — США и Канаду. Этот «Запад» борется, если не за свое физическое существование, то за сохранение своего преобладающего положения в мире и за предотвращение глубокого упадка, которым грозит преобладание противостоящего ему коммунистического мира.

Но это еще не тот диагноз, о котором я говорил. Та схема, которую я только что дал, была бы достаточной, если бы все сводилось к соотношению материальных сил, и разрешения кризиса следовало бы ждать в результате вооруженного столкновения «двух миров». Но тогда всякое обсуждение было бы совершенно бесплодным, потому что никто не может предугадать, что произойдет после того, как обе стороны обменяются тем или иным количеством водородных бомб, и что тогда останется от человечества. Торжеством западной цивилизации это будет лишь в том смысле, что на обеих сторонах орудия борьбы являются ее продуктом, до-

стижением ее науки и техники. О степени военного могущества Советского Союза (вместе с его сателлитами) и о состоянии вооружений западных держав пусть рассуждают военные специалисты, которые, кстати сказать, никак не могут между собой сговориться. Мы должны ограничиться проблемой современного кризиса в его политическом и моральном аспекте. И эту проблему я определяю как проблему внутренней сопротивляемости Запада, считая к тому же, что это и есть самое главное.

Необходимо однако и дальнейшее самоограничение. Пытаться в одной статье трактовать такую проблему во всем ее объеме значило бы рисковать не сказать ничего. Я предпочитаю не рисковать и постараюсь сказать хотя бы кое-что, для чего должен еще раз обратиться к той западной литературе, которую я ощущаю как страшную. Всей современной западной литературы я, конечно, не знаю. Ведь это каждый год тысячи книг на десятке языков. Думаю, что даже специалист, ничем другим кроме художественной литературы не занимающийся, может следить только за литературой одной страны и лишь частично за литературой других стран. Я же могу посвящать ознакомлению с литературой, — скажу для большей ясности — беллетристикой, только весьма ограниченное время, свободное от других занятий. Кроме литературных произведений читаю критические отзывы, литературные обзоры — французские, американские, гораздо реже английские. Эта критическая литература, во-первых, помогает мне выбирать книги наиболее заслуживающие прочтения или просмотра, а, во-вторых, восполняет и обобщает мои впечатления. Разумеется, это очень далеко от знания литературы, но позволяет иметь представление о некоторых ее общих или преобладающих чертах. Некоторые из них совершенно бесспорны и притом именно те, которые особенно чужды русским читателям, воспитанным на совсем других литературных традициях. Многим русским читателям западной литературы, даже прожившим за рубежом уже десятки лет, эти черты представляются не только чуждыми, но и прямо-таки шокирующими.

Вряд ли нужно напоминать, каким строгим пуризмом отличалась наша классическая литература, как правило, либо обходившая чувственную сторону отношений между ее героями и героинями или только намекавшая на нее с чрезвычайной сдержанностью. С начала нынешнего столетия стали

намечаться перемены, но и они пошли не очень далеко. Многие из нас помнят, какой шум поднялся вокруг арцыбашевского «Санина», а ведь это была вещь совершенно невинная по сравнению едва ли не с любым современным французским или американским романом. Почти все, что я читал из современной иностранной литературы, рассматривалось бы у нас, а многими русскими читателями, наверное, рассматривается и сейчас, как самая циничная порнография. Физическая сторона сексуальных отношений изображается с полной обнаженностью, при чем авторы называют все вещи своими именами, широко пользуясь словами, которые по-английски в более сдержанном языке стыдливо называются «словами в четыре буквы» (у французов в этом отношении нет уже никаких стеснений).

Мне важно отметить эту черту. Хотя я не вижу в ней ничего страшного и не считаю ее заслуживающей морального осуждения, но в ряде случаев она заслуживает осуждения эстетического. Нет ничего предосудительного ни в том, чтобы откровенно говорить о том, что существует, играет в человеческой жизни большую роль и о чем все знают, ни в том, чтобы говорить об этом языком, обычным для изображаемой в данном произведении среды. Это может не мешать автору быть по существу моралистом. В романе «Закон» Роже Вайана есть страницы, которые пуристом будут восприняты как порнографические, а между тем этот роман — произведение не только высоко художественное, но и проникнутое глубокой гуманностью, а потому глубоко моральное. Глубоко человечным был и первый роман американского писателя, корифея «битников» Керуака, более поздние произведения которого я без малейшего колебания отношу к страшной литературе.

Я лично настолько «закален», что могу, хоть и с немалым усилием, выдержать даже романы Жана Женэ, по сравнению с которыми, как выразился один французский критик, представляются невинными даже писания маркиза де Сада, но который при всей чудовищности того, что он пишет, несомненно писатель большого таланта. Этот талант Женэ однако нисколько не примиряет меня с его вызывающими отвращение романами. Но Женэ, это крайний случай. Бывший уголовный преступник и доносчик, он поднялся в литературу с самого глубокого общественного дна. Тем более знаменательно и тревожно, что его влияние обнаруживается на ряде молодых американских писателей, у которых нет того вкуса,

которым, как правило, отличаются французские романисты. Надо сказать, никто не пишет романов так блестяще, как французы. Талант, ум, остроумие, мастерство композиции, богатство и гибкость языка у французских писателей часто прикрывают полную внутреннюю наготу произведений. Можно наслаждаться их литературными качествами, чувствуя, что говорят они прекрасно, но сказать им явно нечего; хотя они и талантливы и умны и наблюдательны.

Повторяю, сам по себе упор на «секс» не страшен. Смущает — обнаженность. Половые отношения отделяются от таких эмоций, как увлечение, любовь, страсть. Все сосредоточивается на физической стороне, физиология доминирует над психологией, которая часто только притягивается искусственно и обычно неубедительно, как небольшая дань, которую порок выплачивает добродетели. Страшен не «секс», страшно бегство в «секс» от собственной внутренней пустоты, от жизни лишенной смысла, и от смерти, которая после последней войны стала постоянным спутником и самих писателей и их героев. Произведенное войной опустошение состояло не только в физическом уничтожении человеческих жизней и разрушении зданий. То, что я называю «бегством в секс», характеризует, конечно, не всю литературу. Но мы находим это у многих. Но и там, где этого бегства нет, мы не находим жизнеутверждающей литературы, почти что не встречаем людей, которым есть чем и для чего жить. Насколько я могу судить, проповедь «ангажированной», то-есть служащей какому-то делу, литературы была предметом горячих споров, но большого успеха не имела и не оказала значительного влияния на характер французской литературы. Или бегство от безнадежности или нескрываемая безнадежность — это может быть, чрезмерное обобщение, но в нем есть значительная доля правды. Ведь даже в замечательном, совершенно первоклассном по своим художественным достоинствам историческом романе «Святая неделя» Луи Арагона, даже у этого писателя-коммуниста, который по обязанности должен быть жизнеутверждающим оптимистом, несколько раз прорываются буквально крики отчаяния. Но это — Европа, это — прежде всего Франция, пережившая войну на своей территории, поражение и оккупацию, исстрадавшаяся, униженная, потерявшая положение великой державы. После всего страшного, что было пережито, можно ли удивляться, что там есть и страшная литература? Но как объяснить наличность

упадочной и тем страшной литературы в Америке, в стране, не пережившей ничего подобного? Почему и здесь наблюдается бегство в секс и в гораздо более грубой форме (в известной мере под влиянием романов Жана Женэ)? Бегство в секс, в пьянство, в злоупотребление наркотиками. Я мог бы поставить еще ряд вопросов, но не хочу оказаться в положении того дурака, который, по словам Ленина, может поставить столько вопросов, что на них и пятьдесят умников не будут в состоянии ответить. Я не считаю свои вопросы неумными, но для умных ответов на многие из них нет солидных данных. Поэтому, лучше всего начать с вопроса: в какой мере американскую литературу можно считать правильным отражением американской действительности? Тут я должен оговориться, что имею в виду не всю массу литературных произведений, а ту литературу, которая заслуживает названия художественной и которую в целом можно считать честной и правдивой, то-есть, не искажающей действительности. Конечно, у писателей может быть тенденция сгущать краски или романтизировать изображаемую им жизнь. Писатель-художник может неправильно видеть, но, как правило, он пишет так, как видит. Иначе, конечно, обстоит дело с огромной массой писаний, расчитанных на наименее культурных читателей. Их авторы нисколько не заботятся о жизненной правде, а в угоду своим читателям нагромождают ужасы, пикантные эпизоды, выдумывают возбуждающие читателей трюки. Это — макулатура, в сущности находящаяся за пределами литературы. Если угодно, она тоже в известной мере отражает жизнь, но не тем, что в ней пишется, а степенью ее успеха и распространения. Мой же вопрос относится к тому, насколько правильно американская жизнь отражается в художественной литературе, насколько близка к действительности та картина американской жизни, которая создается при чтении этой литературы. Я все время пишу «насколько», «в какой мере», учитывая, что объективно вполне правильного отражения жизни нельзя ожидать и от субъективно самой правдивой литературы. Не только потому, что писатель может неправильно видеть жизнь. Он может очень правильно видеть, с большой зоркостью наблюдать ту сторону или тот сектор действительности, на которые он направил свое внимание. Ни от одного даже и самого гениального писателя нельзя ожидать, чтобы он охватил все стороны всей действительности. Это не удалось и Бальзаку, который хотел этого достичь в десятках томов своей «Человеческой комедии» (не говоря уже о том, что он не все видел

достаточно правильно и точно). И вот то, на что писатели направляют свое внимание, выбор тем уже может предопределять некоторое искажение действительности в том или ином направлении. Такое искажение опять-таки «в той или иной мере» — представляется мне неизбежным во всякой литературе. Вспомним то, что говорит Толстой в самом начале «Анны Карениной» о счастливых и несчастных семьях. Если счастливые семьи счастливы одинаково, а несчастные несчастны по-разному, то вполне естественно, что именно несчастные семьи привлекают к себе внимание писателя, являются для него более интересными, дают ему не однообразный, а многообразный материал. Мимо благополучия вообще легче пройти без внимания, чем мимо неблагополучия, которое заставляет заинтересоваться, что же случилось, как это произошло, в чем причина? Поэтому, если и в действительности много несчастных семей, то в литературе их относительно еще больше, если в жизни много несчастья, то в литературе его относительно еще больше.

Я, конечно, упрощаю, но думаю, что хоть и в упрощенном виде, но я правильно указал на существующую и имеющую большое значение тенденцию. Статистики, учитывающей число «битников», их процентную долю во всем населении США, нет и быть не может уже потому, что нет точного определения признаков, по которым можно было бы выделить «битников» из всей массы населения. Во всяком случае они составляют очень небольшое меньшинство (без сомнения, лишь какую-то долю одного процента), которое ни в какой мере не соответствует тому, в этом отношении очень преувеличенному, месту, которое они занимают в литературе и как писатели (Керуак, Норман Мейлер, Аллен Гинсберг и десятки других прозаиков и поэтов) и как герои литературных произведений. Необычность явления, разительность некоторых его черт (например, сознательное и упорное желание части «битников» жить в бедности) привлекает к ним больше внимания, чем к другим гораздо более значительным слоям общества. Большое, может быть, решающее значение имеет и тот факт, что и количественно удельный вес «битников» в литературной и артистической интеллигенции значительнее, чем в общей массе американского общества. Если с другой стороны почему-то (я не могу здесь войти в изыскания причин и корней) современная американская литература проявляет тяготение к обследованию и изображению физической стороны половых отно-

шений[2], то и это в значительной мере определяет выбор писателями изображаемой ими среды и персонажей их произведений. Поэтому может оказаться, что то, что представляется «бегством в секс» от отвергаемой действительности, в большей степени отражает указанную склонность писателей, чем реальное «бегство» от жизни.

Продолжая свои поиски, я обращаюсь к солидному научному (по крайней мере старающемуся быть научным) исследованию «психического здоровья» американцев[3]. Это отчет об обследовании, проведенном специализировавшейся на таких опросах научной организацией (University of Michigan's Survey Research Center). Правда, у меня всегда возникают сомнения, насколько можно полагаться на такие опросы, проводимые по выборочному методу. В данном случае было обстоятельно опрошено 2460 лиц обоего пола в возрасте 21 года и выше, принадлежащих к различным социальным группам по их доходам, степени образованности, их занятиям, семейному положению, местожительству (большие города, небольшие поселения). Это и много и мало. Много по объему затраченной работы: только опросы или, как они обычно называются, «интервью» заняли примерно пять тысяч часов, а сколько времени и труда было затрачено на подготовку и составление чрезвычайно тщательно разработанного вопросника, на выбор пунктов для обследования, а затем на разработку собранного материала. Но это мало для страны со 170 миллионами населения и с большим разнообразием жизненных условий. И меня не совсем успокаивают заверения, что обследование было проведено с чрезвычайной методологической точностью по научно-испытанной и оправдавшей себя технике. Все же, подчиняясь мнению специалистов, я принимаю, что картина психического или душевного здоровья, которую дает данное обследование в значительной, но точно неучитываемой, степени соответствует действительности. А некоторые результаты настолько разительны, что с ними нельзя не считаться самым серьезным образом. Именно эти результаты для меня особенно интересны.

---

[2] "A bold use of detail in describing act of sex is one of the most obvious characteristics of modern fiction." David L. Stevenson, Heart of the Matter. New Leader, June 6, 1960.

[3] Americans View Their Mental Health. A Nationwide Interview Survey. Basic Books. New York. 1960.

Названная публикация сразу перенесла меня от кошмара «страшной» литературы в страну счастливых людей. Каждому опрашиваемому был поставлен вопрос: считает ли он себя «очень счастливым», «весьма счастливым» или «не слишком счастливым». Последняя формулировка была очень тактично выбрана, чтобы не побуждать людей говорить, что они несчастны, чего говорить о себе многие не любят. 90% мужчин и 88% женщин оказались «очень счастливы» или «довольно счастливы». Среди мужчин: 33% очень счастливых, 57 % довольно счастливых и 10% не слишком счастливых. Среди женщин: 36% очень счастливых, 52% довольно счастливых и 12% не слишком счастливых. Самый счастливый возраст — 21-34 года: 40% очень счастливых, 55% довольно счастливых, 5% не слишком счастливых. Счастливо молодое поколение. Наименее счастливы лица 55 лет и выше: только 27% очень счастливых, 55% довольно счастливых и 18% (что значительно выше средней) не слишком счастливых.

Я воздержусь от возникающих у меня по поводу этих данных критических вопросов. Для меня нет сомнения, что доля «не слишком счастливых» и несчастных в действительности выше. Но данные обследования не оставляют сомнения, что, если и не 90%, то очень значительное большинство американцев чувствуют себя очень или довольно счастливыми. Это отнюдь не означает, что все они отличаются полным спокойствием и душевным здоровьем. Около 20% опрошенных сказали, что они живут в ожидании острого нервного расстройства (nervous breakdown). Тревог и волнений (worries) немало и у тех, кто чувствуют себя очень счастливыми. Это заслуживает дальнейшего анализа, которому в настоящей статье не место. Но некоторые данные о причинах беспокойства имеют для моей темы большое значение.

Чаще всего (41% случаев) волнения обусловлены, по терминологии отчета, «экономическими и материальными» причинами, затем идут заботы о детях, о здоровье семьи, недовольство условиями работы. В общем 87% опрошенных указали только на личные причины, касающиеся самого опрошенного и его семьи, и лишь 13% указали также и на причины беспокойства, имеющие общественное или государственное значение. Но что поразило самих опрашивающих, это — степень равнодушия к международным проблемам, к возможности войны, опасности атомных и водородных бомб. В этом отношении беспокойство проявили всего лишь *четыре*

процента опрошенных. В предисловии, написанном директором организации, руководившей всей серией исследований по вопросам психического здоровья (Joint Commission on Mental Illness and Health), указаны вероятные причины такого равнодушия к вопросам, являющимся для другой (оказывается, крайне незначительной) части нации источником величайшего беспокойства. Автор предисловия говорит, что люди слишком поглощены фактами своей непосредственной жизни, что они, возможно, отстраняются от реальностей более широкого масштаба, чувствуя себя беспомощными перед лицом событий. А, может быть, это равнодушие является «симптомом политической незрелости в комбинации с упорно держащимся под поверхностью изоляционизмом»[4]. К этому добавлю только, что среди опрошенных было 455 с высшим образованием, т. е. более 12%, а беспокойство по поводу международных проблем проявили всего 4%!

Для меня несомненно, что картина, которую дают приведенные мной цифры, несколько преувеличивает благоденствие населения США. Я подозреваю, что обследование не учло в достаточной мере ни положения негров и вообще «цветного» населения, ни обитателей «субстандартных» жилищ, ни тех районов, где наблюдается большой рост преступности малолетних. Думаю, что нужно скинуть несколько процентов «счастливых» и прибавить несколько процентов к «не слишком счастливым». Но я не сомневаюсь, что процент людей в общем удовлетворенных своим существованием — очень или довольно счастливых — все же очень высок, и этому, конечно, можно только радоваться. Но есть в этой картине и теневая сторона. Я не противник того, что презрительно называется «мещанским счастьем», но при условии, что оно не является единственным удовлетворением и не заполняет всей жизни. Судя по данным обследования это условие в Америке не выполняется. Сосредоточившись на узком круге непосредственных личных интересов, «счастливое» большинство населения имеет тенденцию жить в состоянии самоудовлетворенности, разве что нарушаемой заботами и тревогами опять-таки узко личного характера. В условиях нашего времени в этом коренится опасность, го-

---

[4] **"it could be a symptom of political immaturity combined with persistent undercurrent of isolationism, resulting in a renunciation of social responsibility", p. XIII.**

раздо более реальная, чем те, которые изображаются в разных видах «пугающей» литературы.

Если судить по тому, как проходят чрезвычайно длинные и бурные президентские избирательные кампании, — ведь целый год является «предвыборным» — можно подумать, что американцы чуть ли не живут одной политикой. Между тем и таких избирательных кампаний недостаточно, чтобы как следует «раскачать» возможных избирателей. Участие в выборах в Америке гораздо ниже, чем в демократических странах Европы. Так за все время с 1920 года на президентских выборах всего два раза (из девяти) голосовало более 60% имеющих право голоса, но ни разу свыше 63%. На выборах в нижнюю палату конгресса в те годы, когда они совпадали с президентскими, всегда голосовало меньше чем на президентских выборах, но все же сравнительно много, доходя — в 1952 году — почти до 59%. Но в те годы, когда выборы в нижнюю палату не совпадали с президентскими, участие в выборах только раз достигло 44,1%, а несколько раз составляло всего 30 с небольшим процентов — две трети и даже больше имеющих право голоса этим правом не пользовались! Если это связано с «мещанским счастьем», такое счастье может оказаться национальным бедствием.

Я поставил вопрос о внутренней сопротивляемости «Запада» перед лицом коммунистической опасности. Поскольку это относится к Америке, в одном отношении эта сопротивляемость очень велика. В обществе, каким его рисуют данные обследования, нет и не может быть внутренней опасности коммунизма, не находящего для себя сколько-нибудь плодородной почвы. Но говоря о внутренней сопротивляемости, я имел в виду внутреннюю силу нации для сопротивления коммунистической опасности в мировом масштабе — внутреннюю силу, которая делает возможными необходимое напряжение и требуемые для него жертвы — напряжение необходимое не только для обороны в обычном смысле этого слова, но и для возрождения утрачиваемой динамики внутреннего развития, которая сделала Америку великой страной.

Не буду повторять того, что в самой Америке за последнее время говорится и пишется о недостаточности этой внутренней силы, об отсутствии национальной целеустремленности, которую можно было бы противопоставить упорной целеустремленности коммунизма. Об этом можно почти каждый день читать в американских газетах, что уже яв-

ляется обнадеживающим симптомом — если, конечно, этим голосам не суждено остаться голосами вопиющих в пустыне. В частности, анализ американской внешней политики и того, чем должны быть ее действительные, а не мнимые задачи, выходит за рамки настоящей статьи, ориентированной, так сказать, «во внутрь». Но я должен сказать еще несколько слов об американской «страшной» литературе.

На ознакомление с этой литературой я потратил немало времени и усилий, иногда с трудом преодолевая отвращение, заставлявшее меня прерывать чтение. Я не жалею ни времени, ни усилий потому что вижу в «битниках» и в их литературе со всеми ее отталкивающими чертами явление гораздо более серьезное, чем это может казаться на основании пренебрежительных отзывов блюстителей традиционных понятий и литературных норм. Конечно, это меньшинство. Битники — совершенно незначительное меньшинство в населении, битники-писатели — далеко не такое незначительное, но все же меньшинство среди писателей. Но среди представителей этого меньшинства есть писатели, принадлежащие к наиболее одаренным среди молодого литературного поколения — люди и талантливые и мыслящие, или по крайней мере способные мыслить. Так, в ряды битников вступил Норман Мейлер, автор такого выдающегося произведения, как роман «Нагие и мертвые»[5]. О нем один американский критик недавно писал, как об одном из трех появившихся после войны писателей, которые головой выше всех остальных. Теперь Мейлер пишет чудовищные вещи, в которых явно отражается влияние Жана Женэ. Такая писательская судьба заставляет над ней задуматься. В значительной мере это относится и к Керуаку (французско-канадского корня), «открывшему» или по крайней мере окрестившему «beat generation». Кроме того у этих писателей битников есть своего рода периферия — ряд писателей, идущих от тех же или родственных исходных позиций, но не доходящих до таких крайностей, до такого же «дна».

И там и тут отталкивание от интеллектуального и эмоционального убожества сытой, материалистически (конечно, не в философском смысле) ориентированной жизни с культом денег («монейтеизм», по выражению одного близкого к бит-

---

[5] **Norman Mailer. The Naked and the Dead.**

никам автора[6]), автомобилей и домашнего комфорта. Как и чем жить? Где оправдание жизни, когда война, а после войны нависшая над миром угроза атомного уничтожения поставили людей, как никогда раньше, лицом к лицу со смертью. «Жить, чтобы умереть», «жить только чтобы умереть» — то и дело повторяет Керуак в своей последней повести «Тристесса».

Конечно, меньшинство. Но за последние сорок с лишним лет мы научились оценивать роль меньшинств иначе чем мы о ней думали раньше. Массовые настроения не являются просто суммами множества отдельных личных настроений, и массовые движения возникают не сами собой. И те и другие стимулируются и оформляются активными, «действующими» меньшинствами. В известном смысле представители упадочной литературы являются таким «действующим меньшинством». Они находят резонанс у части молодежи, которой недостаточно противодействовать инерцией, а необходимо противопоставить встречное течение, жизнеутверждающее и способное вызвать энтузиазм не в погоне за благами хорошей карьеры, а в общественной деятельности.

Но, как мы видели, молодое поколение в возрасте 21-34 года, оказывается, является самым «счастливым», но ищущим тех же удовлетворений, что и старшие поколения. Другое обследование дает представление о том, что думает студенческая молодежь[7]. Но о нем я сейчас не могу уже говорить и надеюсь вернуться к нему при другом случае. Замечу только, что его результаты оставляют довольно-таки безотрадное впечатление, вскрывая преобладание консерватизма, карьеризма и безразличия к большим проблемам нашего времени.

Но, к счастью, есть и «с другой стороны». В апреле нынешнего года в Вашингтоне состоялась грандиозная конференция, посвященная проблемам «детства и юности». На ней представители высших учебных заведений докладывали о том, что борьба студентов-негров за право есть (питаться) за теми же прилавками, что и белые, вызвала среди белого студенчества такое волнение, какого не наблюдалось за все время после войны. Конечно, одна ласточка весны не делает, но, если как следует приглядеться, то, наверное, найдутся и другие ласточки.

Ю. Денике

---

[6] Lawrence Lipton. The Holy Barbarians. New York, 1959.

[7] What College Students Think. Princeton, 1960.

ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ ВЕРНАДСКИЙ

(1863 — 1945)

В 1915 году, — на втором году первой мировой войны — русское правительство обнаружило, что в его распоряжении нет данных для подсчета и уже имеющихся и возможных в будущем запасов всех природных ресурсов страны. «Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет». После года небывалой войны надо было знать — сколько и где в России железа, угля, нефти и сколько можно ожидать в ближайшие годы? И хотя еще Ломоносов более 150 лет тому назад, а Менделеев всего 10 лет тому назад указывали правителям России, что́ именно и как надо делать для того, чтобы уметь ответить на вопросы об обилии богатств страны в определенных терминах, — таких ответов русское правительство в 1915 году во время угрожающей, катастрофической нужды не имело. И тогда еще одно указание — как искать эти ответы — пришло от непосредственного наследника и преемника и Ломоносова и Менделеева — от академика В. И. Вернадского, ставшего инициатором, организатором и руководителем специальной Комиссии по Изучению Естественных Производительных Средств России. Эта Комиссия (К.Е.П.С.) начала работать в конце 1915 года и по существу она работает и до сего дня.

Постараемся дать понятие о подлинном значении работ комиссии КЕПС. Менделеев не раз напоминал, что «крестьяне, черкесы и казаки» во многих случаях были главными свидетелями, видевшими «собственными глазами» месторождения ископаемых богатств России, следы которых «бросались в глаза» на земной поверхности. Таким образом бывали «открыты» для добывания руды, россыпи и залежи... Систематические поиски нужного вещества, как решение определенных, научных задач были тогда неизвестны. К 1915 году в России в научном обиходе было только одно учебное руководство, содержащее описание местонахождений и свойств ископаемых, полезных материалов — это была книга проф. А. П. Карпинского, изданная в 1881 году. В промышленной практике

1915 года были зарегистрированы не более 1.000 уже разрабатываемых или намеченных к разработке рудников и копей. Около 130 исследовательских станций и технических лабораторий работали для нужд промышленности. Только в 1892 году департамент торговли и мануфактуры при министерстве финансов был выделен в отдельное министерство торговли и промышленности, причем промышленность оставалась как бы только неизбежным добавлением и осложнением необходимой торговли и еще более необходимого финансового управления.

К началу 1916 г. комиссия академика Вернадского установила, что только 30 из всех тогда известных (80) химических элементов могли быть добываемы в России из ископаемого сырья, причем такие важные для промышленности элементы, как бор, гелий, никель, кобальт и калий вовсе не могли быть добываемы в нужных количествах. Из 14 необходимых для промышленности сырых материалов только 4 добывались в достаточных количествах, 6 добывались из явно недостаточных залежей, а остальные 4 были в состоянии первоначальных обследований, еще не дававших определенных указаний на их возможную производительность.

Только в 1916 г. академик Вернадский заложил подлинную основу для научного обследования и систематизации источников экономически важных природных материалов. Фактически же только в 1922—23 г.г. началась грандиозная работа КЕПС, прежде всего приготовившая исходные данные для последующего научно организованного руководства развитием и результатами промышленной деятельности Советского Союза.

Специальная литература быстро росла, появились периодические издания сводок всех добываемых сведений, например «Минералы СССР», «Почвы СССР». Так как все такие работы велись на колоссальной территории, то получавшиеся результаты нередко имели значение, идущее далеко за географические пределы России. Не прошло и 20 лет как общее состояние научно промышленной осведомленности и работы Советской России можно было характеризовать следующим образом. Уже свыше 60 химических элементов добывались для текущих нужд промышленности и за исключением нескольких редчайших элементов все элементы Таблицы Менделеева были найдены на территории России.

В 1934 г. в Казахстане были найдены изобильные залежи материала, доставляющего элемент бор в таких количествах, что этот элемент, ранее употреблявшийся только для медицин-

ских целей, теперь пошел на выделку почвенных удобрений. Несравненные по богатству залежи поташа около Соликамска не были «открыты», но были найдены как определенный результат научного решения этой задачи. Изобильные источники гелия были также найдены в Печерском Краю.

Свыше 75.000 работающих и готовых к работе промышленных центров были зарегистрированы в 1938 г.; при этом следует помнить, что к 1935 г. около 60% всей русской территории еще не были научно обследованы и со всеми подробностями вписаны в инвентарь русского хозяйства. К 1945 г. около 800 научных лабораторий и опытных станций вели текущую работу для горнопромышленных, земледельческих и металлургических целей, независимо от работы Ломоносовского Объединения, выросшего из Ломоносовского Института, которое в 1940 году имело свыше 400 своих специальных кабинетов, лабораторий и станций, исследующих почвы, минеральные залежи, руды и нефтяные источники.

В течение 30 лет, начиная с 1915 года, академик Вернадский был инициатором, организатором и руководителем насущного технологического знания, так необходимого России. Но академик Вернадский в то же время намечал и разрабатывал изначальные идейные пути нового Всемирного Знания, такого Знания, для которого «жизнь, как придаток земной атмосферы» является одной из геологических оболочек Земли («биогенная оболочка»), а все человечество является формой выражения новой, геологической, недавно начавшейся («психозойной») эпохи нашей планеты.

Смысл и ценность творчества всей жизни В. Н. Вернадского — в создании им основ нового миропонимания, в котором человеческая история есть только малая часть великого геологического процесса, охватывающего всю нашу планету обоюдною связанностью Земли и Жизни так, что и Земля творит Жизнь и Жизнь творит Землю.

Имя В. И. Вернадского ближайшим образом связано с геохимией, минералогией, геологией, биогеохимией, радиологией и кристаллографией. Первые научные работы В. И. Вернадского по окончании им петербургского университета (1885 г.) определили дальнейшие пути его творческой мысли. С 1890 г. он — доцент московского университета; в 1891 г. блестяще защищает магистерскую диссертацию очень специального, как тогда казалось, содержания, которая однако была еще раз через 36 лет вспомянута и признана в ученом мире, как пример редчайшего провидения того, что сделалось

«видимым» только при наличии рентгеновской фотографии, не существовавшей в 1891 г. Интуиция В. И. Вернадского утверждала существование знаменитого «четверного кольца» в исследовании роли глинозема в алюмосиликатах. После докторской диссертации (1897 г.) «О скольжении кристаллического вещества» — последовали замечательные книги В. И. Вернадского «Опыт Описательной Минералогии» и «Основы Кристаллографии». С 1901 г. Вернадский был адъюнктом Академии Наук, в 1906 г. экстраординарным академиком и с 1912 г. ординарным академиком.

В 1911 г. В. И. Вернадский совместно с большой группой профессоров московского университета (24 человека) ушел из университета в знак протеста против действий тогдашнего министра народного просвещения Кассо. С этого времени деятельность В. И. Вернадского протекает главным образом в Академии Наук, где наряду с его непрерывной научной работой он коренным образом переустраивает Минералогический Музей и организует Комиссию по изучению вечной мерзлоты, существовавшей на 47% поверхности территории России. К 1915 г. мысли В. И. Вернадского определенно сосредоточились на неотложной необходимости начать систематическое научное обследование естественных производительных средств страны. Таким образом начались работы КЕПС.

В 1914 г. был подведен итог 25-летней научной работе академика Вернадского (1886-1911) в специальном сборнике, посвященном оценке его трудов, зарегистрированных в числе 98. Большинство этих работ посвящено исследованию минеральных залежей, распространению химических элементов в земной коре и начиная с 1910-11 г.г. — необходимости обследования радиоактивных элементов на территории России.

Время первой войны и революции (1914-1917) имело решающее значение для всего мировоззрения В. И. Вернадского. В одном из его писем мы находим: ...«в атмосфере этой войны я подошел в геологии к новому для меня пониманию всей природы, к геохимическому и к биогеохимическому пониманию, рассматривающему и косную и живую природу с одной и той же точки зрения...»

Первые самые тяжелые годы революции 1917-1921 академик Вернадский провел в Южной России (Полтава, Ялта, Симферополь, Киев, Ростов). Регулярная научная и учебная работы были невозможны. Как сам Вернадский рассказывает об этом времени (American Scientist, Jan. 1945): «В течение нескольких лет, где бы я ни жил, мои мысли неизменно

возвращались к геохимическим и биогеохимическим проявлениям всеобъемлющей носительницы жизни — биосферы. Я читал все, что было возможно найти в библиотеках, я читал мои лекции перед самыми разнообразными аудиториями. Я тщательно избегал идти по пути философских обобщений и схем — я следовал, исключительно руководствуясь неоспоримо установленными фактами, результатами опытов и наблюдений. Вместо общего понятия «жизнь» я взял понятие «живое вещество» — что представляет собой всю совокупность живущих организмов. Это понятие есть строго научно установленное обобщение эмпирических, неоспоримых фактов, всем известных, точно и легко наблюдаемых. Понятие «жизнь» всегда идет за пределы понятия «живого вещества», неизменно переходя в области философии, религии, мифологии, искусств...»

Одна из ценнейших работ академика Вернадского относится к систематическому обследованию основного вопроса: в чем и как выражается отличие живого вещества от косного вещества? Среди шестнадцати отмеченных и исследованных «отличий» между «живым» и «неживым» академик Вернадский указывает одно особенно своеобразное, исключительно важное отличие — «процессы живого вещества идут в направлении увеличения свободной энергии биосферы и уменьшения ее энтропии; процессы косного вещества (кроме радиоактивных веществ) идут в направлении уменьшения свободной энергии биосферы и увеличения ее энтропии».

В настоящее время исследования академика Вернадского и его школы в России и во Франции (Le Roy, Teilhard de Chardin) привлекли к себе мысль математиков, геометров, исключительно работающих над задачей изыскания среди многих не-Евклидовых геометрий, такой, которая ближе всего соответствует особенностям «мира живого».

Еще не так давно в прошлом всякое суждение о «жизни» предполагало, что жизнь как процесс имеет в себе элементы не только «естественные», но и непознаваемые или «сверхъестественные»... Таково разделение элементов жизни на «материальные» и «духовные»; сюда же относится привнесение необходимых, исходных «начал жизни», которыми были и «энтелехия» и élan vital и «жизненная сила» или «жизненная энергия» и «творение нечеловеческой мудрости»... Но уже на наших глазах все эти чисто словесные чудеса и мифы постепенно распылялись и уходили в прошлое перед настойчи-

выми, систематическими, утончающимися усилиями научного знания.

Смысл и ценность исследования В. И. Вернадским «различий», существующих между процессами, идущими в живой материи и в косной материи, приводятся к определенному, положительно установленному факту опознания всех этих «различий» при помощи только приборов, измерений и использования только основных физических или химических свойств материи. Живое отличается от неживого только числом и мерою, только «познаваемыми, наблюдаемыми» элементами; жизнь содержит в себе только то, что «естественно», как естественна природа и данная человеку и созданная человеком. Жизнь на земле для человеческого знания не может носить в себе ничего неземного или надземного, нездешнего.

И самое замечательное в научном творчестве В. И. Вернадского это то, что его научное описание «жизни» на Земле поставлено в общей перспективе биогеологического бытия нашей планеты и это сделано с подлинно художественным мастерством.

Основная мысль В. И. Вернадского — необходимость внесения жизни в атомную модель мира. Еще в своих лекциях и статьях в бытность профессором московского университета (до 1911 г.) В. И. Вернадский не раз возвращался к темам, касающимся наиобщих представлений о вселенной, как о предмете научного описания, которое не может в конечном счете быть сведено только к материи и только к движению, так как вселенная не есть механизм, а есть организм. Только через 20-25 лет эта идея об организованной целостности вселенной появилась в трудах Уайтхеда и Смутса, привлекших всемирное внимание, как характерные попытки к необходимому пересмотру и углублению устаревшего, сделавшегося вульгарным, примитивным, позитивизма XIX-го века. В русской мысли эти же самые попытки в блестящей, законченной форме были проявлены в трудах Московской Философско-Математической Школы (1890-1917), и в ее журнале «Вопросы Философии и Психологии». В. И. Вернадский был одним из самых деятельных организаторов и руководителей этого умственного центра московского университета.

Начав (1890-91) с исследования наиболее распространенной составной части земной коры, с группы алюмосиликатов, В. И. Вернадский углубил и обобщил и методы и средства познания всего тела земли-планеты.

Его «теория изоморфизма» исследует группирование, концентрацию и рассеивание химических элементов в земной коре. Таким образом создается грандиозная картина «жизни» Земли, как совокупности перемещений, встреч и взаимного обмена всех 18 изоморфных групп элементов под влиянием перемены в температурах и давлениях. На этом знании строится основа для геологоразведочного дела, для систематизации и методики поисков месторождений руд, минералов, угля, нефти... Эти поиски перестают быть зависимыми от случая, удачи или «личного опыта». Эти поиски теперь ведутся, как решения определенных задач геофизики, геохимии... Еще более углубленное, утонченное исследование радиоактивных элементов, также впервые поставленное и организованное на территории России В. И. Вернадским, приводит к решению основной проблемы о причине возникновения и сохранения теплоты в теле нашей планеты.

Вместо давно уже признанных неудовлетворительными гипотез об огненно-жидком строении центральной части земли или о возникновении теплоты, как результата сжатия земной коры при ее остывании, Вернадский исследует тепло «освобождающееся под влиянием непрестанного разрушения атомов определенных радиоактивных элементов в земной коре» — и в настоящее время именно эта гипотеза является общепризнанной, подтверждаемой всеми наблюдениями. Тело земли перестает быть хаотическим нагромождением скал, камней, минералов, пластов, горных массивов и хребтов. История земной коры есть история переселений, объединений, обменов и превращений химических элементов и их групп. Минералы перестают быть как бы законченными пристанищами элементов, — минералы возникают, развиваются и разрушаются, проходя определенные этапы истории элементов земной коры.

Изоморфные группы элементов — это группы элементов, приспособленных к взаимной замене при образовании нового минерала. Циклические группы элементов — это элементы, перемещающиеся из одной области земной коры в другие, следуя как бы круговыми, возвратными путями. В этих перемещениях или перевоплощениях такие элементы проникают в состав живого вещества, принимая участие в его рождении и умирании... Таковы грандиозные образы биогеохимии, описывающей органическую взаимосвязанность живой и мертвой природы, творящие землю и возникающие из недр этой земли... Планомерность и единство этого описания сделаны Вернадским при

посредстве необычайно искусного применения им основных групповых распределений данных в Периодической Таблице элементов Менделеева. Периодическая Система элементов в толковании Вернадского и его школы превращается во всеобъемлющую систему, описывающую, указывающую, объединяющую все многообразие вещества земли. Таблицы Вернадского как бы заполняют своим содержанием все промежутки между клетками Таблицы Менделеева.

Но грандиозное создание геохимического образа земли как согласованный, объединенный результат творчества двух великих умов нашей эпохи — Менделеева и Вернадского и их школы, является созданием давно намечавшейся формы, способной достодолжно вместить в себя еще более значительное содержание. Это содержание в трудах В. И. Вернадского носит название биогеохимии. Именно биогеохимия «вносит жизнь в атомную модель мира».

Поскольку возможно представить «краткое» описание этого космического, то-есть необозримого и неисчислимого процесса, мы позволим себе передать, как биогеохимия описывает «смысл жизни», в следующих общих чертах.

Биогеохимия есть геохимия биогенных процессов, она изучает атомный состав живых организмов, атомную структуру области жизни (биосферы) и проявления всех тех свойств живых организмов, которые обусловлены их атомным строением. Живое вещество, изучаемое в биогеохимии, сводится к следующим составным элементам: масса, объем, пространственно-временное состояние, атомно-количественный состав и геохимическая энергия.

Среда несущая в себе жизнь, то есть биосфера, не обособлена от жизни — обе они взаимно связаны. Органическая жизнь изменяет состав биосферы, а не является только производною частью биосферы. Ни один живой организм не свободен, не уединен, не отделен ни от мира живого, ни от мира неживого. Все процессы этой многообразной связанности — это процессы, составляющие предмет нашего знания. «Жизнь есть придаток атмосферы», — учил Дюма еще в 1844 году. Жизнь создает атмосферу такой, какая необходима для жизни (пропорции кислорода, азота и углекислоты); жизнь создает свободный кислород и биогенный озон, необходимые для жизни. Земная атмосфера есть явление не астрономическое, а биогенное. Жизнь проникает всю геохимию азота, кислорода, кальция. Жизнь создает почву, почвенные воды и подземные воды. Жизнь концентрирует химические элементы, созда-

ет земную кору, выветривает и перемещает составные части земной коры. Жизнь переносит и раскрепощает лучистую энергию солнца, создает аккумуляторы энергии горючих и легко разлагающихся минералов. Жизнь образует особое состояние пространства в биосфере и является носителем биохимической энергии, энтропия которой уменьшается. Таким образом жизнь нарушает процесс рассеивания и обесценивания энергии в косном веществе биосферы. Живые организмы живут и действуют вопреки «правилу энтропии», правилу обязательному лишь в мире косной, неживой материи. Живые организмы — это энергетические биоцентры. Жизнь рассеивает, разносит излучения распадающихся радиоактивных элементов, этим создавая их устойчивое состояние, потому что концентрированное состояние равновесия есть неустойчивое состояние для радиоактивных веществ. Жизнь оказывает могущественное разнообразное влияние на историю земных химических элементов. Жизнь управляет миграцией химических элементов косного вещества, во много раз превышающего своим количеством общее количество всего живого вещества. И наконец наша эпоха характеризуется новым проявлением жизни, никогда раньше не останавливавшим научную мысль — жизнь цивилизованного человечества только теперь является чисто геологической, стихийной силой, действующей на все тело земли с несравненно бо́льшей значительностью, чем когда либо земля как совокупность всей неживой материи могла воздействовать на человеческую жизнь.

В терминах прошлого века можно было говорить о «чуде воздействия мысли на материю», в наше время человек творит эти чудеса в планетарном масштабе: человеческая мысль творит миллионы тонн чистого железа, почти не существующего в природе и миллионы тонн чистого аллюминия, совершенно не существующего в природе. Человеческая мысль меняет очертания континентов и течения в океанах; человеческая мысль создает новые породы животных и растений, изменяет физический и химический характер воздуха и воды, человеческая мысль творит и меняет материю и обезвеществляет материю. Человек нашел средство для воздействия в им самим регулируемых формах на физическую среду вокруг него, в то время как в прошлом эта физическая среда почти всецело и беспрепятственно воздействовала на человека и регулировала его жизнь.

В. И. Вернадский незадолго до своей смерти в статье «Биосфера и Ноосфера», помещенной в журнале American

Scientist, январь 1945 г., говорит: «Человечество в целом является могучей геологической стихийной силой. Таким образом возникает задача о перестроении биосферы и об ее развитии в интересах всего свободомыслящего человечества как полного единства. Это новое состояние биосферы, к которому мы, может быть, пока еще не замечая этого, теперь приближаемся, будет Ноосфера. (Noos — мысль). ...Ноосфера — это новый геологический феномен на нашей планете, в котором человек проявляет себя как геологическая сила, как стихия земли. Человек может и должен перестраивать свою жизнь, размышляя над жизнью, творя в жизни, и это перестраивание в наше время ведется весьма радикально по сравнению с прошлым. Все более широкие творческие возможности раскрываются перед человеком и он все яснее ощущает биогеологическое единство всех наций, всех рас на земле. В великом историческом состязании нашего времени должны победить те, кто следуют в направлении этого «закона природы»... — Мы не можем не сознавать, что стихийно мы вовлечены в этой борьбе, охватившей всю землю, на путь, ведущий нас к ноосфере. Это значит, что ведущие нас идеалы, наши усилия и достижения вполне созвучны с всеобъемлющим, стихийным геологическим процессом. Мы вступаем в новую эпоху ноосферы и мы уверены в нашем будущем! Оно в наших руках, мы не упустим его...»

Таково последовательное и вне сомнений материалистическое миропонимание В. И. Вернадского, которое он строил на пути своей 60-летней научной работы. Таково, в частности, понимание Вернадским места и роли человека и жизни в нашем мире. Таков научный материализм нашего времени, который может быть назван «научным эмпиризмом» в отличие от «зоологического эмпиризма», руководившего человеческой творческой мыслью на всем пути жизни и творчества Homo Sapiens. Зоологический эмпиризм «дрожащей твари» только-только в наше время начинает уступать свое значение и свою мощь «научному эмпиризму» человека-властелина всего мира мертвой материи.

Такова чисто материалистическая концепция места и роли жизни человека во всем мире и в живом и в неживом, как она намечается русскою научною мыслью нашего времени. Совершенно замечательна та необыкновенная согласованность времени, материала и средств, которую мы видим в создании научного миропонимания русскою мыслью на пути второго столетия русской науки (1845-1945). Менделеев (1837-1868-

1907) приносит единство системы в научное познание, казалось бы, неисчислимого, необозримого разнообразия мира мертвой материи. Таблица Менделеева (1868) на пути 80 лет создает возможность завершенного оформления атомной модели мира. Вернадский (1863-1915-1945) превращает научное познание материи в познание земли, этого дома жизни, и вносит жизнь во всей, как ранее казалось, непознаваемой полноте в приготовленную атомную модель мира.

Обзор и оценка творчества такого ученого-мыслителя, каким был В. И. Вернадский, с несомненной ясностью намечают общий типичный характер русской научной мысли, проявляющийся независимо от внешних форм текущей русской действительности. Весь строй мысли В. И. Вернадского направлен и выше и дальше современности, он направлен «вверх», туда, где «камни катятся по склонам гор кверху»... Таково направление научного материализма или «облагороженного позитивизма» нашего времени — этот материализм направлен к земле, в землю в самом непосредственном точном смысле и все-таки такой материализм представляет собой несомненно «возвышенный строй мысли», направленный «вверх»!

Не было и следа «возвышенного строя мысли» в том позитивизме XIX-го века, когда Базаровы только «резали лягушек» и когда Аркадии Кирсановы только «говорили красиво».

Самое убедительное доказательство ценности и действенности мировоззрения В. И. Вернадского мы находим в выражении мыслей и чувств его учеников и ближайших сотрудников, среди молодежи, этих непосредственных наследников и продолжателей дела жизни В. И. Вернадского. Невозможно ни забыть, ни пропустить ни одного слова из того, что было сказано над гробом В. И. Вернадского одним из его сотрудников и учеников (А. П. Виноградовым):

«Нас молодых все поражало в нем! И страсть к книге, и постоянная забота о науке, его научное беспокойство и в то же время его размеренное спокойное руководство, неуклонное движение к цели... Он был истинным правителем в науке — он правил, не поднимая руки!

Нас поражало в нем его стремление войти в самые мелкие детали работы, казавшиеся нам ненужными и лишними, и его умение в то же время отыскать в каждой работе зерно истины, оставаясь глубоко чуждым всякой научной нетерпимости.

Нас поражала в нем его вечная молодость. И мы помним слова, сказанные Владимиром Ивановичем его молодому сотруднику, который упорно ограничивался в его исследовани-

ях применением только рутинных методов. Владимир Иванович сказал ему: «Да вы несомненно старше меня!»

Нас поражал в нем его дар научного провидения. Он видел в науке на много лет вперед! Он видел так, как можно видеть яркие звезды на дневном небе — лишь со дна глубокого колодца!

И мы дорожили Владимиром Ивановичем! Мы любили его! Любили каждый по своему Одни за то, что он великий ученый, в подлинном смысле ученый — новатор. Другие за то, что он — крупнейший мыслитель. Третьи за кристальную чистоту его души. Но все одинаково крепко его любили за его человечность! Сколько из нас обязаны ему нередко жизнью!»

Таково свидетельство неразрывной преемственности между учителем и его учениками. Эта связь в жизни русской научной мысли всегда была особенно заметна и ценима. Сеченов Павлов, Менделеев, Федоров, Вернадский, Чебышев, Чернов, Марков, Жуковский, Ключевский — эти имена учителей-ученых пройдут «веков завистливую даль» с тою же нетленностью, как они прошли через эти бурные десятилетия на нашей памяти.

Не случайны и не надуманы эти слова над гробом В. И. Вернадского о том, что он в науке «правил, не поднимая руки». Только в подлинном учителе его ученики находят это необыкновенное единение свободы и власти, когда ученики в себе самих ощущают и знают, что «свободная энергия» их мысли, пробужденной учителем, растет и множится, направляясь к ценностям еще более ценным, к стройностям еще более стройным...

Так В. И. Вернадский, начав с физико-химического исследования, «живого вещества», и заботливо оберегая свою мысль от отвлечения в философию, религию или поэзию, мастерски внес это «живое вещество» в атомную модель мира и оставил своим ученикам и наследникам грандиозное единство Земли и Жизни, как новую неистощимую тему для будущего творчества человеческого гения, как в области научного знания, так и за его пределами, всегда и неизменно уходящими в даль.

Наследство, оставленное В. И. Вернадским его ученикам и последователям, материально и формально вложено в его опубликованные труды-книги, мемуары, статьи и лекции (числом свыше 340), но мысли, пробужденные творчеством этого учителя трех поколений, направляют и освещают деятельность многих тысяч человеческих умов, для которых наука Земли и

Жизни является и делом, и профессией, и призванием, и служением.

«Поговори с Землей — она научит тебя» — эта программа человеческого действия на земле, дошедшая до нас в книге Иова из мифологической предистории человечества — конечно, имеет в виду не землю израильскую, или египетскую, русскую или американскую...

Русская научная мысль говорит о всемирном, всечеловеческом, о том, что доподлинно принадлежит человеку на Земле, а не русскому в России и не американцу в Америке! Мы должны отметить существенную особенность «всемирного слова», которое говорит Россия в лице академика Вернадского и его школы. Россия говорит всего только о том, что такое Земля, этот единственный дом жизни человека! И Россия говорит о том, что такое жизнь земли во всей ее биогеологической общности. Все это говорится в России, начиная с 1916 г. в лекциях В. И. Вернадского, затем в его книгах, посвященных новой науке, биогеохимии, потом в лекциях и работах учеников и сотрудников В. И. Вернадского, среди которых особенно выделялся академик А. Е. Ферсман, который еще в 1912 г. начал читать впервые курс геохимии в Москве в Университете Шанявского. Так на пути 60 лет слово В. И. Вернадского о Земле и Жизни, пройдя по всей русской территории через тысячи книг, аудиторий и лабораторий в умы миллионов читателей, студентов, ученых и инженеров, не остается только научной догмой, наставляющей эти умы, а претворяется в дело жизни человеческого множества, жизни неразделимой от жизни Земли. Но русская научная мысль о Земле и Жизни, сделавшись универсальной научной системой и, соприкасаясь со всеми видами всемирного научного знания о мире материи, будет являть собой завершенное обобщение концепции всемирного единства мысли, растекающейся по всей земле, охватывающей и землю и жизнь без различий и разделений географических, исторических и политических. Так обрисовываются контуры новой эпохи, новой истории человека, живущего на земле, а не истории французов, живущих во Франции или русских, живущих в России...

Так говорит не политика, не социализм или коммунизм... так говорят ученые — геофизики, биогеологи, несущие в учении В. И. Вернадского всемирное слово русской мысли...

Всякая власть, направляющая свое насилие к тому, чтобы остановить, истребить человеческую мысль, как бы утрачивает в себе человеческое понимание самой природы человече-

ской мысли и оказывается не приготовленной, не способной узнать, почувствовать признаки и пути подлинно новой, рождающейся мысли. В русской мысли, ее подлинно «революционные» достижения в... математике и биогеохимии! Ни философская, ни историческая, ни политическая мысль в России таких всемирных достижений не имеют!

В 1826 г. русская власть не узнала, не почувствовала всего того, что появилось во всемирной мысли вместе с геометрией Лобачевского. А в 1926 г. власть в России не узнала и не узнаёт еще и теперь всего того, что сделано для всемирно-человеческой мысли исследованиями покойного академика В. И. Вернадского. Русское правительство (1826-1855) было благосклонно к создателю непонятной геометрии, Лобачевскому, и не препятствовало напечатанию его книги; официально Лобачевский был почтен всеми положенными по закону орденами и чинами, как профессор, как ректор университета и как попечитель учебного округа. Но русская Академия Наук не признала его геометрии заслуживающей внимания, и митрополит Филарет объявил Лобачевского еретиком! Советское правительство (1926-1945) было благосклонно к академику Вернадскому; он был вполне свободен в чтении своих лекций, как в России, так в Германии и Франции, его труды свободно печатались на всех языках, но Академия Наук не разделяла «философских обобщений» Вернадского, что было официально отмечено в издании ч. 1 его «Основ Биогеохимии» (1934). И в журнальных статьях, всегда полных почтения перед великими заслугами Вернадского, как ученого, иногда проскальзывали как бы скрытые попытки подозрения Вернадского в «ереси», когда его называли «мечтателем»!..

И «правое» и «левое» самовластия как бы два изомера органической природы, будучи разного состава, оказываются тождественными во внешней форме проявления их существа в той же мере, как тождественны правая и левая руки человека или предмет и его отражение в зеркале. Политическая идеология самовластий — является источником их «заданной правды жизни» и их полицейское насилие служит утверждением «обязательности» этой правды. Лобачевский «доказал» лживость и ненужность всякой «заданной правды». Правительство 1826-1855 годов видело в Геометрии Лобачевского всего лишь, хотя и непонятную, но полезную науку совершенно так же, как правительство 1926-1952 годов видит в Биогеохимии Вернадского всего лишь, хотя и малопонятную, но полезную науку, не подозревая, что эта наука есть всемирное

слово пролетариата мысли и воли, несущего в себе всю мощь стихийной геологической силы Земли и свет нового эволюционного материализма на смену и отжившему индустриальному пролетариату, и бессильному позитивизму марксизма и тоталитарному самодержавию коммунизма...

Научное творчество В. И. Вернадского, как явление русской жизни, представляет собой разительный пример, совершенно явственный и для современников и для всего будущего, — пример типичного процесса развития в мире живого — процесса неуклонного роста свободной энергии, направленного к созданию ценностей еще более ценных и стройностей еще более стройных!

В. Некрасов

Л. ТОЛСТОЙ КАК МЫСЛИТЕЛЬ

(К диалектике его идейных исканий)

Л. Толстой не был философом в точном смысле этого слова, но он был серьезным и глубоким мыслителем, жившим напряженными, часто мучительными для него исканиями. Будучи страстной натурой с постоянной склонностью к крайним решениям, Толстой в своем максимализме не был, однако, достаточно свободным внутренно. Многое связывало его мысль, — и больше всего связывал его морализм, подчинение всех творческих движений души моральной сфере. Можно с достаточным основанием говорить о «панморализме» Толстого, но не будем забывать, что Толстой был поистине гениален в своих моральных суждениях, в своей исключительной моральной чуткости. Это настолько выделяло Толстого среди других мыслителей его времени, что его справедливо называли «совестью мира». Но именно это подчинение всех тем жизни императивам морали связывало идейные искания Толстого и часто лишало его той трезвости духа, без которой нашему уму невозможно создать цельное и всеохватывающее мировоззрение.

По яркости и силе личности Толстого, по творческой напряженности его духа можно было бы ожидать, что его мысль будет развиваться в сторону *персонализма,* то есть принципиального поставления в основу мировоззрения идеи личности и обоснования самого принципа личности. Персонализм не отвергает, конечно, того, что человек включен в природу, во многом зависит от нее, но он подчеркивает и то, что человек возвышается *над* природой, оценивает и судит ее. Это значит, что есть в человеке сторона, которая подымает его над природой, — и это ведет нашу мысль к построению той или иной метафизики человека, что и образует ядро персонализма.

Что касается Толстого, то он в самом себе ощущал независимость духа от природы; его мысль смело и решительно раскрывает всё богатство человеческой души. Толстой строит свою собственную жизнь, руководясь лишь директивами его духа, — и он сурово оценивает всё содержание культуры именно потому,

что культура так часто подавляет и заглушает всё «естественное» в человеке, всё, что заключено внутри человека. Но несмотря на всё это, Толстой, по мере его созревания, всё более склонялся к признанию, что начало личности в человеке таит в себе неправду, делает человека узким, ослабляет подлинно творческие движения в нем. Начало личности в глазах Толстого становилось постепенно источником духовного ослабления, освобождение от чего дает нам, по Толстому (как думал он во второй период его жизни), так наз. «разумное сознание», которое уже безлично и внелично, которое зовет нас к служению безличному Добру. Так постепенно слагалась у Толстого система имперсонализма, перешедшая затем в отрицание начала личности и в Боге. «Разумное сознание» в человеке, освобождая его от всяких проявлений личного начала, разлагает, по Толстому, личность, растворяет человека в безличном Абсолюте... Нельзя не видеть, как мало это учение соответствовало тому, чем был сам Толстой, как мало подходила доктрина имперсонализма к его собственной яркой и могучей индивидуальности!

Надо иметь в виду, что в художественном творчестве Толстого мотивы персонализма очень сильны. Он любит ярких, сильных людей и с пренебрежением относится к «забитым» натурам, к скромным людям, не умеющим себя отстоять. В ранних рассказах Толстого есть много воспевания именно сильных людей, богатых страстями, смелых и не боящихся преступать границы морали (Ерошка в рассказе «Казаки»). За это воспевание стихийности в людях Мережковский когда-то характеризовал Толстого, как «тайновидца плоти». Как пленительна, например, личность Наташи Ростовой именно силой жизни, играющей в ней, — и какой жалкой оказывается смиренная Соня, о которой Толстой (устами Наташи) говорит, что она — «пустоцвет». Жизненной слабости не прощает Толстой — и даже, когда он, по требованиям своего морального сознания, осуждает в Анне Карениной ее грехи, то рисует ее так, что все симпатии читателей (как и самого Толстого!) на стороне грешной Анны Карениной.

Толстой очень рано увлекся Руссо, его критикой цивилизации и разоблачением ее искусственности и фальши, его исканием «естественных» движений в человеческой душе. Руссо создал целую утопическую поэму («Эмиль»), где хотел найти пути для преодоления той фальши, которой полна современная цивилизация. Всё это было очень по душе Толстому, всё это направляло мысль Толстого к противопоставлению личности внешней цивилизации. На эту тему написан Толстым замеча-

тельный рассказ «Люцерно», где дана беспощадная критика того, к чему ведет цивилизация. Бесчеловечности и бездушию культурных людей, в которых внешняя жизнь заглушает все живые и глубокие движения души, Толстой противопоставляет нищего певца, в пении которого звучала такая красота, такая правда, что она высоко подымала этого нищего над пустыми представителями внешней цивилизации. Антиисторизм Руссо, его пламенный революционизм, который во Франции создал целое течение персонализма (уже в XIX веке), были по душе и Толстому, заостряя в нем неприятие современности и освобождая его от гипноза внешней жизни. Всё это вело мысль Толстого как раз в сторону персонализма.

Весьма любопытно это сказалось в педагогических исканиях Толстого, оказавших огромное влияние на педагогическую мысль во всем мире. Толстой признает за родителями право давать детям только *образование,* но решительно отвергает право их воспитывать, то есть, вмешиваться в духовный мир детей, влиять на развитие личности в детях. Под влиянием замечательных идей Толстого создалось как в России, так и на Западе и в Америке целое течение в педагогике с ярко выраженными идеями персонализма. Под конец жизни Толстой, правда, несколько смягчил свое требование не вмешиваться в духовную жизнь детей, но яркий персонализм в педагогических взглядах Толстого оставил глубокий след в мировой педагогике.

Как же могло случиться, что Толстой позже решительно отошел от персонализма и пришел к мысли, что начало личности в человеке мешает ему идти к правде и к добру? Мы увидим, что истинным основанием имперсоналистических идей Толстого явился, как это ни парадоксально, его исконный персонализм! Толстой строит свою имперсоналистическую доктрину как раз для того, чтобы *защитить личность,* спасти ее от полного растворения в безличной природе. Сам Толстой очень ясно раскрыл мотивы его идейного перелома в его замечательной «Исповеди»; сюда же примыкают его различные статьи — особенно важны его трактаты «О жизни» и «В чем моя вера».

Войдем в более подробный анализ всего, что дало новое направление идейной жизни Толстого.

Когда у Толстого исчезла его детская вера, в нем сохранилась потребность духовной жизни, что выразилось в «потребности самосовершенствования». Это было не только стремление быть «лучше», это было не только чисто моральным движением, но было и жаждой быть сильным и ярким: сам Толстой откровенно признает (в «Исповеди»), что это было желание выразить

и раскрыть свою личность, стать «самим собой». Так из недр чисто персоналистических переживаний выросло то, что привело затем к отрицанию ценности личного начала. Как рассказывает сам Толстой, на него стали находить «сначала минуты недоумения, остановки жизни, как будто я не знал, как мне жить, что мне делать». «То, на чем я стоял, — пишет Толстой, — надломилось, я почувствовал, что мне стоять не на чем, что того, чем я жил, уже нет, что мне нечем жить... Моя жизнь остановилась...»

Все это замутило его душу потому, что Толстой понял *неотвратимость смерти,* неизбежность угасания жизни: «Можно жить, пишет Толстой, покуда пьян жизнью, а как протрезвишься, то нельзя не видеть, что всё это только обман и глупый обман». Толстой был близок к самоубийству, он почувствовал, что жизнь лишена смысла раз смерть всё уничтожает. Но почему же Толстой не искал опоры в христианстве — в вере в воскресение, в вере в будущую жизнь, почему эта вера не подсказала ему, что и за гробом есть жизнь? Здесь явственно выступает влияние на мысль Толстого всего позитивно-научного мировоззрения, которое не признает жизни за гробом. Толстой оказался во власти того плоского и узкого мировоззрения, какое слагалось веками в противовес христианству, которое отвергает всё трансцендентное, непостижимое, признает реальность лишь в видимом и осязаемом. Весь персонализм Толстого, как он расцветал в его творчестве, в его сознании, провалился в ту бездну, о которой нам на каждом шагу твердит смерть. И, конечно, нельзя не признать, что жизнь бессмысленна, если всюду и во всем торжествует смерть; можно не думать об этом «в опьянении жизнью», но рано или поздно неотвратимость смерти предстанет перед нашим сознанием.

Чтобы найти смысл жизни, нужно, очевидно, чтобы жизнь наша была связана с тем, что вечно и абсолютно, — и весь вопрос тогда сводится к тому, как и чем связать нашу личность с Абсолютом. Христианство утверждает смысл жизни в своем благовестии о вечной жизни, к которой мы приобщаемся уже здесь на земле и которая не исчезает со смертью — и на этих путях христианство строит метафизику человека и тем утверждает правду персонализма, правду и ценность начала личности в человеке. Но Толстой не пошел по пути, открытом христианством; хотя сначала он и пробовал опираться на христианскую метафизику, но очень скоро отверг христианство, всё его удивительное и таинственное учение о Боге, о Боговоплощении, о воскресении Спасителя. Принять эту метафизику хри-

стианства Толстой не смог, ему мешал его разум («малый разум» по терминологии Ницше), вернее сказать — мешала вся та атмосфера просвещенства, которой жил XIX век. Толстой много мучился в своих исканиях, но дальше Шопенгауэра пойти он не мог, — а у Шопенгауэра principium individuationis не имеет никакой метафизической силы. С этой точки зрения нет и не может быть в человеке никакой вечной жизни — ни здесь на земле, ни тем более за гробом. Толстой принял это без колебаний, — и хотя он и пробовал углубляться в богословие, но его книга «Критика догматического богословия» показывает, что он так и не понял христианства и естественно отверг его. Насколько богат был Толстой в своих моральных переживаниях, в интуитивном вживании в жизнь, настолько слабы были его интуиции относительно сферы Божества. Из всего христианства ему была близка только мораль, а метафизика христианства осталась непонятной и ненужной.

«Положение мое было ужасное, — пишет Толстой в своей «Исповеди», — я знал, что я ничего не найду на пути разумного знания, кроме отрицания жизни, а в вере — ничего, кроме отрицания разума». Это острое противоставление разумного сознания и жизни, разумного сознания и веры мешало Толстому найти выход; «сердце мое томилось мучительным чувством», пишет Толстой. Он сам признал позже, что это было искание Бога, то-есть искание связи с Абсолютом, — и, конечно, Толстой нашел верный для себя путь через признание, что спасение личности может быть найдено лишь в связывании личности с Богом. Но чтобы быть свободным от того, чему учит христианство о Боге, Толстой отверг метафизику христианства. «Отдельный от мира, отдельный от меня Бог таял, как льдина, на моих глазах», пишет он. Толстому нужно было связать Абсолют с жизнью, так, *чтобы не было ничего трансцендентного.* И вот Толстой вернулся к вере в Бога, но уже не «отдельного от мира»; он вносит теперь *абсолютное начало в самое имманентную сферу.* Это, конечно, не пантеизм, но *это было абсолютирование морального начала,* в котором Толстой и нашел «пульс абсолютности»: «я вернулся к вере в ту волю, — пишет Толстой, — которая произвела меня и чего-то хочет от меня, вернулся к тому, что главная и единственная цель жизни в том, чтобы быть лучше; я вернулся к вере в Бога, *в нравственное совершенствование*». Тут же Толстой пишет: «сущность веры состоит в том, что она придает жизни такой смысл, который не уничтожается смертью», — но при этом не нужно никакого богословия, никакой метафизики Абсолюта, нужно толь-

ко почувствовать, что Абсолютное есть, — и не вне мира, не вне жизни, а в самой жизни. Абсолютирование морального начала, движение души к совершенствованию — будто бы всего этого достаточно, чтобы внести смысл в жизнь человека.

Так задача, выросшая из глубин персоналистических переживаний, из искания смысла жизни, не уничтожаемой смертью, привела Толстого к связыванию личной жизни с Абсолютом, понимаемым как Добро, но как добро безличное — (иначе неизбежна была бы та метафизика Абсолюта, какая заключена в христианстве). То, как Толстой понимал этот «пульс абсолютности» в человеке, неизбежно вело его к новому пониманию и человека, — и на этом пути принцип имперсонализма всецело овладел его сознанием. Толстой развивает новое учение о человеке, о том, что́ есть собственно «истинная» жизнь в человеке — и здесь антропология переходит уже в этику. Попробуем разобраться в этом.

«Истинная жизнь» или жизнь, руководимая «разумным сознанием», по существу совершенно отлична от того, что мы в себе находим в потоке разных переживаний, чувств, мыслей. Человек, как он себя непосредственно сознает, взятый в его эмпирическом составе, неотделим ведь от жизни телесной или, как это называет Толстой, — жизни «животной». Но это эмпирическое бытие, составляющее основы «животной личности» и подчиненное пространственным и временным условиям, вовсе не есть, по Толстому, истинная сущность человека. Истинная же его сущность открывается, по Толстому, только в «разумном сознании», — во всем том, что независимо и от пространства и от времени. Наше обычное самосознание не хочет отрываться от «животной личности», не хочет понимать себя иначе, как только в пределах своей телесной жизни, — но как раз эта связанность сознания с телом и создает тот трагический тупик, в который приводит нас Толстой, в который он сам зашел, когда неотвратимость смерти придавила его. «Мы боимся потерять при плотской смерти наше я, — говорит Толстой, — но этот страх определяется тем, что мы не умеем и не хотим отделять наше подлинное я от нашей животной личности. Между тем истинная жизнь, наше подлинное я, наше особенное (у каждого человека — свое) я не ограничено ни пространством, ни временем». Надо, по мысли Толстого, понять, что хотя наше истинное я («разумное сознание») и проявляется в пределах «животной личности», но эта животная личность есть лишь

средство для нашего подлинного я и с исчезновением животной личности не исчезает и не может исчезнуть наше я именно потому, что оно не ограничено ни временем, ни пространством.

Но что же это за «подлинное» я — особенное у каждого человека? Оно открывается в «разумном сознании»: «жизнь наша, — пишет Толстой, — начинается только с проявления разумного сознания». «В разумном сознании человек сознает свое вневременное и внепространственное слияние с другими разумными существами, — и это пробудившееся в человеке разумное сознание останавливает то подобие жизни, которое заблудшие люди считают своей жизнью; заблудшим людям кажется, что жизнь их останавливается именно тогда, когда она на самом деле пробуждается». «Разумное сознание, незаметно вырастая в личности человека, дорастает до того, что *жизнь в личности становится невозможной*». «Так возникает, — пишет Толстой, — то мучительное состояние *раздвоения,* в которое вступают люди при обнаружении в них их разумного сознания». Это раздвоение, как видим, по существу имеет *моральный* смысл: личная жизнь неизбежно эгоцентрична, всё творит для себя и от себя, а то, к чему ведет «разумное сознание», выводит нас за пределы нашей личности и скоро вступает в острый конфликт с ней. Этот конфликт дорастает до того, что жизнь по разумному сознанию становится невозможной в эмпирической личности, что и ведет к подавлению и даже разрушению эмпирической личности. Толстой, впрочем, дает некую примирительную формулу в отношении этого конфликта: «требуется не отречение от личности, а подчинение ее разумному сознанию», пишет он. Но на самом деле раздвоение, которое как будто ограничено моральной сферой, имеет у Толстого более широкий, *онтологический* смысл: разумное сознание по существу безлично, а в «животной личности» всё ведь связано с личным началом. Само «разумное сознание» лишь *проявляется* в пределах личности, но *не есть продукт* личной жизни; эта «непроизводность» разумного сознания, невыводимость его из эмпирической личности обнаруживает иную онтологическую природу разумного сознания, чем та, какая проявляется в эмпирической личности. Правда, «разумное сознание», по Толстому, и есть наше «истинное я», но это «я» *не совпадает с эмпирическим самосознанием,* какое мы находим в себе. Наше «истинное я» есть как бы стержень в потоке эмпирической душевной жизни — оно, по словам Толстого, «соединяет в одно все разрозненные сознания». Но эмпирическое сознание («животная личность», по Толстому) есть не что иное, как поток переживаний,

и не имеет в себе ничего постоянного, истинное же я «вносится нами в мир из области внепространственной и вневременной» и потому вечно. Это, конечно, уже бесспорный имперсонализм. Всё то, что в человеке образует самую сущность его индивидуальности, *неотделимо ведь от его эмпирического бытия,* слагается из того, что переживается в телесных и психических состояниях. Толстой же совершенно и категорически отделяет эти два я — и на этом разделении он обосновывает преодоление страха смерти. «Мы боимся, — пишет он, — потерять при плотской смерти свое особенное 'я', соединяющее и тело и ряд сознаний, проявлявшихся во времени, в одно, а между тем это-то мое особенное *'я' началось не с моим рождением* и потому прекращение известного временного сознания не может уничтожить того, что соединяет в одно все временные сознания».

Из всего этого ясна *онтологическая разнородность* двух «я» или «разумного сознания» и животной личности. Но при этом надо иметь в виду, что внепространственное и вневременное разумное сознание есть, по Толстому, собственно «частица Божества» в человеке. В своем Дневнике Толстой ставит даже вопрос: «зачем Бог разделился на многочисленные разумные сознания»?.. «То, что познает, — пишет он, — одно во всем и во всех, это частица Божества, которая и есть наше действительное я». «Сущность жизни, — читаем тут же, — *не есть отдельное существование,* а Бог, заключенный в человеке; смысл жизни открывается тогда, когда человек признает *собою* свою божественную сущность».

Нельзя яснее и точнее выразить позицию имперсонализма, чем это мы находим в приведенных словах Толстого. Всё, что есть «метафизического» в человеке, есть божественная сущность в нем (вернее, «частица Божества»), *никакой метафизики человека, как такового, нет,* всё своеобразие, вся внутренняя жизнь человека, неразрывно связанная с его эмпирическим составом, не заключает в себе ничего вечного, «истинного», а то вечное, «истинное», что в нем есть, это уже *не его* индивидуальное, своеобразное и неповторимое, а Бог в нем. Толстой думает (всё это в том же трактате «О жизни»), что в любви исчезает раздвоение в человеке двух его «природ» (эмпирической и божественной), но эта мысль, конечно, мнимая. Если мы любим кого-либо, то любим и то вечное (божественное), что есть в человеке, но любим и то, что эмпирически облекает и пронизывает эти моменты вечности. Вся ценность, всё своеобразие человека — в этой неисследимой и нерасторжимой связи временного и вечного, эмпирического и надэмпирическо-

го в нем; загадка человека, тайна его, тайна его пути, его «судьбы» именно в этом парадоксальном, но действительном сочетании в нем малого и большого, временного и вечного. Потому-то и нужно построение метафизики человека, чтобы понять неразрывную связь глубины и поверхности, надэмпирического и эмпирического в человеке.

Это и дает христианство — и только христианство; — оно утверждает именно неразрывную связь эмпирического в человеке и вечного в нем (через благовестие воскресения, т. е. восстановления всей полноты человека). «Сеется тело душевное, восстает тело духовное», пишет Ап. Павел: в воскресшем своем теле Христос был именно в плоти и говорил своим ученикам: «Посмотрите на руки Мои и на ноги Мои; это — Я сам; осяжите Меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у Меня». Но Толстой не принял благовестия о воскресении, отверг все те места в Евангелии, где говорится о воскресении Спасителя. Христос (в изложении Евангелия у Толстого) умирает и не воскресает.

Почему Толстой не принял христианского учения о воскресении? Как мог он с его могучей индивидуальностью, с его удивительным умением читать в душе людей, не понять, что все индивидуальное и своеобразное в человеке неотделимо от «сущности» человека? И разве страх смерти теряет свою остроту при том понимании человека, которое развивает Толстой? То откровение о человеке, которое мы переживаем при смерти дорогого и близкого нам человека, оказывается, по Толстому, призрачным и обманчивым. Но и для Толстого со смертью кого-либо навсегда исчезает то непостижимое, но реальное единство глубокого и внешнего, надэмпирического и эмпирического в человеке, которое образует всё своеобразие, всю неповторимость, всю единственность человека и являет нам человека в полноте всей его реальности. Философия персонализма и призвана к тому, чтобы уяснить нам метафизику человека, показать и раскрыть тайну человеческой индивидуальности. То же, что предлагает Толстой, только подчеркивает всю полуреальность, а потому и мнимость эмпирической личности. И если страх смерти, сознание ее неотвратимости заглушило в Толстом все мотивы персонализма, то в его имперсонализме не побеждается страх смерти, а просто смерть оказывается по существу мнимой, ибо истинное я в человеке («частица Божества»), освободившись от «животной личности», от всего, что связано с пространством и временем, продолжает существовать вне данной личности.

Вопрос о смысле жизни, о смысле смерти вырастает, бесспорно, из самой глубины персоналистических переживаний. Мы не можем помириться со смертью потому, что ищем утвердить себя в вечности, и только в благовестии о грядущем воскресении стихает эта метафизическая тоска, которая рождается от созерцания смерти.

Толстой сводит свое «разумное сознание» к моральной потребности «быть лучше». Но как ни глубока и ни существенна моральная сфера в человеке, но к ней одной нельзя свести все, так называемые, «трансцендентальные» функции нашего духа. Эти трансцендентальные функции (в познании, в моральной, эстетической, религиозной жизни) проявляются всё же лишь в пределах *эмпирических сознаний* и *вне их нет* этих высших функций. Их нельзя оторвать от эмпирической ткани в человеке; если они «непроизводны», т. е. невыводимы из эмпирического состава человека, то и неотрываемы от него. Жажда укоренения нашей личности в вечности, этот источник всех персоналистических упований, может быть осмыслена лишь в благовестии о воскресении человека в полноте и цельности его бытия. А Толстой, зачарованный тем самым научно-позитивным мировоззрением, которое он так остро и умно критиковал, не принял благовестия о воскресении, — и чтобы заглушить персоналистические упования, жившие в нем с исключительной силой, нашел выход в имперсоналистической антропологии. В его «разумном сознании» есть что-то иррациональное, мистическое, — оно внедряется в личность человека, чтобы разрушить самые глубокие упования, чтобы объявить мнимыми и ложными все те переживания, в которых душа ищет связи своей эмпирической личности с вечностью.

Толстой не одинок в русской литературе, как защитник имперсонализма, хотя русская литература в общем заполнена исканием метафизического начала в человеке. Особенно хочется помянуть имена Несмелова и Лопатина, как самых замечательных представителей персонализма в русской философии. Другие яркие представители персонализма в русской мысли значительно ослабляли свою позицию добавочными построениями (Бердяев — своим неудачным экзистенциализмом, своим страхом перед всякой «объективацией», другие мыслители тем, что связывают персонализм с учением о перевоплощении, в корне подтачивающем основы персонализма). Но были и кроме Тол-

стого защитники имперсонализма в русской литературе — имею в виду Тютчева, с его странной «жаждой самоуничтожения», Фета. Приведем известные стихи Фета:

Не жизни жаль,
А жаль того огня,
Что в тьму уходит
И плачет, уходя...

Огонь, о котором говорит здесь Фет, есть ведь корень и основа личности, которая, по Фету, «в тьму уходит», т. е. исчезает навсегда. Имперсонализм завладел и Влад. Соловьевым в последний период его жизни, когда он много трудился над разложением принципа личности, как самобытного, особого бытия. Но всё это не типично для русской мысли, — и потому и в диалектике идейных исканий Толстого самое дорогое и близкое нам не идея «разумного сознания», по существу безличного, а его страстное стремление найти смысл жизни через утверждение нас в Абсолюте. Панморализм Толстого, сводивший творческие запросы людей к тому, чтобы устранить и победить всё личное, индивидуальное в нас, завершился, как видим, его имперсоналистическим учением о человеке. Эта философская неудача Толстого возвращает нас поэтому снова к уяснению метафизической основы в человеке, т. е. к построению системы персонализма.

Прот. В. Зеньковский

«ВОЙНА И МИР» Л. ТОЛСТОГО И «ДОКТОР ЖИВАГО» Б. ПАСТЕРНАКА

«Война и мир» — социальный роман в том смысле, что Толстой выразил в нем душу всей России. Государь и преклонение народа перед царской властью, различные типы военных, светское общество, все сословия — дворянство, духовенство, купцы, мещане, крестьяне — вся Россия живет в этом романе и в мирное время, и во время войны. Русская жизнь, духовная, душевная, общественная и семейная, изображена Толстым в такой интимной полноте, что некоторые лица его романа срослись с нами так, как если бы они были нашими друзьями, — Пьер Безухов, князь Андрей, Наташа, Николай Ростов, княжна Марья.

«Доктор Живаго» Пастернака — тоже социальный роман: в нем изображена душа России, но иначе, чем в «Войне и мире». В романе Толстого жизнь многих лиц развивается, как органическое целое, а у Пастернака жизнь изображенных в нем лиц, кроме Доктора и Ларисы, состоит из разорванных эпизодов, что и соответствует состоянию России в первом периоде большевицкой революции. Наполеоновские войны не разрушали органическую цельность жизни, а большевицкая революция произвела небывалые разрушения: весь быт русского общества, все сословия, все деятельности, не только в общественной, но и в домашней жизни были выбиты из колеи. Пастернак правильно изобразил жизнь того времени как нелепые скачки из одного состояния в другое.

Гениальный художник, такой, как Лев Толстой, наблюдает жизнь не только на поверхности ее, но и вплоть до такой глубины, в которой таятся великие ее ценности. В «Войне и мире» он убедительно раскрывает высокие достоинства русского народа. Искание смысла жизни в душе князя Андрея, Пьера Безухова, княжны Марьи есть черта характера, свойственная многим русским людям, как и самому Толстому. Она выражена в большой полноте всею русскою литературою.

Любовь к родине, жертвующая своими интересами ради блага России, — все сословия проявили ее, когда перед вступлением Наполеона в Москву жители ее покинули город и дезорганизованная Москва сгорела. В Смоленске, купец Ферапонтов сильно боролся за целость своего имущества, но узнав, что город будет сдан французам, он отдает солдатам свой товар: «Тащи все, ребята! Не доставайся дьяволам!.. Сам запалю!» и жжет свой дом.

Свойственный русским людям характер исполнения долга в минуты опасности прекрасно изображен Толстым. Капитан Тушин, командуя батареей, скромно исполнял свои обязанности, не обращая внимания на опасности, без театральной напыщенности, презираемой русскими людьми. Подобное поведение описано Пушкиным в «Капитанской дочке» и Лермонтовым в «Герое нашего времени». О спокойной, иногда даже холодной храбрости русских людей в бою много сказано в нашей литературе (Грибоедов, Лермонтов, А. С. Хомяков).

Нравственные ценности уже в это время жизни Толстого особенно занимали его. Изредка, напр. в беседе князя Андрея с Пьером о браке, о женщине, о ничтожестве светской жизни, вопросы нравственности обсуждаются в «Войне и мире» сознательно. Но бессознательно они руководят Толстым на всем протяжении романа в том, какие стороны жизни он делает предметом художественного изображения. Не только индивидуальные проявления людей, но и общественные, напр. войны обрисованы с их нравственным злом и добром.

Всякий поступок, содержащий нравственное зло, имеет в себе аспект эстетического безобразия. Толстой не высказывает такой теории, но он художественно показывает это строение бытия, напр. изображая поведение князя Василия Курагина, его сына Анатоля, его дочери Элен. Имея личный боевой опыт, Толстой рассказывает во многих местах романа о борьбе со страхом, о храбрости и о непреодолимой трусости. Он подробно описывает поведение адъютанта князя Багратиона, Жеркова, офицера, искавшего себе только выгодного положения в армии. Багратион послал его к командиру левого фланга «с приказанием немедленно отступать». Но, приблизившись к месту стрельбы, Жерков «стал отыскивать генерала и начальников там, где их не могло быть, и потому не передал приказания». Два раза его посылали на батарею Тушина и он ни разу не доехал до нее. А после боя он рассказывал князю Багратиону, что видел атаку павлоградцев: «смя-

ли два карре, Ваше сиятельство». То, что он говорил, было ложью, но она клонилась к славе нашего оружия и потому никто не опроверг его.

Великолепно изобразил Толстой мещанство Берга и его жены Веры, их заботы о том, чтобы обстановка квартиры была, как у всех лиц их круга, радость Берга, что вечер, устроенный ими был «совершенно такой, как и другие вечера, которые он видел».

Русская интеллигенция всегда отрицательно оценивала мещанство, буржуазные интересы и умонастроения. Иванов-Разумник написал трехтомный труд о русских общественных идеях и о презрении русского общества к мещанскому умонастроению. Отсюда у многих русских возникло отрицательное отношение к капитализму и увлечение социализмом. У Ленина и его приверженцев оно приобрело характер фанатической ненависти к капитализму и слепой веры в спасительность коммунизма. Пастернак великолепно показал, как вследствие фанатизма большевики стали слепыми к истине и как они посредством террора стали заставлять русский народ считать белое черным и черное белым.

В наше время в высоко культурных демократиях, напр. в Великобритании, в Соединенных Штатах Америки, эксплоатация труда капиталом преодолевается: вырабатываются законы (установление законом минимума, ниже которого не может опускаться оплата труда, высокие налоги на доход и т. п.), благодаря которым промышленность становится не средством личного обогащения, а служением обществу. Советские правители стараются не замечать этой новой формы капитализма.

Ленин, «Пугачев из университета», и его приверженцы задались целью «перевоспитать» русского человека. Они враждебно относятся к индивидуальным проявлениям личности и стремятся превратить всякого человека в слугу «коллектива». Говоря об этом, Пастернак, исходящий из идеалов христианства, из учения об абсолютной ценности каждой индивидуальности, утверждает, что лишение свободы индивидуальной личности, есть тяжкое преступление. Соглашаясь с ним, мы с тревогою задаемся вопросом, удалось ли большевикам перевоспитать русских людей в духе социальной культуры муравьев или термитов. Величие Толстого проявляется в том, что он изобразил такие глубинные достоинства русского духа, которых и сорокалетняя диктатура коммунистов не могла изменить. Из романа Пастернака, из рассказов во-

еннопленных и даже из некоторых произведений современной советской литературы мы узнаем, что высшие достоинства и интересы русского народа остались прежние. Перемены в характере народа произошли, но лишь второстепенные.

С молодых лет у Толстого явилось стремление к нравственному совершенствованию. К старости оно приобрело характер навязчивой идеи, подавлявшей все остальные интересы. Но препятствием к достижению совершенства был стихийный характер его страстей. Некоторые из них, без сомнения, в конце его жизни не проявлялись в форме внешних действий, но внутренне они не были искоренены. Поэтому в конце своей жизни Толстой пришел к опустошению жизни, он стал отрицательно относиться ко всем ценностям, к научной истине, к искусству и т. п., кроме той их стороны, которая служит нравственности. Подобное отношение к жизни сходно с учением буддизма, к которому Толстой стал питать симпатию. Согласно буддизму все мировое бытие и особенно личная индивидуальная жизнь есть зло. Добро есть только искоренение в себе привязанности ко всему земному и к своему индивидуальному бытию с целью вступить в Нирвану, где нет множественности индивидуальных я*.

Тому, кто не в силах преодолеть своих страстей, необходимо связанных со сложностью жизни, естественно придти к отрицанию всех интересов индивидуального бытия. На этот путь и вступил Толстой. Буддист, искоренив в себе какое-либо стремление к земной жизни, говорит: «срезано». И Толстой в последние дни жизни несколько раз сказал: «срезано».

Н. Лосский

---

* См. мою статью «Буддизм в сравнении с христианством», в «Богословском сборнике», изд. Свято-Тихоновского монастыря.

БИБЛИОГРАФИЯ

*О «РЕМИЗОВЕ» НАТАЛИИ КОДРЯНСКОЙ**

В 27-ом году, в те баснословные эмигрантские времена, когда Париж считался «столицей русской литературы», на лекции о Наполеоне, собравшей более тысячи слушателей, Мережковский сказал: «Каждая новая книга о Наполеоне — это камень, брошенный на могилу неизвестного солдата». Фраза эта запомнилась очень многим, очаровав своей неясностью. Но восхищавшиеся, плененные образом камня, брошенного на могилу Неизвестного Солдата, на вопрос: — а что именно сказано? — ясного ответа по большей части дать не могли. Расшифровывался же этот «цветок красноречия» просто. Это значило: каждая новая книга о Наполеоне (или о всяком человеке достаточно замечательном) отдаляет Наполеона или того человека, о котором пишется книга, от читателя, а не приближает, делает его еще более непонятным, затуманивая его образ и путая представления читателя о нем — и в конце концов книга за книгой вырастает груда камней, под которой погребено воспоминание о нем.

Мережковский прав. Такие книги, по большей части, неблагодарный труд. Но бывают «редчайшие исключения», бывают книги-памятники.

Наталии Кодрянской удалось создать такой памятник Ремизову. Конечно ей он стоил большого и долгого труда, ей грозили всевозможные опасности, но она сумела победить их. Книга ее замечательная. Это не только памятник, портрет, это ключ к пониманию Ремизова и как писателя и как человека. Почему же эта книга удалась? Ответ мы находим на второй же странице — слова самого Ремизова из «Проекта предисловия к книге о Ремизове», так и не законченного им: — «Предполагаемая книга — передача моих мыслей и суждений, исполненная правдиво, с любовью».

Да, написанная правдиво, с любовью — в этом секрет удачи. Наталия Кодрянская любила его. Долгие годы ежедневных наблюдений и изучений не могли бы дать такого прозрения. И что чрезвычайно облегчило ее задачу — сам Ремизов любил Н. Кодрян-

---

* Наталия Кодрянская. Алексей Ремизов. Париж. 1959.

скую. Он, такой далекий, всегда старающийся ввести собеседника в заблуждение, скрыться от него под маской, всегда ставящий невидимую преграду между собой и другими — допускал ее до себя, до своего самого сокровенного, открывался ей до конца, снимал вечно носимую им маску.

На вопрос: какой человек был Ремизов, можно только ответить — не знаю. Узнать его нельзя. Чем больше читаешь его записи, отрывки из дневников и из разговоров, тем сильнее убеждаешься в этом. Но до чего интересны попытки постичь его. Как прекрасно подобраны материалы, помогающие нам в этом.

«О Ремизове, человеке-писателе, приходится слышать много разного, глубоко противоречивого. И не потому, ли, что у Ремизова в его творчестве столько миров, в нем самом соединилось столько разных людей. Каждый из них сам по себе...

Одних он отталкивает своими метаморфозами: то, что в нем настоящее, обычно называют «игрой». Других он покоряет, но даже и не поклонники, когда с Ремизовым, неизменно подпадают под его чары. И выйдя от него, такой далеко не поклонник скажет: «Что за чаровник!»

Да, Н. Кодрянская написала прекрасную книгу, своего рода энциклопедию по Ремизову. И она, безусловно, будет главным пособием по изучению Ремизова, когда, в чем я не сомневаюсь, Ремизов, наконец, займет в русской литературе должное место. Место, в котором, несмотря на триумфальные юбилейные фанфары, ему при жизни было отказано. Ремизов очень болезненно переживал это «непризнание». Преувеличенно болезненно, по мнению многих.

Ведь сравнительно с другими писателями в эмиграции ему оказывалось не мало внимания, он печатался во всех эмигрантских журналах и газетах, его книги выходили и в Чеховском Изд-ве и в Имке. Все это так. И все же прав был Ремизов, ощущая невнимание к себе.

«Нашему читателю» и до и по-революционному, как и эмигрантскому — он не был ни дорог, ни даже интересен. Ремизов говорил: — «Я чувствовал себя и называл «неудачник», а как человек всегда сознавал свою обойденность. Но никакое вероломство не убьет во мне веру в человека! А при моем переходе запишу: деревья горят и стонут. Это и будет окончание легенды о самом себе. Мое горькое счастье оттого и горькое, разве я был когда уверен — а теперь куда мне деваться?» В последнее время, почти слепой, он часто с отчаянием повторял: — «А теперь, куда мне деваться?» Этого нельзя читать без волнения. Он и раньше сознавал свою «неприкаянность»: «Загнала судьба. Где и когда я был

желанным или на месте? Не перечесть черных дней... Покоряюсь, но только не понимаю зачем. Какой толк от всех моих бед?»

Это все из «Дневника Мыслей» — их тридцать тетрадей. Н. Кодрянская подобрала из них такие замечательные цитаты, что хотелось бы их все переписать. Можно только посоветовать читателю самому прочесть эту книгу, такую богатую содержанием и захватывающую. Это правдивая книга об исключительном человеке, сумевшем создать легенду о себе, о человеке предельно, даже иногда бесстыдно искреннем и вместе с тем никогда не перестающим играть роль.

Потрясающие записи о Серафиме Павловне:

25—26 декабря 1943

Я вдруг понял, почему я вот уже 8 месяцев всякую ночь пробуждаюсь и не могу заснуть. Тихо лежу и час и больше. Это мои глаза — моя память. Я вижу С. П. в мертвецкой. И этого я никогда не изживу... И вдруг вспомнил, и это было совсем в канун смерти. С. П. всегда беспокоилась, когда я уходил. И всегда повторяла, крестя: Христос с тобой — это было сказано особенно твердо, с какой-то болью. И вдруг зазвучав мне так живо, и в глаза живой образ и повторял, как тогда, Христос с тобою, Христос с тобою! И я до конца жизни буду слышать этот голос и с ним живой образ, не мертвый.

Н. Кодрянская правильно замечает, что о Ремизове-человеке приходилось слышать много противоречивого. Многих он отталкивал, одних своими метаморфозами, других «игрой», третьих какой-то почти исступленной, почти бесстыдной приниженностью и самоумалением. В нем как будто живут разные люди. И все они, по утверждению Ремизова, «перекликаются между собой». Но чаще всего он все же играет роль «униженного и оскорбленного», того, кому нигде нет места, того, кому сейчас крикнут: — Пошел вон!

Вот, что рассказывал мне о Ремизове один писатель: «Утром ко мне неожиданно зашел Ремизов. Я всячески старался выказать ему мою радость. Но Ремизов будто на зло, будто издеваясь, еще более прикидывается каким-то каликой перехожим, доводя меня почти до отчаяния. И после бестолковых поисков шапки, мешка, палки — все валится из рук Ремизова, он, наконец, кряхтя спускается по лестнице. Я бросился к окну.

Я бросился к окну, браня себя за то, что не посадил его в такси — дойдет ли домой, не упадет ли, как переберется через улицу? — И вижу: Ремизов быстро и весело шагает по тротуару, уверенно в такт стуча палкой».

«Я чувствовала себя совершенной дурой в присутствии Алексея Михайловича, — признавалась мне одна моя знакомая, — мне к

тому же было всегда слегка стыдно — будто он видит меня насквозь, видит что-то, что я и от себя скрываю».

Читая у Н. Кодрянской — «Ремизов видел человека насквозь», я вспомнила эти слова. Я же никогда чувства стыда в его присутствии не испытывала, и я ясно помню мою первую встречу с Ремизовым.

Февраль 21-го года. В Доме Литераторов как всегда светло (забронированный кабель), тепло (дров не жалеют) и по дом-литераторски уютно. Уютно, совсем новым уютом, о котором до революции никто и понятия не имел. Писатели и поэты «всех возрастов и всех полов», от библейских старцев до двенадцатилетней Люси Дарской, находят здесь не только насущную, но и духовную пищу — в спорах и разговорах. Кавалерственные дамы и их спутники, нашедшие здесь радушный приют, стараются сохранить светский лоск и соблюсти «декорум».

Длинный хвост тянется к стойке, где две милые дамы наливают в тарелки, миски и жестяные банки — на вынос — похлебку с моржатиной, стараясь сдобрить ее любезным: «сегодня, кажется, очень удалась».

Все, как всегда. И посетители все те же. И вдруг, именно вдруг, неожиданно в хвосте появляется странная фигура, совершенно не похожая ни на писателей, ни на спутников кавалерственных дам. Вообще ни на кого не похожая, ни на кого и ни на что. Малиновые, высоченные валенки, меховая шапка, повязана сверху по-бабьи серым шерстяным платком, под меховой шапкой очки, за ними глаза, как у охотников в северных лесах. Пальто перетянуто ремнем, из кармана выглядывают пестрые варежки. В одной руке ярко начищенная медная кастрюля, в другой зеленый мешок и палка.

— Ремизов, Алексей Михайлович, — шепчет мне Гумилев, он поспешно встает. — Пойдемте. Я вас представлю ему.

Представлю, а не познакомлю с ним — от почтения. Я и сама не знаю куда деваться от почтения и смущения. Но все же иду за Гумилевым.

Ремизову уже успели налить полную кастрюлю похлебки. Он, горбясь, пристраивает ее в свой мешок, что-то по старчески ворча. Гумилев склоняется перед ним в преувеличенно-церемонном поклоне. — Алексей Михайлович, позвольте вам выразить... Ваше посещение честь для Дома Литераторов и для нас всех...

Ремизов выпрямляется, быстро кладет свой мешок на чей-то стол, перед каким-то «едаком» и освободив руку делает ею что-то вроде козы, собирающейся забодать Гумилева:

— Вот он где кум-Гум, куманек-Гумилек, — задорно взвизги-

вает он, сразу из старичка, превращаясь в школьника. — А мне моржатинки захотелось. Никогда не едал. Грех не попробовать. Как услыхал, что тут моржатину дают, решил Серафиму Павловну угостить и самому полакомиться — если съедобная.

Ремизов поворачивается ко мне:

— А вы такая, как я думал.

Я смущенно краснею. Что значит «такая» и разве он мог обо мне «думать»?

— Ну, домой, чтобы не простыла.

Он подхватывает свой мешок с кастрюлей. Мы провожаем его в прихожую, Гумилев открывает входную дверь.

— Заходите, Николай Степанович, чайку морковного попить, Серафима Павловна вам рада будет, — с чисто московским гостеприимством приглашает Ремизов. — И вы — (это мне). — И вам Серафима Павловна рада будет.

Меховая шапка, повязанная платком, кивает еще раз на прощанье и вот уже Ремизов, ловко балансируя на скользких обледенелых ступеньках, спустился с крыльца, не пролив ни капли похлебки.

— Донесет. И не прольет, — Гумилев смотрит ему вслед и добавляет: «Такой уж он удивительный. Во всем».

Да, удивительный. Я не могу не согласиться. Я удивлена, поражена. Мне кажется, что в наш трехмерный мир вдруг на минуту ворвалось четвертое измеренье. Но что в Ремизове такого четырехмерного я ни тогда, ни сейчас сказать не могу. Особенность Ремизова, его «несхожесть» с другими, его «нечеловечность» — не могу найти нужное слово — я ее чувствовала всегда.

Гордость его была невероятна. Все писатели более или менее гордые, даже часто не в меру горды. Но гордость Ремизова содержала в себе что-то высшее, люциферическое, не укладывалась в рамки трехмерности. Ремизов был живым подтверждением исконно-русского «унижение паче гордости».

Легенды о том или ином человеке обыкновенно возникают после его смерти. Но Ремизову удалось самому создать леге́нду о себе. Другие, конечно, помогали ему в этом, разнося слухи и сплетни. И он очень радовался.

Вот еще одно «ремизовское» воспоминание. Как-то вечером ко мне пришел Гумилев, весь белый от снега, и долго в кухне стряхивал снег со своей самоедской дохи и ушастой оленьей шапки с каким-то таинственным видом.

— Я к вам не по своей воле пришел, — сказал он наконец, оглядываясь и кося еще сильнее чем всегда. — Меня Кикимора привела. Шел от Ремизова домой. Ведь близко. Но тут меня за-

кружило, занесло глаза снегом, завертело, понесло. Сам не знаю по каким улицам. Отпустило. Смотрю — ваш подъезд. И свет в окнах. Отдохну немного. А то боюсь, опять собьет меня с дороги.

Мы устроились на медвежьей полости перед самодельной печкой-буржуйкой, сложенной из кирпичей и стали печь картошку в золе, Гумилев посыпал солью, единственной тогда приправой к картошке, полена в печке, чтобы они «трещали, как в сказках Андерсена».

В кабинете было полу-темно, тени скользили и тянулись по стенам и потолку и косоглазое лицо Гумилева, освещенное красным пляшущим отсветом, чем-то напоминало мне никогда мной не виданную Кикимору и мне казалось, что голос его звучит тоже по-кикиморовски:

— Через всю комнату протянута веревка, как для сушки белья. «Они» (т. е. Кикимора и прочая нечисть) все пристроены на ней. А за письменным столом сидит Алексей Михайлович, подвязав длинный хвост. Без хвоста он и писать не садится. Не верите? А я сам видел!

Голос его падает до шопота.

— Я как-то зашел к ним. Открыла мне Серафима Павловна. Сейчас же, как всегда, стала «чайком поить». Она такая пышная, белая, как сдобная булка. С ней и пустой чай пить вкусно. — А Алексей Ремизов пишет. Пойдите, позовите его. Он вас любит.

Я пошел. Открываю тихо дверь, чтобы не помешать, и вижу — собственными глазами вижу: Ремизов сидит за столом, спиной ко мне, размахивая хвостом справа налево, слева направо. На табурете сидит, хвост высоко равномерно взлетает в воздух, будто мух отгоняет. А на веревке Кикимора и вся нечисть пляшут, кувыркаются. Я понял — вдохновение снизошло. Мешать, Боже упаси! Закрыл дверь и на носках вернулся к Серафиме Павловне. Так в тот раз и не дождался Алексея Михайловича.

Косящий взгляд останавливается на мне.

— Неужели не верите? А ведь все это истинная правда. Такая же и даже бóльшая, чем холод, голод и аресты. Стыдно не верить.

Гумилев достает из кармана пиджака ярко разрисованный картонный квадратик.

— Знак обезьяньего достоинства, — объясняет он. — Ремизов просил передать вам вместе с грамотой Обезьяньего Царя Асыки. — Здесь все сказано. По молодости лет он вас произвел только в оруженосцы.

В грамоте — изумительном произведении графического искусства, все действительно «было сказано» витиеватым обезьяньим

стилем. Этот орден стал предметом моей гордости и зависти моих «Серапионовых Братьев» и прочих молодых писателей. Все мы безгранично уважали Ремизова. Помню, меня шутя «с монаршей милостью» поздравили и Замятин, и Георгий Иванов, и Чуковский, и Лозинский. Вспоминаю об этом, чтобы подчеркнуть, как мы в кругах близких к Гумилеву и Цеху чтили Ремизова.

Мои воспоминания, хотя они и касаются Ремизова, увели меня далеко от «Ремизова» Кодрянской.

Возвращаясь к нему, считаю себя вправе уже в качестве читателя от всего сердца поблагодарить ее.

Но лучшая благодарность для Наталии Кодрянской это, конечно, слова самого Алексея Михайловича Ремизова (из письма от 27 сентября 1957 года):

«Дорогая моя Кукуня. Слушаю Ваш голос — Вашу книгу. Верю, все установится на место и это будет мне памятник»...

И эти пророческие слова сбылись.

Ирина Одоевцева

ВЛАДИМИР МАРКОВ. *«Гурилевские романсы»*. Рифма. Из-во им. Ирины Яссен. Париж. 1960.

Я люблю одну Россию
Невозвратно дорогую;
И сейчас, под шорох липы
И жужжанье пчел прилежных
Вдруг и страстно захотелось
Погрустить о ней немного
Светлой, пушкинской печалью...

— в «Гурилевских романсах» Владимира Маркова «светлый» — любимый его эпитет и это никак не внешняя привязанность к слову. «Светлость» действительно пронизывает поэму, в которой даже эпитет «скорбно» столь характерно соединяется с «счастливо». И если надо определять ее одним словом — самое лучшее сказать: светлая поэма.

«Ось» поэмы — странствия, своеобразнейшие и достаточно разнообразные, но как им далека та, другая, никак нами еще не забытая, тянущаяся к экзотике Муза дальних странствий.

Через поэму по своей «придуманной России» «гулякой праздным» шагает автор и не обойтись без того, чтобы не отметить моцартовское начало этой поэмы — неомраченную ее мелодику. Для Маркова главная приманка странствия в том, что «Ведь какие только мысли — Не всплывают по дороге!» — и вот, «светлая пушкин-

ская печаль», когда «памяти границы — расплылись, мечты коснулись» заманивает его в «позабытую усадьбу»:

В каждой комнате там был я,
Пальцем проводил по пыли,
Покрывающей портьеры,
Переплеты книг и спинки
Расшатавшихся диванов.
А когда она входила,
В венских локонах и бантах
(И Наталью Гончарову
Чем-то чуть напоминая)...

В нашей поэзии уже была полоса возрождения ампира, «забытых усадеб», менуэтов — значит ли это, что Марков снова возвращает нас к стилизации? Думается, что нет. В его поэме вовсе не ощущается ни поверхностного чувства, ни нарочитости или игры — всех этих элементов стилизации. На ту, ушедшую жизнь вовсе не со стороны глядит он, а именно в ней и с нею живет и именно там чувствует себя, как дома, с непринужденной естественностью и легкостью находя для нее «лучшие слова в лучшем порядке». В мире же окружающем до того ему словно не по себе, что когда поэма «причудливым зигзагом» возвращается к дням нашим — единственно только тогда безошибочное его чувство к«лучшим словам», правда, изредка способно ему изменить и он вдруг прибегает к выпадающему из общего тона достаточно неэстетичному образу или придает лирическому отступлению налет какой то развязности (в заключительной главке). Это, конечно, исключения, но они поистине досадны в этой поэме, исполненной вкуса и тонких чувствований. Читатель так заворожен этим ее дремотно бегущим размером, белым стихом ее, чудесно передающим ее невещественность, что к концу готов следом за поэтом тоже грустно вздохнуть: — Вот и кончилась поэма! — С любопытством следишь за заключающими поэму сборами в новую таинственную путь-дорогу, с интересом ожидая, куда же поведет она дальше?

Очень жаль, что приходится судить о Маркове-поэте только по этой одной поэме, а ведь, помнится, у него есть и другая, где-то напечатанная, происхождения более позднего, чем «Гурилевские романсы» и досадно в книжку не вошедшая. Первый же сборник его стихов любопытен главным образом тем, что уже тогда, в 1947 году, любимым образом Маркова был «веселый вагант» и больше всего его тянуло «Бродить по свету и глядеть вокруг». Но с тех пор Марков неизмеримо вырос, представ перед нами в «Гурилевских романсах» поэтом сложившимся.

Ю. О.

КНИГИ ДЛЯ ОТЗЫВА

КОМСОМОЛ. *Сборник статей.* Воспоминания бывших комсомольцев. Изд. ЦОПЭ. Мюнхен. 1960.

РЕЙМОН АРОН. *Опиум для интеллигенции.* Перевод с французского. Изд. ЦОПЭ. Мюнхен. 1960.

П. БОРАНЕЦКИЙ. *Основные начала.* Онтология творческого миросозерцания. Париж. 1960.

АЛЕКСАНДР СВИТИЧ. *Православная церковь в Польше и ее автокефалия.* Изд. Наша Страна. Буэнос Айрес. 1959.

АНАСТАСИЯ НОРД. *Дали.* Сборник рассказов. Нью Йорк. 1956.

АНАСТАСИЯ НОРД. *Михаил Уваров.* Роман Изд. «Славянский Базар». Нью Йорк. 1954.

Л. Н. ТОЛСТОЙ. *Христианство и Церковь.* К 50-тилетию со дня смерти. Собрал и издал А. И. Чернов. Нью Иорк 1960.

Л. РЖЕВСКИЙ. *Двое на камне.* Товарищество Зарубежных Писателей. Мюнхен. 1960.

Modern Russian Reader. Soviet Prose. Complete with English Translation by McAndrew. Edited by Ronald Hingley. Published by The New American Library. New York. 1960.

New Polish Publications. NN. 1/2, 3, 4, 5, 1960. Published by the "Agpol." Warszawa. 1960.

ГЕОРГИЙ ИВАНОВ

1943-1958

СТИХИ

Вступительная статья **Романа Гуля**

Издание «Нового Журнала» Цена 2 дол.

А. И. ГЕРЦЕН

НЕИЗДАННЫЕ ПИСЬМА

к Н. И. и Т. А. Астраковым

Приготовил к печати **Л. Л. Домгер**

Издание «Нового Журнала» Цена 1 д. 50 ц.

РОМАН ГУЛЬ

СКИФ В ЕВРОПЕ

(Бакунин и Николай 1-й)

Издательство «Мост» Цена 2 д. 50 ц.

РОМАН ГУЛЬ

АЗЕФ

Исторический роман

Издательство «МОСТ» *Цена 3 д. 50 ц.*

Эти книги можно заказывать в редакции «Нового Журнала». Можно заказывать все ранее вышедшие книги «Нового «Журнала» за исключением № 1 и № 3. До № 25 книги стоят 2 дол. (10 цент. пересылка), начиная с книги № 26 — 2 дол. 25 цент. (10 цент. пересылка).

"НОВЫЙ ЖУРНАЛ"

под редакцией

Р. Б. ГУЛЯ, Ю. П. ДЕНИКЕ, Н. С. ТИМАШЕВА

ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ ГОД ИЗДАНИЯ

●

В 1960 году выйдут ЧЕТЫРЕ КНИГИ

●

Подписная цена 9 долл. в год (за 4 книги)

Цена одной книги — 2 дол. 25 цент.

Во Франции — 8 франков.

●

ЗАКАЗЫ АДРЕСОВАТЬ В КОНТОРУ «НОВОГО ЖУРНАЛА»:

The New Review, 2700 Broadway
New York 25, N. Y.

Телефон редакции и конторы: МО-6-1692.

Прием по делам редакции и конторы — ежедневно, кроме праздников и суббот, от 5-ти до 6-ти час. дня